РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН

1

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

"НАУКА"
МОСКВА – 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Е.В. Падучева (Москва). Имплицитное отрицание и местоимения с отрицательной поляризацией ... 3
В.Ю. Апресян (Москва). Опыт кластерного анализа: русские и английские эмоциональные концепты ... 19
А.А. Кретов, И.А. Меркулова, В.Т. Титов (Воронеж). Проблемы квантитативной лексикологии славянских языков ... 52
А.А. Соколянский (Магадан). Градуальные оппозиции как системообразующие для русского вокализма ... 66
С.М. Поляков (Шадринск). Глагол *to miss* как средство реализации семантики сожаления в современном английском языке ... 76

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

О.А. Радченко (Москва), Л.С. Аликаева (Нальчик). Й.Г. Гаман в лингвистическом дискурсе XVIII столетия ... 82

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

А.И. Фалилеев (Санкт-Петербург/Аберистуит). Древнеирландский язык: недавние публикации ... 102

Рецензии

К.М. Корчагин (Москва). *Я.Г. Тестелец* (отв. ред.). Аспекты полисинтетизма: очерки по грамматике адыгейского языка ... 113
С.С. Сай (Санкт-Петербург). *R.M.W. Dixon*. Basic linguistic theory ... 121
Н.Р. Добрушина (Москва). *B. Hansen, F. de Haan* (eds.). Modals in the languages of Europe ... 131
В.Г. Хуршудян (Париж). *J. Dum-Tragut*. Armenian: Modern Eastern Armenian ... 135
И.А. Фридман, С.В. Малышев (Москва). *G. Goldenberg, A. Shisha-Halevy* (eds.). Egyptian, Semitic and general grammar. Studies in memory of H.J. Polotsky ... 140
Д.А. Эршлер (Москва). *F. Thordarson*. Ossetic grammatical studies ... 151

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки

П.М. Аркадьев (Москва). Международная конференция «Русский глагол» ... 157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

В.М. Алпатов, Ю.Д. Апресян, И.М. Богуславский, А.В. Бондарко, Н.Б. Вахтин, В.А. Виноградов (зам. главного редактора), *Т.В. Гамкрелидзе, В.З. Демьянков, В.А. Дыбо, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Вяч.Вс. Иванов, Н.Н. Казанский, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик* (зам. главного редактора), *М.М. Маковский, А.М. Молдован, Т.М. Николаева* (главный редактор), *В.А. Плунгян* (отв. секретарь), *Е.В. Рахилина*

Зав. отделами: *Н.В. Вострикова, О.А. Казеннова, А.С. Кулева, М.М. Маковский*
Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 119019, Москва, ул. Волхонка, 18/2,
Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
Редакция журнала «Вопросы языкознания»
Тел. (495) 637-25-16

Интернет-сайт журнала находится по адресу:
www.ruslang.ru, см. раздел «Издания»

© Российская академия наук, 2011 г.
© Редколлегия журнала «Вопросы языкознания» (составитель), 2011 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2011

© 2011 г. Е.В. ПАДУЧЕВА

ИМПЛИЦИТНОЕ ОТРИЦАНИЕ И МЕСТОИМЕНИЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ*

Показано, что местоимения на *бы то ни было*, как и местоимения на *-либо*, принадлежат к числу слов с отрицательной поляризацией, т.е. употребляются в контексте отрицания и в контекстах, «семантически родственных» отрицанию. Особенностью местоимений на *бы то ни было* является то, что они употребляются в контексте имплицитного отрицания, входящего в семантическую декомпозицию слова, так что сочетаемость с *бы то ни было* позволяет выявить классы слов с синтаксически активным отрицательным компонентом. Взаимозаменимость *какой бы то ни было* с *какой-либо* и *всякий* раскрывает дополнительные аспекты семантики этих классов слов.

1. ОТРИЦАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА

Главным предметом внимания в данной работе является конструкция вида «W *бы то ни было*», в которой переменным элементом W могут быть почти все вопросительные местоимения – *какой*, *кто*, *что*, *чей* (но не *который* и не *каков*) – и вопросительные же местоименные наречия – *где*, *куда*, *когда*, *зачем*, *почему*, *как*. Особенностью местоимений на *бы то ни было* является то, что они употребляются преимущественно в контексте отрицания, причем не только синтаксически автономного (эксплицитного) отрицания *не*, как в примере (1), но и имплицитного отрицания, входящего в семантическую декомпозицию слова, как в примерах (2)–(4) (из [Падучева 1974/2007: 100; 1985/2009: 216–219]; подчеркнуты слова, содержащие смысловой компонент «отрицание»):

(1) Не стану давать тебе *какие бы то ни было* указания;
(2) Он поселился вдали от *какого бы то ни было* жилья;
(3) Ему чужды *какие бы то ни было* колебания;
(4) Он отказался от *какой бы то ни было* помощи.

Как легко видеть, при замене *вдали* на *рядом*, *чужды* на *свойственны* и *отказался* на *согласился* местоименный оборот *какой бы то ни было* перестает быть уместным. Таким образом, местоимения на *бы то ни было* представляют интерес не только сами по себе, но и потому, что позволяют очертить класс слов с синтаксически релевантным смысловым компонентом «отрицание»: имплицитное отрицание в этих словах дает о себе знать на синтаксическом уровне.

Смысл кванторных слов и выражений трудно описывать непосредственно, с помощью эксплицитных перефразировок. Так что речь будет идти о квазисинонимических заменах местоимений с *бы то ни было* на кванторные слова и выражения с более известным смыслом. Образцом будет адъективное *какой бы то ни было*. Прочим местоимениям на *бы то ни было* посвящен отдельный раздел 4.

---

* Автор глубоко благодарен И.М. Богуславскому, Барбаре Партии и Я.Г. Тестельцу, которые прочли начальные варианты работы и высказали целый ряд принципиально важных замечаний и соображений, а также С.А. Григорьевой за исходный список глаголов с семантическим компонентом «отрицание».

Местоимения на *бы то ни было* во многих случаях взаимозаменимы с местоимениями на *-либо*:

(2′) Он поселился вдали от *какого-либо* жилья;
(3′) Ему чужды *какие-либо* колебания;
(4′) Он отказался от *какой-либо* помощи.

Во многих, однако не во всех. Например, в (5), (6) *какой-либо* неуместно:

(5) Немедленно прекратите *какие бы то ни было* (**какие-либо*) поисковые работы;
(6) После этого он утратил *какой бы то ни было* (**какой-либо*) интерес к происходящему.

С другой стороны, в предложениях (5), (6) возможна замена *какой бы то ни было* на *всякий* или *все*, например:

(5′) Немедленно прекратите *всякие* / *все* поисковые работы;
(6′) После этого он утратил *всякий* / *весь* интерес к происходящему.

Однако и эта замена возможна не всегда; так, в (1) *какой бы то ни было* можно заменить не на *всякий*, а только на *никакой*:

(1′) Я не стану давать тебе *никаких* указаний.

Итак, местоимения на *бы то ни было* естественно сопоставляются с тремя типами местоимений. Это:
– неопределенные местоимения на *-либо* (*какой-либо*, *кто-либо*, *когда-либо*, …);
– отрицательные местоимения на *ни-* (*никакой*, *никто*, …)
– местоимения всеобщности *всякий*, *все*, *любой*.

Из неопределенных остаются еще местоимения на *-нибудь*: Академическая грамматика и словари, в том числе словарь Ушакова, трактуют *-нибудь* и *-либо* как синонимы. И в самом деле, во многих контекстах *-нибудь* может быть заменено на *-либо* без существенного изменения смысла:

(а) Если *что-нибудь* / *что-либо* случится …
(б) Разве есть смысл *что-нибудь* / *что-либо* менять?

Такая синонимия возможна не всегда; но пока мы находимся в рамках контекста отрицания, местоимения на *-нибудь* можно исключить из рассмотрения, поскольку в контексте семантически вышестоящего отрицания *какой-нибудь* (в отличие от *какой-либо*) с абсолютной обязательностью заменяется на *никакой*:

(7) НЕВЕРНО, ЧТО (*какой-нибудь* x P(x)) = *никакой* x *не* P(x);
НЕВЕРНО, ЧТО (он видел там *кого-нибудь*) = он *не* видел там *никого*.

В самом деле, если *не* и местоимение на *-нибудь* встречаются в пределах одной предикации, это значит, что *не* ниже *-нибудь*. Так, в контексте фразы *Если кто-нибудь не понял, я объясню* отрицание «нижестоящее», т.е. отрицание находится в сфере действия квантора существования, формула $\exists x \neg P(x)$, а не $\neg \exists x P(x)$. Условия употребления местоимений на *-нибудь* описаны в [Падучева 1985/2009; 2007]: для *-нибудь* нужен контекст снятой утвердительности.

Местоимения на *-либо* рассматривались в статье Ж. Веренка [Veyrenc 1964], который показал, что они могут переводиться на французский язык с помощью «полунегативов», типа *rien*, *jamais*, *personne*, т.е., в современной терминологии, слов с отрицательной поляризацией (см., о них, например [Haspelmath 1997; Богуславский 2001]) – которые сами по себе, быть может, и лишены отрицательного значения, но употребляются в контексте вышестоящего отрицания, ср. анализ сочетания *пальцем не пошевелит* в [Апресян 1978]. Словами с отрицательной поляризацией являются *какой-либо* и другие местоимения на *-либо* (см. [Pereltsvaig 2000]). Другие примеры: сочетание *так уж*, которое уместно только в отрицательном контексте (*Не скажу, чтобы он мне так уж нравился*),

такой уж, *очень-то*, *настолько*, *столь*, *больно* в значении ‘особенно’ (*не больно надо*). Более точное определение отрицательной поляризации и контекстов с отрицательной полярностью будет дано в разделе 6.

В принципе, русским местоимениям на *-либо* и *-нибудь* соответствуют французские местоимения серии *quelqu'un*. Ж. Веренк отмечает, однако, что в контексте ОТРИЦАНИЯ перевод *-либо* как *quelqu'un* мало удовлетворителен, а в контексте СРАВНИТЕЛЬНОГО ОБОРОТА просто невозможен:

(8) У него не было никаких причин *что-либо* менять – Il n'y avait aucune raison de *rien* changer;
(9) внимательнее, чем *когда-либо* прежде – avec plus d'attention qu'il avait *jamais* fait.

В контексте СОПРЕДИКАТНОГО отрицания в русском языке на месте *-нибудь* должно быть отрицательное *ни-*; отрицательно поляризованное *-либо* в контексте сопредикатного отрицания иногда допустимо, см. (10–12), иногда – нет, см. (13):

(10) Они не встречали *какого-либо* /*никакого* сопротивления на своем пути;
(11) Это не связано *с какими-либо* /*ни с какими* конкретными задачами;
(12) Не существует *каких-либо* /*никаких* доказательств;
(13) а. *Я не люблю *кого-либо* /*никого*; б. *Он не убедил *кого-либо* /*никого*.

В контексте отрицания инфинитивной конструкции допустимы и *ни-*, и *-либо*:

(14) а. Я не намерен *что-либо* менять ≈ б. Я не намерен *ничего* менять.

А в контексте отрицания в подчиняющей клаузе употребляется только отрицательно поляризованное *-либо*. Так, в (15) *когда-либо* нельзя заменить на *никогда*, хотя во французском переводе следует употребить *jamais*:

(15) Неизвестно, была ли эта повесть *когда-либо* (**никогда*) закончена.

Другие примеры отрицательно поляризованного *-либо* в контексте отрицания в подчиняющей предикации:

(16) не думаю, чтобы он *что-либо* изменил;
не видно, чтобы он *куда-либо* ходил;
не нашел нужным *кого-либо* предупредить.

Итак, местоимения на *-либо* употребляются как местоимения с отрицательной поляризацией в контексте сопредикатного отрицания, где они могут быть взаимозаменимы с местоимениями на *ни-*, примеры (10–12), а также в контексте отрицания (эксплицитного и имплицитного) в подчиняющей предикации, примеры (8), (14–16), и сравнительного оборота, пример (9), где отрицательные местоимения невозможны.

Отрицательные местоимения не реагируют на имплицитное и несопредикатное отрицание, т.е. возникают строго в контексте сопредикатного эксплицитного отрицания. Так что местоимения на *бы то ни было* в отрицательном контексте охватывают области, распределенные между *никакой*, *какой-либо* и *всякий*. Местоимение на *бы то ни было* употребляется и за пределами отрицательных контекстов; эти употребления будут рассмотрены отдельно в разделе 6.

Задача дальнейшего двоякая. Одна сторона – синтаксическая: выяснить условия взаимозаменимости местоимений на *бы то ни было* с местоимениями *какой-либо*, *всякий* и *никакой*. Другая сторона – лексическая: понять, что дает сочетаемость с кванторными словами для семантического анализа слов с имплицитным отрицанием, лицензирующих разные виды местоимений.

В последующем изложении широко используются примеры из Национального корпуса русского языка; ссылка на источник сохраняется только в том случае, если адекватность предложения вызывает сомнение.

2. ЭКСПЛИЦИТНОЕ ОТРИЦАНИЕ

В контексте сопредикатного эксплицитного (т.е. синтаксически автономного) отрицания *какой бы то ни было* взаимозаменимо с *какой-либо* и с *никакой*:

(1) Для исполнения приговора не требуется *каких бы то ни было* дополнительных процедур и формальностей [= *каких-либо*; = *никаких*];
(2) Гессен не был виновен в *каких бы то ни было* [= *в каких-либо*, = *ни в каких*] преступлениях.

Если есть эмфаза, то скорее будет употреблено *никакой*, чем *какой-либо*. В самом деле, *какой-либо* характеризуется фразовой безударностью, см. [Veyrenc 1964]:

(3) Я никогда не думал так и столько о *какой бы то ни было* [= *ни о какой*; = *о какой-либо* женщине].

Сочетаемость *какой бы то ни было* с сопредикатным отрицанием не абсолютная; едва ли можно сказать *Какой бы то ни было школьник не решит эту задачу*; надо – *Никакой школьник … .*

В случае отрицания в подчиняющей предикации *какой бы то ни было* взаимозаменимо с *какой-либо*, но не с *никакой* (полужирным выделено главное слово предикации, в которую входит местоимение).

(4) Я не считаю уместным **давать** *какие бы то ни было* указания [= *какие-либо* **никакие*];
(5) Вместе с тем у нее не было никаких причин **скрывать** от меня *что бы то ни было*, [= *что-либо*; **ничего*];
(6) Насупившийся, переполненный эмоциями Дашевский не был расположен **выслушивать** *какие бы то ни было* [= *какие-либо*; **никакие*] оправдания;
(7) Не приводится субстантивных **доказательств** *каких бы то ни было* [= *каких-либо*; **никаких*] связей прежнего иракского режима с организацией бен Ладена.

Слова *мочь*, *хотеть*, *собираться*, *вправе* и ряд других ведут себя как не составляющие отдельной предикации, т.е. при них возможно не только местоимение на *либо*, но и отрицательное (а иногда только отрицательное – *Он не хочет ничего слышать*):

(8) Он не хочет *что бы то ни было* [= *что-либо*; = *ничего*] **предпринимать**;
(9) Правительство совершенно не собирается **идти** на *какие бы то ни было* [= *на какие-либо*, = *ни на какие*] уступки и просто тянет время;
(10) Тут мы не вправе вступать в какую бы то ни было полемику [= в какую-либо; = ни в какую].

Отрицание в составе предикатива *неприятны* в примере (11) не контрадикторное, а контрарное (грубо говоря, идиоматическое), см. [Есперсен 1958: 373]. В наших терминах оно не является синтаксически автономным, и потому не удивительна невозможность употребления отрицательного местоимения *никакой* (невозможность *какой-либо* и допустимость *любой* требует дополнительного исследования):

(11) Он вдруг понял, что ей неприятны *какие бы то ни было* подробности его домашней жизни [**никакие*].

См. о контрарном отрицании в [Рожнова 2009]. В примере (12), где отрицание можно счесть контрадикторным (*неуместны* = ‘неверно, что уместны’), т.е. приравнять к синтаксически автономному, действует общее правило:

(12) Здесь *какие бы то ни было* эмоции неуместны [= *какие-либо*; *никакие*].

3. ИМПЛИЦИТНОЕ ОТРИЦАНИЕ

Местоимения на *бы то ни было* допустимы в контексте широкого круга слов с имплицитным отрицанием. Возникает вопрос, в каких из этих контекстов допустимы также *какой-либо* и *всякий*, *все*, *любой*. Можно думать, это позволит выявить различия в значении как кванторных слов, так и слов, которые обеспечивают для них необходимый контекст.

Среди слов, имеющих отрицательный компонент в семантической декомпозиции и лицензирующих *какой бы то ни было*, выделяются следующие две группы.

Группа 1 – это глаголы, семантика которых включает не просто отрицание, а отрицание существования, такие как *отсутствовать*, *быть лишенным*, *отрицать*, *воздерживаться*, *исключать*. Эти глаголы допускают *какой-либо* в составе именной группы в своей предикации; *всякий* возможно только в значении минимальной степени (ср. [Fauconnier 1975; Partee 2004]), а *все* невозможно вовсе.

X *отсутствует* (в определенном контексте) = 'X не существует':

(1) Направление сетевых изданий зачастую почти неуловимо, … отсутствует *какая бы то ни было* внутренняя цензура [= *какая-либо*; = *всякая* в значении 'даже малейшая'];

X *лишен* P = '<стало> у X-а не существует P':

(2) После выхода из больницы он был лишен *каких бы то ни было* средств к существованию [*каких-либо, *всяких*];
(3) На самом деле нынешний мир под управлением США абсолютно лишен *каких бы то ни было* моральных предрассудков [= *каких-либо*; **всяких*].

Есть такие употребления *отсутствовать*, *лишен*, где они не выражают несуществования множества (*У него отсутствуют все рефлексы, кроме глотательного*; *Он лишен всех <своих> орденов*). Тогда они относятся к группе 2.

X *отрицает* **P** = 'X говорит, что не существует <каких-либо> P':

(4) Естественно, коммерсанты категорически отрицают *какую бы то ни было* связь между двумя фирмами [= *какую-либо*; = *всякую* в значении 'даже малейшую'];
(5) Но Александр Борисович отрицает *какие бы то ни было* мстительные мотивы в своем выборе [= *какие-либо*, **всякие*, **все*];
(6) Он отрицает существование *каких бы то ни было* планов на этот счет [*каких-либо*, **всяких*, **всех*];
(7) Тогда руководители NASA также сначала отрицали наличие *каких бы то ни было* серьезных технологических проблем [= *каких-либо*, **всяких*, **всех*].

Сочетание вида «X отрицает существование P» имеет то же толкование: 'X говорит, что не существует <каких-либо> P'. В (4), (5) 'существование, наличие' входит в толкование глагола.

X *исключает* **P** = 'X не допускает существования P':

(8) Сознание обывателя <…> исключает *какую бы то ни было* [*какую-либо, всякую*] симпатию к олигархам вообще и к Михаилу Ходорковскому в частности [*всякую* означает степень: 'даже малейшую' – поскольку не существует множества разнообразных симпатий].

X *воздерживается от* **P** = 'X прилагает усилия к тому, чтобы не делать P':

(9) Я предпочитаю воздерживаться от *какого бы то ни было* [= *какого-либо*, = *всякого*] вмешательства [*всякого* означает степень: 'даже малейшего'];
(10) Он воздержался от *каких бы то ни было* комментариев [= *каких-либо*, *?всяких*].

При глаголах группы 1 допустимость *какой-либо* обоснована компонентом ‘существование’ в толковании глагола.

Значение слова *всякий* зависит от грамматического числа имени.

В [Богуславская 2004] толкование *всякий* дается для мн. числа: *всякие Х-ы* = ‘все или многие, о множестве объектов (*Х-ов*), обладающих разнообразными свойствами’, ср. *Он видал всякие виды* = ‘разнообразные’ (см. также [Bronnikov 2005]). Но в контексте несуществования множества неуместна пресуппозиция разнообразия элементов в этом множестве. Поэтому не вполне уместно *всякие* в примерах (11), (12), а также (10) выше:

(11) На правой ладони отсутствовали *всякие* признаки ожога [Леонид Юзефович. Дом свиданий (2001)];

(12) Но демократы в лице Егора Гайдара выступили со своим вариантом кодекса, где отсутствовали *всякие* ограничения и контроль за использованием земли [Владимир Чуприн. Ключи от пая (2003) // «Московский комсомолец», 2003.01.10].

Как мы видим, *какие бы то ни было*, которое выражает идею о том, что свойства элементов несуществующего множества несущественны, более уместно, чем *всякие*. В каких-то контекстах компонент ‘разнообразие свойств’ в семантике *всякие* подавляется – возникает форсированное употребление, при котором *всякие* = ‘какие-либо’, ‘какие бы то ни было’, см. ниже пример (18).

Для ед. числа толкование более сложное. При абстрактном имени ед. число *всякий* в отрицательном контексте выражает крайнюю точку шкалы степени: в контексте отрицания существования *всякая связь* означает ‘даже малейшая связь’. Еще примеры:

(13) В них отсутствует *всякий* намек на романтизм [Как выбрать спутника жизни (2002) // «Семейный доктор», 2002.06.15];

(14) Отсутствовало *всякое* желание этим заниматься [Павел Крусанов. Перекуем орала на свистела (2001) // «Нева», 2004].

Ср. значение *всякий* 3 в МАС с примером *отсутствие всякой определенной идеи*; *всякий Х* в ед. числе означает ‘Х с любыми свойствами’, ‘Х независимо от свойств’; отсюда *победит всякого* = ‘даже самого сильного’.

Слово *все* уместно в предположении существования и известности множества, например, когда *отсутствовать* означает отсутствие в данном месте, см. (15), и неуместно в контексте отсутствия предположения об известности множества, см. (16).

(15) В тексте отсутствуют *все* возможные запятые в причастных и деепричастных оборотах [Андрей Колесников. Война шершавых языков (2003) // «Известия», 2003.07.24];

(16) ?Он воздержался от *всех* комментариев.

Впрочем, бывает и нереферентное *все*:

(16′) Люди, и без того жившие на грани нищеты, оказались лишены *каких бы то ни было* [= *каких-либо*, **всяких*, = *всех*] средств к существованию.

Примыкают к группе 1 «отрицательные предлоги» *без*, *против*; *в стороне*, *вне*. В контексте «отрицательных» предлогов *какой бы то ни было* заменимо на *какой-либо*, а также на *всякий* в значении *какой-либо*:

(17) Это движение, началось как-то самопроизвольно, почти стихийно, снизу, без *какого бы то ни было* давления со стороны администрации [*без какого-либо, без всякого*];

(18) Мы были категорически против *каких бы то ни было* поспешных действий [*каких-либо, всяких*; возможно также *любых*, поскольку речь идет о действиях в будущем].

Однако в (19) *всякий* употреблено в своем исходном значении – допускается существование разных философий:

(19) Эмпирическая психология … должна быть вне *какой бы то ни было* философии [*вне какой-либо, вне всякой*].

В контексте (20) *всякий* и *все* будут иметь разное значение – *все* предполагает более определенное множество интриг:

(20) Она была в стороне от *каких бы то ни было* интриг [*каких-либо, всяких, всех*].

Группа 2 – это глаголы типа *прекратить, утратить, отнять*. Они содержат презумпцию изначального существования множества, которое потом подверглось какому-то воздействию (и, возможно, перестало существовать). Эти глаголы не допускают *какой-либо*, выражающего нереферентность, и допускают *всякий/все*. Семантически объяснимо и то, что допустимо *всякий, все* (поскольку существует множество), и то, что неуместно *какой-либо*, которое возникало в контексте слов группы 1 благодаря компоненту «несуществование» в их семантике. (В примерах ниже звездочка при *какой-либо* может быть оспорена; важно, что *какой-либо*, даже если синтаксически возможно, не синонимично *какой бы то ни было*.)

Глаголов группы 2 много; толкования не приводятся.

(21) Немедленно прекратите *какие бы то ни было* [**какие-либо*, = *всякие*] поисковые работы;
(22) Запрещаются *какие бы то ни было* [**какие-либо*, = *все*] компьютерные игры;
(23) Отменены *какие бы то ни было* [**какие-либо*, = *все*] телесные наказания;
(24) <…> образованцы, отвергавшие *какие бы то ни было* традиции [**какие-либо*, = *всякие*];
(25) Его принцип отвергает какое *бы то ни было* облучение мозга [**какое-либо*, = *всякое*];
(26) Он говорил об упразднении *каких бы то ни было* [**каких-либо*, = *всяких/всех*] званий;
(27) В своих идеях и принципах он остался примером человека, противостоящего *какому бы то ни было* подавлению большинством [**какому-либо*, = *всякому*];
(28) все видели желание власти уйти от *какой бы то ни было* ответственности [**от какой-либо, от всякой*];
(28′) чтобы в будущем быть избавленным от *каких бы то ни было* «дилемм» [**каких-либо*, = *всяких*].

Как и в группе 1, в контексте абстракций у *всякий* возникает значение степени:

(29) Когда отец Мухина после речи пополнился на сто пятьдесят граммов водки, то утратил *какой бы то ни было* интерес к происходящему [**какой-либо*; *всякий* = ‘даже малейший’];
(30) Нетерпимое отношение к генетически модифицированному продовольствию может привести к тому, что Европа потеряет *какое бы то ни было* влияние в этой сфере, а правила игры будут определять США и страны Азии [**какое-либо, всякое*];
(31) Отнял *какую бы то ни было* [**какую-либо, всякую*] способность к сопротивлению.

Если множество мыслится как пополняемое, возможно *любой*:

(32) Говоря, например, о картине Александра Иванова «Явление Христа народу», он восхищается ею прежде всего как народной картиной … начисто отвергая *какие бы то ни было* мистико-религиозные ее толкования [**какие-либо, любые*].

У глагола *отказаться* возможно дополнение с презумпцией изначального существования множества, как в примере (33а); тогда он принадлежит к группе 2. И без нее, как в (33б); тогда он принадлежит к группе 1:

(33) а. Он отказывался от *каких бы то ни было* предложений [**каких-либо*, *всех*];
б. Он отказался от *какой бы то ни было* помощи [*от какой-либо*, *от всякой*].

Интересен пример (34), где *какой бы то ни было* взаимозаменимо с *любой*, но не с *все*, которое несло бы пресуппозицию существования, отсутствующую в исходном предложении:

(34) Кстати, не случайно первым указом преемника было освобождение Ельцина и его семьи от ответственности за *какие бы то ни было* преступления, совершенные в бытность на посту президента [**какие-либо*, *любые*].

Отдельно рассмотрим случай, когда имплицитное отрицание находится не в той же предикации, что кванторное слово, а в подчиняющей. Тогда в контексте тех же глаголов группы 2 становится возможно *какой-либо*, а *всякий, все*, наоборот, выпадают – инфинитив выражает ирреальную ситуацию, и презумпции существования множества участников больше нет:

(35) Категорически запрещалось **вступать** с ними в *какие бы то ни было* разговоры [*какие-либо*, **всякие*, **все*].

И вообще, в контексте глагола с имплицитным отрицанием, подчиняющего инфинитив или клаузу, возможно *какой-либо*, см. (36). Напротив, *всякий*, *все* оказывается в этом контексте неуместным. В самом деле, инфинитив порождает отдельную ситуацию, нереальную, и множество ее участников не задано заранее:

(36) Мысли отказываются **остановиться** на *каком бы то ни было* предмете [= *каком-либо*, **всяком*];
(37) Ум мой бессознательно отказывался **выводить** *какие бы то ни было* заключения из того, что я видел [= *какие-либо*, **всякие*];
(38) Павел Алексеевич уже перестал **ждать** *какого бы то ни было* ответа [= *какого-либо*, **всякого*];
(39) Главный принцип вашей студии – избегать прямого **цитирования** *какого бы то ни было* стиля [= *какого-либо*, **всякого*];
(40) передумала **задавать** им *какие бы то ни было* вопросы [= *какие-либо*, **всякие*];
(41) Сомневаюсь, что она знает *какие бы то ни было* детали [= *какие-либо*, **всякие*; *все* возможно, но не синонимично с *какие бы то ни было*].

То же в контексте кратких прилагательных и предикативов, подчиняющих инфинитив или отглагольное имя с имплицитным отрицанием:

(42) **Выстраивать** на столь дрянном фундаменте *какие бы то ни было* имперские конструкции крайне опрометчиво <т.е. 'не стоит'> [= *какие-либо*, **всякие*];
(43) Одним словом, мне невыразимо тяжело было **иметь** с ним *какие бы то ни было* отношения [= *какие-либо*, **всякие*]; NB невозможность заменить в этом примере слово *тяжело*, с имплицитным отрицанием, на *легко*;
(44) Мне стыдно было **напрашиваться** на *какое бы то ни было* внимание к себе после более чем двух десятилетий молчания [*какое-либо* = 'даже малейшее'].

Если инфинитив не порождает нереальную ситуацию и несуществование множества, то *все* возможно; например: *Детям запрещается* ***посещать*** *все мероприятия, проводимые после 22 часов.*

Итак, отрицание в подчиняющей предикации, имплицитное или эксплицитное, – это основной контекст для местоимений на *-либо*.

Важную роль играет синтаксис. Так, в (45а) отрицание входит в состав имени, и является имплицитным, отсюда местоимение на *-либо*; а в (45б) оно входит в состав предиката; отсюда отрицательное местоимение, см. раздел 2:

(45) а. Налицо неподвластность человеческого тела *каким бы то ни было* манипуляциям [= *каким-либо*];
б. Человеческое тело неподвластно *никаким* манипуляциям.

Итак, мы выявили два лексических фактора, определяющих возможность замены *какой бы то ни было* на *какой-либо* и *всякий*: глаголы типа *отсутствовать*, с формулой замены [*какой-либо*; **всякий*], и глаголы типа *прекратить*, с формулой замены [**какой-либо*; *всякий / все*]. И один синтаксический: имплицитное отрицание в подчиняющей предикации возвращает к формуле [*какой-либо*; **всякий*].

Посмотрим на получившуюся картину с логической точки зрения. Предложения (а)–(в) значат приблизительно одно и то же:

(а) Я воздержался от *каких бы то ни было* комментариев;
(б) Я воздержался от *каких-либо* комментариев;
(в) Я воздержался от *всяких* комментариев.

Возникает вопрос, почему оказываются взаимозаменимы слова типа *всякий*, выражающие квантор общности, и типа *какой-либо*, выражающие квантор существования. Объясняет эту синонимию логическая эквивалентность:

$$\neg\exists x\ P(x) \equiv \forall x \neg\ P(x).$$

Предложение (б), с *какой-либо*, соответствует формуле $\neg\exists x\ P(x)$: отрицание в составе лексемы P подчиняет квантор $\exists$, выражаемый местоимением *какой-либо* в составе подчиненной этому глаголу именной группы x. А предложение (в), с *всякий*, соответствует формуле $\forall x \neg\ P(x)$: квантор логически выше отрицания в составе лексемы P: от *всяких комментариев я воздержался* (= *не дал их*).

Какой из формул соответствует предложение (а) с *какой бы то ни было*? Если принять, что оно соответствует формуле $\neg\exists x\ P(x)$, то мы должны заключить, что местоимения на *бы то ни было* – это неопределенные местоимения с отрицательной поляризацией, т.е. уместные в контексте семантически подчиняющего отрицания. В самом деле, местоимения на *бы то ни было* по употреблению в отрицательных контекстах сходны с местоимениями на *-либо* (которые уже были признаны таковыми). Единственное сочетаемостное различие между *-либо* и *бы то ни было* – невозможность употребления *либо* в контексте имплицитного отрицания в глаголах типа *прекратить*, см. примеры (21–30).

З а м е ч а н и е. Есть определенные преимущества в том, чтобы признать предложение (а) соответствующим формуле $\forall x \neg\ P(x)$ и интерпретировать *какой бы то ни было* иначе – как местоимение всеобщности, модифицированное контекстом синтаксически подчиняющего отрицания (в синтаксической структуре предложения отрицание входит в состав глагола, а кванторное прилагательное стоит при подчиненном ему имени). В самом деле, *какой бы то ни было* семантически похоже именно на потенциально ударное *всякий*, с его идеей разнообразия свойств у элементов множества, а не на безударное *какой-либо*, принципиально лишенное этой идеи. Однако трактовка отрицательных местоимений как отрицательных неопределенных закреплена влиятельной книгой М. Хаспельмата (и всей последующей литературой), а всеобщностная трактовка отрицательных местоимений не имеет традиции (ср., впрочем, предложения по поводу *всегда* и *никогда*, *всякий* и *никакой* в [Падучева 1974/2007: 108]).

4. СУБСТАНТИВЫ И АДВЕРБИАЛЫ

Субстантивные местоимения на *бы то ни было* обычно не употребляются в контексте сопредикатного отрицания (примеры Я.Г. Тестельца):

(1) а. Не сохранили *каких бы то ни было* записей *vs.* *Не сохранили *чего бы то ни было*; надо: *не сохранили ничего*;
б. У нас нет *каких бы то ни было* иллюзий *vs.* *У нас нет *чего бы то ни было*; надо: *нет ничего*.

Хотя нельзя сказать, что они в этом контексте полностью невозможны, ср. *Я не высказал чем бы то ни было своего отрицательного к ним отношения*. Как было сказано в разделе 2, и у *какой бы то ни было* возможность употребления в контексте сопредикатного отрицания не абсолютная – не это главная функция местоимений на *бы то ни было*.

Субстантивные местоимения редко употребляются в контексте сопредикатности глаголу группы 1 (ср. *отсутствует что бы то ни было*) или группы 2 (*запретил что бы то ни было*). Основные употребления – в контексте имплицитного (или эксплицитного) отрицания в подчиняющей предикации, где местоимение на *бы то ни было* имеет в качестве заместителя местоимение на *-либо*:

(2) Фанатики, ослепленные той истиной, <...> которая мешает им видеть *что бы то ни было* помимо ее [Геннадий Горелик. Андрей Сахаров. Наука и свобода (2004)] [= *что-либо*];
(3) Обсуждать *что бы то ни было* всерьез становится практически невозможно [= *что-либо*];
(4) Я перестал понимать *что бы то ни было*; перестаешь удивляться *чему бы то ни было*.

В (5) единственный конкурент для *что бы то ни было* – это *что-либо*; однако *что бы то ни было* дает акцент на разнообразии элементов множества, который *что-либо* выразить не может:

(5) В палате было человек двенадцать, потолок протекал, между кроватями сновала какая-то кошка, но оттуда, «с воли», запрещалось передавать *что бы то ни было*, даже носки – под страхом инфекции! [Сати Спивакова. Не всё (2002)]

В (6) по этой причине никакая замена для местоимения на *бы то ни было* невозможна:

(6) Темнота и облачность перестали быть препятствием для обнаружения ракет *где бы то ни было*.

См. также примеры с неглагольным подразумеваемым отрицанием:

(7) Тебя вообще мало касается *что бы то ни было*, связанное со мной [Владимир Спектр. Face Control (2002)]; она редко вообще произносила *что бы то ни было*; вряд ли я исправлю *что бы то ни было*.

Примеры с адвербиальным местоимением:

(7') Совсем не то, когда бездетной женщине в дом попадется *почему бы то ни было* чужой ребенок [А.И. Герцен. Былое и думы] = ‘по какой-либо причине’;
(8) Не понимал, что мне не «там» плохо, а вообще. *Где бы то ни было*. [И. Грекова. Перелом (1987)] = ‘везде’;
(9) Постепенно она перестала к разнообразным и странным событиям *как бы то ни было* относиться, а лишь наблюдала и иногда соучаствовала [Людмила Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света // Новый Мир, № 8–9, 2000] [= *как-либо*];
(10) Не хочется <...> *как бы то ни было его* к себе привязывать [Отзыв на сайте о летнем лагере (2003)].

5. КОММЕНТАРИИ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ КОНТЕКСТАМ

Законы взаимодействия слов, действующие в рассматриваемой области, в своей основе семантические: на возможность употребления местоимения влияет отрицательный смысл, а не поверхностное отрицание. Так, в примерах (1), (2) в (а) есть нужный отрицательный компонент, а в (б) двойное отрицание дает положительный смысл; отсюда невозможность местоимений на *-либо* и *бы то ни было*:

(1) а. Он врет, что читал *что-либо / что бы то ни было*;
б. Он не врет, что читал **что-либо / *что бы то ни было*;
(2) а. Способность этого человека к *какой бы то ни было* деятельности не очевидна;
б. Способность этого человека к **какой бы то ни было / *какой-либо* деятельности не вызывает сомнений.

Примеры (3) и (4) выявляют релевантный отрицательный компонент в составе слов *мало* и *конец* – замена на антоним делает *какой бы то ни было* неуместным:

(3) а. Мало кто имел *какое бы то ни было* представление о предмете;
б. *Многие имели *какое бы то ни было* представление о предмете;
(4) а. Это конец *какой бы то ни было* свободной экономике;
б. *Это начало *какой бы то ни было* свободной экономики.

Известно, что семантическое разложение слова *только* выявляет в нем компонент отрицание. И *только* лицензирует *какой бы то ни было*:

(5) Только Иван выразил *какую бы то ни было* готовность помочь.

Естественным контекстом для *бы то ни было* является риторический вопрос – такой, который содержит имплицитное отрицание:

(6) Если разговор слышал Матвей, то зачем ему **сообщать** об этом вам – под *каким бы то ни было* соусом [= *под каким-либо*, **под всяким*].

Особую проблему составляет контрарное (идиоматичное) отрицание в составе предикатива, см. пример (7а) (аналогичный примеру (11) из раздела 2):

(7) а. Абсолютно недопустимо решение *каких бы то ни было* проблем с помощью террора;
б. Абсолютно *никакие* проблемы нельзя решить с помощью террора.

В контексте (7а) невозможна замена *бы то ни было* ни на *какой-либо* (поскольку *какой-либо* не передает идеи качественного разнообразия элементов квантифицируемого множества), ни на *всякий*. Так что самая близкая возможность выразить этот смысл без *бы то ни было* – предложение (7б), где отрицание контрадикторное.

Есть слова с отрицательным компонентом в семантике, которые на первый взгляд не лицензируют *бы то ни было*; ср. *скрыть*, *забыть*, *нарушить*, *опровергнуть*, *отменить*. Однако:

(8) Ему удалось скрыть *какие бы то ни было* следы своего пребывания на даче; Она начисто забыла *какие бы то ни было* подробности; ликвидированы, удалены, уничтожены, истреблены *какие бы то ни было* свидетельства; пропали, исчезли, иссякли, исчерпались *какие бы то ни было* возможности.

В разделе 3 мы выявили (опираясь на данные Корпуса) две группы глаголов с отрицательным компонентом, которые лицензируют *бы то ни было* и предсказуемым образом сочетаются или не сочетаются с другими неопределенными местоимениями. Всякое ли слово с отрицательным компонентом в семантическом разложении лицензирует местоимение на *бы то ни было* – этот вопрос остается пока открытым. Я.Г. Тестелец предложил в качестве примера глагола, который не лицензирует, *провалить*:

(9) *Этот студент провалит *какой бы то ни было* экзамен; надо: *любой* экзамен.

6. НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ *КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО*

Итак, мы выяснили, что местоимения на *бы то ни было* (как и на *-либо*) являются единицами с отрицательной поляризацией. Про единицы такого рода в самых разных языках известно, что они допустимы не только в контексте отрицания, но и в некоторых других. Это верно и для *какой бы то ни было*. Имеется несколько типов неотрицательных контекстов, допускающих *какой бы то ни было*.

1. Условное предложение и равнозначное ему деепричастие:

(1) Если в тело человека проник *какой бы то ни было* [*какой-либо*, *какой-нибудь*, **всякий*] микроб, организм выставляет на защиту всю свою систему иммунитета;
(2) Причем в случае, если возникнут *какие бы то ни было* экономические проблемы, виноват будет Кудрин [= *те или иные*, = *какие либо*];
(3) Решая *какую бы то ни было* частную задачу, надо думать о языке в целом [*какую-либо*, *какую-нибудь*, **всякую*].

2. Союзы *прежде чем*, *перед тем, как*:

(4) В любой другой науке, даже в физике, прежде чем встанет вопрос о *каком бы то ни было* математическом доказательстве, содержательное утверждение данной науки должно быть представлено в математической форме;
(5) Перед тем как изложить на бумаге свои воспоминания о *ком бы то ни было*, Репин рассказывал о них нескольким людям.

3. Обособление. В (6а), где *какой бы то ни было* означает 'любой', отрицательный компонент в составе глагола *отметать* не оказывает влияния на выбор кванторного оборота – *какой бы то ни было* возможно и в (6б), и объясняется обособлением:

(6)а. Безрелигиозный максимализм, в *какой бы то ни было* форме, отметает проблему воспитания в политике и в социальном строительстве;
б. Безрелигиозный максимализм, в *какой бы то ни было* форме, ведет к деградации общества.

4. Контекст вышестоящей всеобщности [= *какой-либо*, **всякий*]:

(7) Я всю косметику с *каким бы то ни было* ароматом убрала;
(8) Албанские экстремисты стремятся уничтожить всё, что в Косово и Метохии имеет *какие бы то ни было* сербские признаки;
(9) Это влияет на любые инициативы сдвига в *какую бы то ни было* сторону;
(10) Так вот, в те страны, где они <террористы>, по *каким бы то ни было* причинам, найдут пристанище, в эти страны они принесут с собой идеологию нетерпимости, насилия *в те страны* = 'во все те страны'];
(11) Конечно, жалею, как и следует жалеть всякого человека, который *почему бы то ни было* гибнет [Д.В. Григорович. В ожидании парома (1857)];
(11') Она лучше, во стократ лучше, когда страдает *чем бы то ни было*: я забываю тогда, что она чиновница, забываю, что она без ума от повести «Фрегат Надежда», – я люблю ее в эти минуты. [А.А. Григорьев. Человек будущего (1845)] [чем-либо].

5. Сравнительный оборот:

(12) Принес вреда больше, чем *какой бы то ни было* террорист [**какой-либо*, *любой*];
(13) Проведение в жизнь директив является поэтому <сейчас> более необходимым, чем *когда бы то ни было* [*когда-либо*];
(14) В любом случае ей с ребенком лучше находиться дома, чем *где бы то ни было* [Людмила Улицкая. Путешествие в седьмую сторону света] [= 'чем в *любом* другом месте'].

6. Целевой оборот [= *какой-либо*; **всякий*]:

(15) Чтобы требовать от людей неукоснительного соблюдения *каких бы то ни было* правил, нужно, на самом деле, всего две вещи: создать условия для их выполнения и назначить жесткие санкции за их нарушение.

7. Отрицание дизъюнкции, см. (16а). Контекст без дизъюнкции дает сентенциальное отрицание и отрицательное местоимение, а не местоимение на *бы то ни было*, см. (16б).

(16) а. Там нет ни трудностей, ни *каких бы то ни было* [= *каких-либо*, **всяких*] интересных задач;
б. Там нет *никаких* интересных задач.

8. Вопрос [= *какой-либо*; **всякий*]:

Задавал ли он тебе *какие бы то ни было* каверзные вопросы?

В [Haspelmath 1997] в числе контекстов, лицензирующих negative polarity items, включена конструкция *слишком …, чтобы*. Этот контекст допускает и *бы то ни было*:

Адам слишком устал, чтобы читать *какую бы то ни было* газету.

Однако можно думать, что в толкование этой конструкции входит отрицание.

Итак, местоимения на *бы то ни было*, как все отрицательно поляризованные единицы, не ограничены одними лишь отрицательными контекстами. В то же время они не употребляются в таких контекстах, типичных для снятой утвердительности, как общий вопрос, будущее время, установки на будущее (просьбы, опасения, пожелания); императив; модальность возможности и необходимости, эпистемическая модальность, сослагательное наклонение, неуверенность, предположительность, нереальность.

Контексты отрицательной полярности в разных языках имеют некоторую общность. Это наталкивает на поиски семантических объяснений этой общности. Семантический подход к описанию контекстов отрицательной полярности был разработан в рамках формальной семантики [Ladusaw 1980]. Контекст определяется через сферу действия семантического оператора. Различается два типа монотонных операторов: «выводящие вверх» (upward-entailing) и «выводящие вниз» (downward-entailing). Отрицание является оператором, выводящим вниз. Утверждается, что кроме отрицания, отрицательно поляризованные единицы могут появляться в сфере действия других операторов, выводящих вниз.

При нашем подходе это обобщение не дает проникновения в суть обсуждаемых явлений, так что мы ограничиваемся дескриптивной адекватностью – прямым перечнем контекстов с отрицательной полярностью в русском языке. В разных языках контексты с отрицательной полярностью различны, см. [Haspelmath 1997: 37]. Ср. отмеченные в начале статьи расхождения в контекстах с отрицательной полярностью между русским и французским; большие расхождения между русским и испанским найдены в [Рожнова 2009]. Очевидно, что здесь не следует искать полной семантической обусловленности.

7. ПРИМЕРЫ НЕНОРМАТИВНЫХ УПОТРЕБЛЕНИЙ

Местоимения на *бы то ни было* и на *-либо* книжные, трудные и часто употребляются неправильно. Так, фраза (1) неприемлема в современном языке:

(1) Юрий *почему бы то ни было* попадает в Нижний Новгород, где Минин призывал народ к освобождению отечества от поляков [В.Н. Майков. Романы Вальтера Скотта... (1847)].

Сейчас надо было бы сказать «по той или иной причине», «по какой-то причине», но не «по какой-либо причине». Т.е. причина неизвестна, но референтна, она не находится в сфере действия отрицания или иного оператора, порождающего отрицательную полярность. Другой пример:

(2) Он был с ней в постоянной переписке и много раз просил у нее позволения приехать к ней заграницу, чтобы жить рядом и помогать ей в *чем бы то ни было* [В.Я. Брюсов. Через пятнадцать лет (1909)].

Вместо *в чем бы то ни было*, надо сказать *во всем, в чем можно*; здесь *чтобы* не имеет того значения цели, которое оправдывает *бы то ни было* в примере (15) из раздела 6.

В (3) вместо *чего бы то ни было*, надо сказать *чего-нибудь* (не *чего-либо*!) или просто опустить детерминатив. Побудительная модальность создает контекст снятой утвердительности, достаточный для местоимений на *-нибудь*, но не для местоимений с отрицательной поляризацией:

(3) *Потратьте эти деньги на модернизацию *чего бы то ни было* [А. Климов, В. Лукин. Беседа А. Климова с В. Лукиным в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (2003)].

В (4) говорящему, очевидно, была существенна идея разнообразия элементов множества; однако ни отрицания, ни каких-либо других «лицензоров» *бы то ни было* контекст не содержит; нужно сказать *разного рода страхов*:

(4) *Вместе с тем систематическое исследование *каких бы то ни было* страхов всегда сопряжено с целым рядом трудностей [Т.А. Гаврилова. Страх смерти в подростковом и юношеском возрасте (2004) // «Вопросы психологии», 2004.12.14].

В (5) уместно не *что бы то ни было*, а *что угодно* (местоимение свободного выбора):

(5) – Но, бог мой, – сказал он, – конечно, я выслушаю, *что бы то ни было* [А.С. Грин. Блистающий мир (1923)].

В (6) лучше сказать не *чем бы то ни было*, а *чем-либо*:

(6) Она лучше, во сто крат лучше, когда страдает *чем бы то ни было*: я забываю тогда, что она чиновница, забываю, что она без ума от повести «Фрегат “Надежда”», – я люблю ее в эти минуты [А.А. Григорьев. Человек будущего (1845)] [⇒ чем-либо].

В (7) нет ни контекста отрицательной полярности, лицензирующего *какой бы то ни было* и *какой-либо*, ни контекста снятой утвердительности, достаточного для местоимений на *-нибудь*. Действия понимаются как референтные неопределенные, и лучше всего употребить *какой-то* или *тот или иной*:

(7) <не должно быть> подозрений, что судью привлекают только потому, что он высказал своё критическое отношение к **каким бы то ни было* действиям самой государственной власти [Тамара Морщакова. На пути к правосудию // «Отечественные записки», 2003].

Итак, местоимения на *бы то ни было* охватывают зону, покрываемую, с одной стороны, местоимениями на *-либо*, а с другой – местоимениями *всякий*, *любой*, *все* и *никакой*. Так что местоимения на *бы то ни было* сочетают значение общности и существования: в контексте отрицания, в силу подвижности его сферы действия, это различие в каком-то смысле нейтрализуется.

Ниже следует таблица, в которой представлено употребление основных рассмотренных местоимений в основных из рассмотренных контекстов. Знаком (+) отмечена неполная сочетаемость (оговоренная в тексте). Примеры (8)–(12) показывают, что в сравнительной конструкции в русском языке возможны все местоимения, кроме местоимений на *ни-*.

(8) Это было гораздо интереснее, чем *всякие* непонятные вещи [А.В. Драбкина. Волшебные яблоки (1975)];

(9) Сын, он описан мною в очерке «Артист лопаты», был хуже, чем *всякий* блатарь [Варлам Шаламов. О Колыме (1970–1979)] [= *хуже всякого блатаря*];

(10) Мне досталось больше, чем *кому-либо*: книжки мои были вычеркнуты из планов издательств [Аркадий Мильчин. В лаборатории редактора Лидии Чуковской // «Октябрь», № 8, 2001];

(11) Он сумел это сделать быстрее, чем *кто-либо* ожидал [Даниил Гранин. Зубр (1987)];
(12) Картошка – более русский продукт, чем *какая-нибудь* сосиска в тесте [Ольга Колева. Буфет на колесах (2004) // «Бизнес-журнал», 2004.01.30].

	ни-	*бы то ни было*	*-либо*	*всякий*	*-нибудь*
сопредикатное отрицание	+	(+)	(+)	–	–
имплицитное отрицание как в *отсутствовать*	–	+	+	–	–
имплицитное отрицание как в *прекратить*	–	+	–	+	–
отрицание в подчиняющей предикации: инфинитивный оборот	(+)	+	+	–	–
отрицание в подчиняющей предикации: придаточное	–	+	+	–	–
сравнительная конструкция	–	+	+	+	–

Анализ местоимений на *бы то ни было* подтверждает тезис из [Татевосов 2002] о том, что отдельная семантическая карта для экзистенциальных местоимений представляет в искаженном свете семантические отношения в сфере кванторных значений. В [Татевосов 2002] этот вывод сделан на примере слова *любой*. Но тот же вывод может быть сделан на примере местоимений на *бы то ни было*, которые тоже выражают как универсальные, так и экзистенциальные значения.

Концептуальный аппарат, использованный в нашем анализе, не выходит за пределы операторов, предусмотренных классической математической логикой. В [Haspelmath 1997] доказывается типологическая обоснованность особого типа местоимений – free choice. Однако в прототипических контекстах свободного выбора (таких как *Можешь взять **любое** яблоко*) *бы то ни было* не употребляется, а возникает только в контекстах, где, по словам М. Хаспельмата [Haspelmath 1997: 93], *any* свободного выбора и *any* отрицательной полярности неразличимы, например: Bob is unlikely to kick *anyone* ‘маловероятно, чтобы Боб *кого бы то ни было* ударил’. В свете нашего анализа это *бы то ни было* с отрицательной поляризацией в контексте отрицания в вышестоящей предикации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян 1978 – *Ю.Д. Апресян*. Языковая аномалия и логическое противоречие // Tekst. Język. Poetyka. Wrocław etc., 1978.

Богуславская 2004 – *О.Ю. Богуславская*. *Всякий* 2, *всяческий*, *всевозможный*, *разнообразный* 2, *разный* 2, *различный* 2 / Ю.Д. Апресян (ред.). Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд. М.; Вена, 2004.

Богуславский 2001 – *И.М. Богуславский*. Модальность, сравнительность и отрицание // Русский язык в научном освещении. 2001. № 1.

Есперсен 1958 – *О. Есперсен*. Философия грамматики. М., 1958. (Англ. ориг.: *Jespersen O.* The philosophy of grammar. London, 1924.)

МАС – *А.П. Евгеньева* (ред.). Словарь русского языка. В 4 т. М., 1981.

Падучева 1974/2007 – *Е.В. Падучева*. О семантике синтаксиса. Материалы к трансформационной грамматике русского языка М., 1974; 2-е изд., 2007.

Падучева 1985/2009 – *Е.В. Падучева*. Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985; 6-е изд., 2009.

Падучева 2007 – *Е.В. Падучева. Какой-нибудь* и *любой*: контекст снятой утвердительности // Язык и действительность. Сб. науч. трудов памяти В.Г. Гака. М., 2007.
Рожнова 2009 – *М.А. Рожнова.* Синтаксические свойства отрицательных местоимений в испанском и русском языках. Дипломная работа. РГГУ, 2009.
Татевосов 2002 – *С.Г. Татевосов.* Семантика составляющих именной группы: кванторные слова. М., 2002.
Bronnikov 2006 – *G. Bronnikov.* The Russian *vsjakij* // J. Levine et al. (eds.). Formal approaches to Slavic linguistics: The Princeton Meeting 2005 (FASL14). Ann Arbor, 2006.
Fauconnier 1975 – *G. Fauconnier.* Pragmatic scales and logical structures // Linguistic inquiry. V. 6. 1975.
Haspelmath 1997 – *M. Haspelmath.* Indefinite pronouns. Oxford, 1997.
Ladusaw 1980 – *W. Ladusaw.* On the notion 'affective' in the analysis of negative polarity items // Journal of linguistic research. 1980. 1(2).
Partee 2004 – *B.H. Partee.* The airport squib: *Any, almost,* and superlatives // Compositionality in formal semantics. Oxford, 2004.
Pereltsvaig 2000 – *A. Pereltsvaig.* Monotonicity-based vs. veridicality-based approaches to negative polarity: evidence from Russian // T.H. King, I.A. Sekerina (eds.). Formal Approaches to Slavic linguistics: The Philadelphia Meeting 1999. Ann Arbor, 2000.
Veyrenc 1964 – *J. Veyrenc. кто-нибудь* et *кто-либо* formes concurrentes? // Revue des études slaves. V. 40. 1964.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2011

© 2011 г. В.Ю. АПРЕСЯН

ОПЫТ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА: РУССКИЕ И АНГЛИЙСКИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ*

Данная работа ставит целью систематическое описание межъязыковых сходств и различий в концептуализации эмоций на материале русского и английского языков, причем в каждом кластере анализируется основная масса лингвистических средств, выражающих разные стороны эмоций. Выясняется, что при наличии многочисленных семантических контрастов между отдельными словами в русском и английском языках, а также частом отсутствии безусловного переводного эквивалента, устройство эмоциональных кластеров во многом пересекается (отчасти, по-видимому, в силу наличия единой биологической основы у эмоций в разных культурах), что вносит существенный вклад в их языковую, особенно метафорическую концептуализацию. Эта статья будет продолжена в следующем номере ВЯ.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Национальная ментальность и язык

В современной этнолингвистике одной из центральных является мысль о том, что различия в языке отражают различия в национальной ментальности и что каждый язык характеризуется своей уникальной «картиной мира». Эта идея, восходящая к работам Гумбольдта и знаменитой гипотезе Сэпира-Уорфа, нашла продолжение в работах Анны Вежбицкой [Wierzbicka 1990; 1991; 1992; 1999], а также Московской семантической школы [Апресян 1995; 2004; 2006]. Интересно, что в последнее время предлагаются также нелингвистические подтверждения верности гипотезы Сэпира-Уорфа; ср. нейропсихологические исследования в области цветообозначений, указывающие на лингвоспецифичность цветовосприятия, а именно на то, что наличие в языке названий для тех или иных цветов облегчает носителям языка восприятие этих цветов [Winawer et al. 2007; Tan et al. 2008].

Основная масса современных этнолингвистических работ, в том числе на русском материале, сосредоточена на поиске концептуальных межъязыковых различий и, в част-

* Данная работа написана при финансовой поддержке следующих грантов: гранта Президента РФ на поддержку ведущих научных школ № НШ-3205.2008.6, гранта РГНФ № 06-04-00289а на «Разработку словника и проспекта активного словаря русского языка», гранта Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН «Русская культура в мировой истории», гранта РГНФ № 07-04-00-202а «Системообразующие смыслы русского языка», при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований отделения историко-филологических наук РАН «Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей», а также гранта Дэвис-центра (Гарвард) на 2007–2008 гг. Автор выражает свою благодарность Ю.Д. Апресяну, Л.Л. Иомдину и М.В. Гронасу за ценные критические замечания к более ранним версиям этой работы, а также всем тем, кто комментировал данную работу устно, когда разные ее части обсуждались на семинаре Дэвис Центра в Гарвардском университете, семинаре Отделения современных языков в Тринити Колледже, семинаре Отделения русского языка в Дартмутском Колледже, семинаре по теоретической семантике в Институте проблем передачи информации, на конференции Диалог'2008, а также на ЛЛШ-2008 в Дубне. Отдельная благодарность моим информантам по английскому языку – Н. Шнитке, Д. Танненбойму, Э. Хьюитт, Д. Варилеку.

ности, на сравнении «ключевых слов» разных языков (понятие, введенное А. Вежбицкой) – слов, которые являются особенно важными выразителями главных ментальных особенностей носителей того или иного языка (классические примеры А. Вежбицкой – *душа*, *тоска*, *судьба*)[1].

В последнее десятилетие список ключевых концептов русского языка сильно расширился – к нему добавились, среди прочих, следующие непереводимые или не имеющие точных аналогов в других языках языковые единицы: *авось*, *совесть*, *жалость*, *истина*, *друг*, *воля*, *смирение* [Wierzbicka 1997: 55–84; Булыгина, Шмелев 1997: 481–495, Levontina, Zalizniak 2001: 306–309], *маяться*, *томиться*, *неприкаянность*, *собираться*, *заодно* [Шмелев 2002: 300, 404–410].

Бесспорно, описание подобных этнолингвистических различий помогает прояснить природу межкультурных несоответствий и трудностей в межкультурной коммуникации. Существование глубоких различий в менталитете, обусловливающих несходство в восприятии и поведении, очевидно не только для ученых-антропологов или лингвистов, их влияние распространяется далеко за рамки научных исследований. Так, например, известно, что рекламная индустрия – культурно чувствительная область, которой приходится постоянно сталкиваться с трудностями, возникающими при попытке «освоения» новых территорий. Приведем один пример из реальной жизни, имеющий непосредственное отношение к основной теме нашей статьи – эмоциям. В статье американского журналиста Кэтрин Шульц «Did antidepressants depress Japan?»[2] обсуждаются проблемы, с которыми столкнулись фармацевтические компании при попытке внедрения лекарств-антидепрессантов на японский фармацевтический рынок из-за отсутствия до последнего времени в японской культурной среде понятия депрессии как психологического состояния, которое требует медикаментозного лечения: «Если бы вы жили в Японии в течение последних пяти лет, вы знали бы, что ваша *kokoro* может простудиться. Ваша *kokoro* – это не часть вашей респираторной системы. Это не член вашей семьи. Отоларинголог не поможет вам ее вылечить. Ваша *kokoro* - это ваша душа, и представление о том, что она может простудиться (*kokoro no kaze*) специально вводилось в Японии фармацевтическими компаниями, чтобы объяснить стране, никогда не обсуждавшей состояние легкой клинической депрессии, что это такое»[3].

Мысль о глубоком влиянии культуры на чувства людей афористически выражена в известной книге Дени де Ружмона «Любовь в западном мире»: «"Всё меняется, кроме человеческого сердца", – говорят древние мудрецы, но они заблуждаются. Говоря метафорически, человеческое сердце удивительно чувствительно к изменениям времени и места»[4] [Rougemont 1956].

С другой стороны, естественно ожидать, что в силу биологической обусловленности многое в том, как люди разных языков и культур воспринимают действительность, мыслят и чувствуют, будет совпадать или, по крайней мере, в высокой степени пересекаться. Мысль о том, что существуют некоторые универсальные базовые эмоции, лежит в основе многих работ по психологии, психофизиологии и нейропсихологии эмоций [Oatley, Johnson-Laird 1987; LeDoux 1996]. Идея универсальности выражений лица (facial expressions) для как минимум шести базовых эмоций – гнева, страха, отвращения, грусти, радости, удивления – при культурной вариативности правил их социальной манифестации (display rules) пронизывает работы известного американского физиолога

---

[1] См. об этом работу [Wierzbicka 1990].

[2] «New York Times», 22.08.2004.

[3] Здесь и далее цитаты в переводе автора статьи.

«If you had lived in Japan for the last five years, you would know by now that your kokoro is at risk of coming down with a cold. Your kokoro is not part of your respiratory system. It is not a member of your family. Its treatment lies well beyond the bailiwick of your average ear, nose and throat doctor. Your kokoro is your soul, and the notion that it can catch cold (kokoro no kaze) was introduced to Japan by the pharmaceutical industry to explain mild depression to a country that almost never discussed it».

[4] «'Everything changes except the human heart', say the old sages, but they are wrong. Metaphorically speaking, human heart is strangely sensitive to variations in time and place».

Пола Экмана [Ekman 1999]. Более того, в основе лингвистических работ Анны Вежбицкой, при всей их этноспецифичной направленности, лежит очень важная идея об универсальности семантических примитивов – неразложимых и нетолкуемых языковых единиц, а, кроме того, более частная мысль о наличии определенных общих тенденций в концептуализации эмоций разными языками – emotional universals [Wierzbicka 1999].

К тому же, из-за все растущего взаимодействия разных культур, взаимопроникновения идей и понятий может происходить размывание четких этнокультурных и этнолингвистических противопоставлений.

В связи с этим типологически ценным может оказаться изучение не только концептуальных различий, но и сходств между языками. В частности, на примере эмоций видно, что при всем типологическом и культурном несходстве между языками существуют определенные общие тенденции, носящие отчасти биологический, отчасти концептуальный и культурный, отчасти чисто языковой, семантический характер. Таким образом, нашей целью в данной работе является построение семантической типологии эмоций, принимающей в расчет как сходства, так и различия между языками. Работа выполнена на материале эмоциональных концептов в русском и английском языках. Поскольку эти языки и типологически, и культурно не являются далекими, полученная в результате нашего исследования типология ни в коей мере не претендует на полноту. Однако она может рассматриваться как начало более общей работы по созданию семантической типологии эмоций, в ходе которой полученные нами результаты могут дополняться и корректироваться.

Работа выполнена в русле интегрального подхода к описанию языка [Апресян 1995]. Наряду с использованием ставших классическими подходов к описанию эмоций в языке – прототипического подхода Л. Иорданской и А. Вежбицкой [Иорданская 1971; 1984; Wierzbicka 1990; 1991; 1992; 1999], принятого и развитого Московской семантической школой [Апресян 1995; Апресян и др. 2004], а также метафорического подхода Дж. Лакова и М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980] и З. Кевечеса [Kövesces 1990; 2000], положивших начало когнитивистской школе, данная работа предлагает нечто новое.

Межъязыковое сравнение осуществляется не на основе сравнения отдельных слов (например, слов *обижаться* и *to be hurt*), а семантических полей. Это представляется необходимым для получения более цельной и сбалансированной картины концептуализации различных эмоций. Проиллюстрируем эту мысль. Например, если мы сравним английское слово *anger* с русскими *сердиться* и *злиться* в изоляции, не рассматривая другие слова со значением 'гнева', мы сделаем вывод о том, что английская и русская концептуализации гнева радикальным образом различаются. Дело в том, что английское слово *anger* описывает очень широкий круг ситуаций и чувств, а в русском языке аналогичное слово с широким значением отсутствует, что требует самых разных переводных эквивалентов в зависимости от контекста; ср.:

(1) *the professor's **anger** at the student who cheated on a test*
букв. '**гнев** профессора на студента, который списал на контрольной'
'*Профессор **рассердился** на студента*';
(2) *the country's **anger** at the raise of taxes*
букв. '**гнев** страны на повышение налогов'
'***недовольство** граждан повышением налогов* или ***негодование** граждан по поводу повышения налогов*';
(3) *the country's **anger** at a foreign invasion*
букв. '**гнев** страны на иностранное вторжение'
'*народный **гнев**, народная **ярость***';
(4) *The dog's **anger** was apparent*
букв. '**гнев** собаки был заметен'
'*Собака явно **злилась***'.

Однако если «центры» поля 'гнев' в русском и английском языках действительно сильно различаются (точнее, в русском 'гневе' центральное общее слово отсутствует как таковое), то на периферии обнаруживается намного больше параллелей. Так, в обо-

их языках выделяются в качестве отдельных эмоций, среди многих других, следующие «подтипы» 'гнева':

– сильный, неконтролируемый 'гнев' (см. также ниже) – *ярость*, *бешенство*, *fury*, *rage*;
– поверхностный и, возможно, вызванный особенностями характера экспериенсера 'гнев' – *раздражение*, *irritation*;
– 'гнев', вызванный недостижением поставленной цели (и, возможно, не имеющий конкретного объекта), – *досада*, *frustration*.

Таким образом, если мы рассматриваем и сравниваем все поле 'гнева' в целом и видим всю систему, а не отдельные ее части, то (хотя этого, возможно, и нельзя ожидать на примере каждой пары языков) обнаруживается гораздо больше системных сходств, чем при сравнении отдельных слов.

Сравнение целых систем, а не отдельных их элементов позволяет, как кажется, избежать и еще одной опасности: абсолютизации индивидуальных лингвистических особенностей отдельных слов в качестве показателей различий в менталитетах носителей разных языков. Безусловно, межкультурные различия могут быть очень глубокими, и язык в какой-то степени их отражает, однако объективность языка как «зеркала» ментальности неочевидна, особенно если опираться в качестве критерия на непереводимость того или иного слова. Дело в том, что полная переводимость – чрезвычайно редкое явление, и из отсутствия точных эквивалентов невозможно делать вывод о глобальных различиях в менталитетах и эмоциях.

Возвращаясь к семантическому полю 'гнева', рассмотрим пример из работы А. Вежбицкой [Wierzbicka 1999: 32], где речь идет о чувстве *angry* ('сердитый, в гневе') у умирающего человека: *Dying people may feel angry... Some people feel angry at God for allowing them to get sick, at their doctors for not being able to find a cure, at the government for putting money into weapons instead of medical research, or at the world in general*[5] (Callanan and Kelley 1993: 44, цит. по [Wierzbicka 1999: 32]).

Автор утверждает, что невозможность точного перевода этой фразы на польский язык из-за отсутствия переводных эквивалентов (соответствующие польские прилагательные *zły* и *gniewny* имеют «лишние» семантические оттенки – первый из них отрицательно окрашен, второй указывает на более высокий социальный статус экспериенсера) свидетельствует о принципиальной разнице в том, что чувствуют носители английского и польского языков в описываемой ситуации. «Исследуя значение и употребление таких слов как *anger* и *angry* в современном английском языке, мы можем многое узнать об "эмоциональном мире" носителей современного английского <...> Они [эти слова] отражают "сердечные привычки" общества»[6] [Wierzbicka 1999: 33]. Сделанный из сказанного вывод о том, что чувство, которое испытывал бы в подобной ситуации носитель английского языка, уникально и что носители разных языков будут испытывать принципиально разные эмоции, кажется все-таки чересчур сильным. Безусловно, жители разных стран могут чувствовать себя в подобной (или всякой иной ситуации) по-разному, но вряд ли можно утверждать, что это определяется в первую очередь языковыми различиями. Скорее, подобные вещи определяются целым комплексом факторов: характером, социальной и культурной средой, страной и окружением, религиозностью или ее отсутствием. Вполне может быть, что носители одного языка будут испытывать разные чувства в подобной ситуации в силу разницы возрастов, темпераментов, ценностей, а носители разных языков – если они окажутся близки по этим параметрам – похожим образом, несмотря на невозможность одинаково вербализовать это чувство.

---

[5] Буквальный перевод: «Умирающие могут **сердиться**... Некоторые люди **сердятся** на Бога за то, что Он позволил им заболеть, на врачей за то, что они не смогли их вылечить, на правительство за то, что оно вкладывает деньги в оружие, а не в медицинские исследования, или на мир в целом».

[6] «By examining the meaning and the use of words like *anger* and *angry* in contemporary English we can indeed learn a great deal about the "emotional universe" of the speakers of contemporary English... They reflect its /society's/ "habits of the heart"».

Рассмотрим еще один пример «этноспецифичного» чувства. Речь идет о «русском» чувстве *жалости*, которое описывается исследователями как имеющее принципиально иной характер, чем его корреляты в европейских культурах [Федотов 1992; Wierzbicka 1992; Левонтина 2004], в частности, как занимающее более центральное место в русской языковой картине мира, нежели, например, *pity* в английском. Однако даже если согласиться с тем, что в русском языке *жалость* занимает особое место по сравнению с английским *pity*, не вполне понятно, какие из этого можно сделать выводы о ментальных различиях носителей русского и английского языка. О том, что носители русского языка более жалостливы, чем носители английского? Или о том, что для носителей русского языка быть субъектом и объектом *жалости* более приемлемо, чем для носителей английского языка быть субъектом и объектом *pity*? Однако при ближайшем рассмотрении первое утверждение, касающееся эмоций как таковых, не кажется верным, а второе, касающееся связанных с эмоциями правил этики и этикета, требует, как минимум, существенных уточнений. Вообще же утверждение о связи языка и ментальности для своего эмпирического подтверждения потребовало бы масштабных антропологических изысканий и нейропсихологических экспериментов, причем совершенно не очевидно, что такое подтверждение можно было бы действительно обнаружить[7].

Более того, даже лингвистические данные свидетельствуют о том, что асимметрия между русским и английским представлением об этой эмоции отчасти преувеличена. Существительные *жалость* и *pity* являются достаточно близкими коррелятами, причем оба языка выделяют как «положительную» жалость (в английской психологической терминологии – «benevolent pity»; ср. *tender pity*, *нежная жалость*), так и «отрицательную» жалость (*contemptuous pity*, *презрительная жалость*).

Безусловно, между глаголами *жалеть* и *to pity* существует значительно большая семантическая асимметрия, чем между существительными *жалость* и *pity*. Русский глагол, в отличие от английского, может обозначать не только чувство, но и поведение (*Он ее жалеет, не обижает*), и даже действие, особенно в несобственной форме совершенного вида *пожалеть* (*Ее пожалели и пропустили без очереди*). Кроме того, русский глагол в целом гораздо более положительно окрашен, чем его английский коррелят. Так, русское словосочетание *любит и жалеет* (*Она его бесконечно любит и жалеет*), где глагол *жалеть* употреблен в сочинении с безусловно позитивно окрашенным *любить* (см. о связи *любви* и *жалости* [Wierzbicka 1992: 168]) совершенно естественно, тогда как английское словосочетание *loves and pities* прагматически неадекватно. Поиск по корпусам отражает это распределение: Русский Национальный корпус содержит 21 пример на сочиненное употребление *любить и жалеть*, Британский Национальный корпус – ни одного примера на сочиненное употребление глаголов *love and pity*[8]. Хотя в принципе такое сочетание в английском языке возможно, но его употребление ограничено религиозными контекстами; ср., например, в Псалме 103: *As a father loves and pities his children, so the Lord loves and pities those who fear Him* (103: 6–13)[9].

---

[7] Так, с точки зрения нейропсихологии утверждения о большей важности ‘жалости’ для носителей русского языка могли бы подкрепляться экспериментами, показывающими, что в одной и той же ситуации, при одних и тех же стимулах носитель русского языка испытывает эмоцию ‘жалости’, а носитель языка, с которым производится сравнение, – нет. Антропологические и социологические исследования, подтверждающие идею о русской склонности к ‘жалости’, могли бы быть направлены на доказательство большего присутствия ‘жалости’ в принятых русскоговорящим социумом этике, этикете, узаконенных ритуалах общения, социальных практиках. Насколько нам известно, подобных экспериментов и исследований не проводилось, тем более, что их результаты, скорее всего, разительно отличались бы для разных социальных, возрастных и психологических групп русскоговорящих, поэтому мы воздержимся от каких бы то ни было утверждений «за» или «против» идеи о связи *жалости* в русском языке с ‘жалостью’ в русском социуме.

[8] Здесь и далее: НКРЯ – Национальный корпус русского языка, BNC – Британский Национальный корпус, COCA – Корпус современного американского языка.

[9] «Подобно тому, как отец любит и жалеет своих детей, так Господь любит и жалеет боящихся Его» (103: 6–16).

Однако в данном случае эта несостыковка отражает не столько большую важность чувства жалости для носителей русского языка или более положительное восприятие ими этого чувства, сколько общую асимметрию между русскими и английскими глаголами со значением эмоций. Как отмечается в работе [Вежбицкая 1996: 38–42], в английском языке глаголы со значением эмоций представляют собой «вымирающую» категорию, их становится все меньше, и они семантически и стилистически ограничены. Эмоции в английском обычно выражаются существительными (так, по данным BNC существительное *pity* встречается в двадцать раз чаще, чем глагол *to pity*) и в особенности прилагательными (по данным BNC, прилагательное *sorry* встречается в 7,6 раз чаще, чем существительное *pity*), а для передачи смысла типа 'поведение, мотивированное эмоцией' или 'действие, мотивированное эмоцией' используются аналитические конструкции вида *have + имя эмоции*, *take + имя эмоции* (ср.: *to have pity*, *to take pity* – 'пожалеть'). В то же время в русском языке глаголы со значением эмоций являются регулярным явлением (ср.: *жалеть*, *стыдиться*, *радоваться*, *ужасаться*), причем, в отличие от соответствующих им существительных и адвербиалов (*жалость*, *жалко*, *стыд*, *стыдно*, *радость*, *радостно*, *ужас*, *страшно*), указывают не только на чувство, но и на его внешние проявления. То есть для русских глаголов со значением эмоций указание на некоторые дополнительные аспекты чувства, такие как мотивированные эмоцией повеление и действия, является регулярной семантической особенностью, и в этом смысле глагол *жалеть* и, соответственно, концепт 'жалость' нельзя назвать чем-то особенным.

Положительная окраска *жалеть* по сравнению с *to pity* вытекает из того, что русский глагол указывает, помимо чувства, на поведение и действия, мотивированные эмоцией. Если само отношение экспериенсера к объекту эмоции в кластерс 'жалость' может варьироваться (ср. выше: *презрительная жалость*, *любовная жалость*), то поведение, вызванное эмоцией, может быть направлено только на благо объекта – *из жалости* или *out of pity* можно делать только что-то хорошее, и такое сострадательное поведение положительно оценивается говорящим (ср. безусловно положительную окраску тех эмоций из кластера 'жалость' – *compassion*, *сострадание*, *участие*, – которые всегда указывают на то, что экспериенсер пытается так или иначе облегчить положение объекта). Таким образом, поскольку в глагол *жалеть / пожалеть* инкорпорировано указание на доброжелательное поведение, мотивированное эмоцией, он окрашен более положительно, чем глагол *to pity*, в котором такое указание отсутствует.

Интересно, что в некоторых современных антропологических исследованиях в качестве одной из центральных «русских» эмоций предлагается рассматривать вовсе не жалость, а зависть [Рис 2005: 122–125], причем таковой она предстает в самоанализе самих русских информантов, в так называемых «завистливых рассказах» (термин Н. Рис): «"Если кто-то начинает жить лучше, – сказал один информант, – все тут же хотят его убить. Все хотят, чтобы он был таким же бедным, как они <...> Русский человек не может вынести, если кто-то становится богаче его". <...> Парадоксально, но даже самим порицанием зависти в своих рассказах и анекдотах говорящие укрепляли ее, представляя естественной и сущностной частью русскости» [Рис 2005: 122–123]. При этом какие бы то ни было лингвистические данные на тему особой роли слова *зависть* в русской языковой картине мира отсутствуют, хотя в современном фольклоре – в частности, в жанре анекдота [Там же] – стереотип «русские завистливы» представлен в достаточной мере. Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что отношения между языком и ментальностью далеки от прямолинейности и что невозможно как делать выводы о национальном менталитете на основе исключительно языковых данных, так и ожидать, что все особенности национального менталитета будут четко и однозначно отражены в языке.

Всего в данной работе рассматривается 11 групп (или кластеров) эмоций: 'страх', 'гнев', 'отвращение', 'грусть', 'радость', 'стыд', 'гордость', 'жалость', 'обида', 'ревность / зависть', 'благодарность'[10]. Как видно из приведенного списка, в данной работе

[10] Заключенные в марровские кавычки названия эмоций соответствуют не конкретным словам русского языка (*страх*, *гнев* и т.д.), а являются ярлыками кластеров.

анализируется то, что называется эмоциями в традиционном, биологическом и психологическом смысле этого термина – эмоции рассматриваются как непосредственные реакции на некие стимулы. То, что называется чувствами-отношениями – любовь, ненависть, уважение и пр., – выходит за рамки нашего исследования в данной работе, поскольку и биологически, и психологически, и лингвистически чувства-отношения сильно отличаются от непосредственных эмоциональных реакций. Чувства-отношения могут возникать без внешних стимулов, их длительность существенно превышает длительность эмоций, они в еще большей степени «окультурены» и ритуализованы, чем эмоциональные реакции, что не может не отражаться на их языковой концептуализации. Так, для русского языка можно упомянуть в качестве примера различия в сочетаемостных свойствах существительных со значением чувств-состояний и чувств-отношений (ср.: *иметь доверие*, *иметь уважение*, но не **иметь восторг*, **иметь страх*). Различаются также их аспектуальные свойства – у чувств-состояний часто есть актуально-длительное значение НЕСОВ (*Когда он пришел, она бурно радовалась*), у чувств-отношений его нет (**Когда он пришел, она его уважала*); об аспектуальных свойствах стативов см. [Апресян 2009: 541–542]. Аналогичное различие существует и в английском языке, где стативные эмоциональные предикаты типа *love*, *hate*, *respect* не имеют форм Continuous.

Каждый «кластер» задается на основе объединяющего все входящие в него эмоции прототипического сценария. Например, для кластера ‘грусть’ прототипический сценарий выглядит следующим образом: ‘произошло что-то плохое; человек X чувствует что-то плохое из-за этого’. Таким образом, в эту группу попадут и *грусть*, и *печаль*, и *горе*, и *грустно*, и *расстраиваться*, и *огорчаться* и некоторые другие лексические средства, причем все они будут содержать общий семантический компонент, но также и различаться по целому ряду важных признаков[11]. При этом четкие границы между кластерами отсутствуют – кластеры переходят один в другой, могут также пересекаться. Имеется (особенно в английском) много пограничных слов со значением эмоций, которые входят сразу в два кластера: например, английское *horror* сочстаст в себе элементы прототипических сценариев ‘страха’ и ‘отвращения’, *appalled* – это одновременно и ‘страх’, и ‘удивление’. Безусловно, не любые два кластера могут пересекаться – так, нет слов, обозначающих смесь радости и отвращения, жалости и зависти, гнева и благодарности, поскольку эти пары эмоций не могут, по-видимому, вызываться одним и тем же стимулом одновременно.

Деление на кластеры в двух разных языках не обязательно совпадает; так, например, английский кластер ‘обида’ существенно у́же, чем его русский аналог, и то, что в русском языке входит в кластер ‘обида’, в английском покрывается лексикой трех разных кластеров: ‘обида’, ‘гнев’, ‘грусть’ (см. также ниже). Таким образом, мы имеем дело с межъязыковым несовпадением лексического «покрытия» концептуального пространства: то, что в одном языке «покрывается» одним словом с более общим значением, в другом может выражаться одним, двумя, тремя различными словами с более специализированными значениями (такова ситуация с русским *обижаться / обидеться* и английскими *to be hurt*, *to be offended*, *to have a grudge*, см. также ниже). Похожая ситуация описывается в работе Констана «The emotions of the ancient Greeks» на примере древнегреческих и английских слов со значением эмоций, например, греческого слова *philia*, которое обычно переводится на английский как *love* ‘любовь’ (хотя в каких-то отношениях семантически у́же, чем *love*, поскольку не описывает ситуацию эротической любви), однако в некоторых контекстах описывает ситуации, которым соответствует английское слово *friendship* ‘дружба’, когда речь идет о деловых отношениях [Konstan 2006: 4–5].

Итак, в данной работе анализируются не отдельные слова, а целые кластеры, причем лингвистические данные рассматриваются не изолированно, а в контексте всей

[11] Многие из признаков, используемых нами для описания эмоций в языке, были сформулированы в работах [Mel’čuk, Wanner 1996; Wierzbicka 1999; Апресян 2004; В. Апресян 2004; Левонтина 2004; Урысон 2004].

языковой системы. В каждом кластере приводится основная масса лингвистических средств, выражающих разные стороны эмоции:

1) во-первых, это весь спектр синонимов и аналогов в разных частях речи, представляющих разные типы и оттенки эмоции (например, для кластера 'страх' – *бояться*, *пугаться*, *трусить*, *страшиться*, *опасаться*, *страх*, *боязнь* и пр. для русского; *to be afraid*, *to be scared*, *to fear*, *fear*, *dread* и пр. для английского);

2) во-вторых, это весь спектр частеречно разнородных средств, представляющих разные аспекты появления и протекания эмоции – каузацию (*пугать*, *страшный*), внутреннее эмоциональное состояние (*грустно*, *страшно*), поведение, мотивированное эмоцией (*ужасаться*, *жалеть*), физиологические реакции на эмоцию (*побелеть*, *побагроветь*, *похолодеть*); поведенческие реакции на эмоцию (*убежать в ужасе*, *ударить кулаком по столу от досады*). Проанализированный материал дает возможность установить как сходства, так и различия в концептуализации эмоций в русском и английском языках, а также в семантическом устройстве этих полей.

В качестве языкового материала использовались материалы словарей; корпуса текстов (такие как НКРЯ, BNC, COCA)[12], художественная литература и язык СМИ (в первую очередь онлайновые версии различных новостных сайтов на русском и английском языках), а также интуиции русско- и англоговорящих информантов, в том числе двух билингвов, в равной степени владеющих обоими языками.

Обнаруживается, что при бесспорном наличии многочисленных семантических контрастов между отдельными словами в русском и английском, а также частом отсутствии безусловного переводного эквивалента, устройство эмоциональных кластеров в целом сильно пересекается.

Например, и русский, и английский языки выделяют следующие подвиды страха:
- общий, нейтральный страх (*бояться*, *страх*, *to fear/ to be afraid*);
- кратковременный биологический страх (*пугаться*, *to be scared*, *to be frightened*);
- сильный страх перед непосредственно угрожающим, масштабным и неизвестным (*ужас*, *terror*);
- сильный страх перед неизбежным и отдаленным во времени (*страшиться*, *to dread*);
- рациональный страх (*опасаться*, *to be apprehensive*);
- благоговейный страх перед высшими силами (*трепетать*, *to be awed*);
- неэтичное поведение при страхе (*трусить*, *трус*, *coward*) и некоторые другие.

При том, что все подвиды 'страха' объединяет некоторый общий прототипический сценарий, а именно: 'X думает, что может произойти что-то плохое: X не хочет этого', каждый из подвидов характеризуется какими-то дополнительными семантическими компонентами: *ужас* и *terror* указанием на близость опасности и ее масштаб, *опасаться* и *to be apprehensive* указанием на осторожное поведение, дистанцирование от опасного объекта, *трус* и *coward* указанием на отрицательную оценку субъекта эмоции и его поведения говорящим и т. п. При этом границы подвидов эмоций не обязательно совпадают с лексическими: так, *to be scared* может выражать и кратковременный «биологический» страх (*I got scared*), и нейтральный страх-отношение (*I'm scared of dogs*). Могут отсутствовать частеречные соответствия между двумя языками – так, в русском существует и глагол, и существительное со значением неэтичного поведения при страхе (*трусить*, *трус*), в то время как в английском есть соответствующее существительное *coward*, но глагол *to get cold feet* не является точным эквивалентом *трусить*, так как отрицательная оценка в нем выражена гораздо слабее. Соответствующий смысл передается в английском языке разговорно-сниженными и сленговыми выражениями *to chicken out*, *to poop out*, *to crap out*.

[12] Большая часть языковых примеров представляет собой адаптации предложений, встретившихся в реальных текстах в корпусах, с очень небольшой долей сконструированных примеров.

Суммируя сказанное, повторим, что сравнение не отдельных слов, а целых полей позволяет составить более объективное представление о языковой концептуализации каких-то явлений, в том числе эмоций, и избежать отождествления отсутствия и наличия в языке каких-то слов (в частности, точных переводных эквивалентов словам другого языка) с непременным отсутствием и наличием каких-то ментальных, когнитивных и эмоциональных особенностей у носителей этого языка.

1.2. Сознание и язык

Еще один важный вопрос, который возникает в связи с лингвистической концептуализацией эмоций (и не только их), – это вопрос о соотношении языка и сознания. В отличие от национального менталитета, под которым понимается некая совокупность особенностей восприятия, систем ценностей, стереотипов, точек зрения, обычаев, принятых в каком-то социуме в целом, сознание – это способность человеческого мозга определенным образом воспринимать окружающий мир и самого себя, свойственная людям как биологическому виду и поэтому гораздо более универсальная. Помимо уровня сознания, есть и более глубокий и более универсальный – биологический – уровень психических процессов. Так, в разных культурах эмоция 'страх' может концептуализироваться самыми разными способами, однако нейробиологические механизмы 'страха', в частности, его «локализация» в определенном отделе головного мозга – в первую очередь миндалевидном теле – межкультурно универсальны.

Если связи между национальным, культурным менталитетом и языком хотя и не абсолютно однозначны, но все-таки в высокой степени предсказуемы, то связи между реально происходящими в мозгу процессами и языком далеко не так прозрачны и очевидны. С одной стороны, представляется, что люди должны осознавать и, соответственно, фиксировать в языке то, что они воспринимают и чувствуют; с другой стороны, далеко не все процессы, происходящие в мозгу, адекватно фиксируются сознанием, и даже если фиксируются, не всегда находят языковое выражение. Ниже рассматриваются примеры параллелизма и различий между «научными», нейробиологическими механизмами эмоций и их языковой концептуализацией, а в следующем разделе анализируются связи между языком и когнитивными процессами на примере других феноменов.

1.2.1. Восприятие пространства сознанием и языком

Интересный пример асимметричности связи между языком и сознанием представляет собой концептуализация пространства, где заметны как определенные сходства, так и различия между нейропсихологическими и лингвистическими данными. Об устройстве пространственного восприятия мозгом нейропсихологи судят, в частности, на основе изучения феномена пространственного игнорирования (англ. spatial neglect) – нарушения способности к пространственному восприятию из-за поражения определенных мозговых зон. Игнорирование может иметь самые разные проявления, и их систематический анализ обнаруживает определенные общие тенденции в том, как люди с ненарушенными мозговыми функциями концептуализируют пространство.

Согласно данным [Halligan, Marshall 1991], наше сознание проводит различие между ближним и дальним пространством, так как их восприятие может избирательно нарушаться при травмировании разных зон мозга. Так, некоторые пациенты нормально воспринимают объекты, находящиеся рядом с ними, и не воспринимают объекты, находящиеся на расстоянии большем, чем вытянутая рука, в то время как у других обнаруживается противоположный эффект: они воспринимают только дальнее пространство, но не ближнее.

В языке присутствуют схожие градации: дейктические слова, являющиеся в большой степени языковой универсалией, выражают различия между ближним пространством (*тут*, *здесь*, *этот*, *here*, *this*) и дальним (*там*, *тот*, *there*); на более ранних стадиях развития русского и английского языков система была более сложной, в ней

выделялось еще и очень дальнее пространство (*он*, *yon*, *yonder* – 'вон тот'). Существуют, помимо дейктических слов, и другие лексико-грамматические способы маркировать пространственно близкое и далекое.

Еще одно противопоставление, релевантное с нейропсихологической точки зрения, – между личным пространством и внешним пространством, выражающееся в том, что человек перестает воспринимать либо собственное тело (например, не знает, в каком положении находятся его конечности), либо все, что находится за пределами его тела [Guariglia, Antonucci 1992; Cocchini et al. 2001] – отчасти находит соответствие в системе личных местоимений, хотя вообще лингвистические функции этой системы намного шире, чем выражение пространственных отношений.

Интересно соответствие между различными типами пространственной ориентации, выделяемыми в нейропсихологии и в лингвистике. В нейропсихологии выделяется относительная и абсолютная ориентация [Robertson 2004]. Так, игнорирование может распространяться на какую-то часть пространства, когда человек зрительно не воспринимает объекты, расположенные в левой или правой части зрительного поля (пространственная ориентация), или на какую-то часть объекта, когда человек зрительно не воспринимает левую или правую часть объектов, в какой бы части зрительного поля они ни находились (объектная ориентация); восприятие может зависеть от позиции наблюдателя относительно объекта (относительная ориентация), а может не зависеть (абсолютная ориентация).

Язык также маркирует различие между относительной и абсолютной ориентацией: ср. пары наречий типа *далеко* (абсолютная ориентация, маркируется расстояние между объектами) и *вдали* (расстояние до объекта отсчитывается относительно позиции наблюдателя), а также фасадные vs. нефасадные существительные [Апресян 1995: 40–42], которые в сочетании с пространственными предлогами указывают, соответственно, на абсолютную и относительную ориентацию объектов в пространстве относительно наблюдателя (*за телевизором* – фасадное существительное, абсолютная ориентация, *за деревом* – нефасадное существительное, относительная ориентация).

1.2.2. Синестезия в жизни и в языке

Еще один интересный пример не вполне симметричных отношений между сознанием и языком можно наблюдать в феномене синестезии. Клиническая синестезия – это неврологический феномен, при котором стимуляция одной сенсорной модальности ведет к непроизвольной активации другой сенсорной модальности. Например, в наиболее частотном случае синестезии «графема-цвет» человек воспринимает определенные графические символы, чаще всего буквы, как окрашенные в различные цвета, причем за каждой буквой «закреплен» свой цвет. Как окрашенные могут восприниматься и звуки – при синестезии типа «звук-цвет». Практически любые две сенсорные модальности могут оказываться связанными; например, при достаточно редком случае синестезии типа «слово-вкус» определенные слова и звуки вызывают у человека вкусовые ощущения.

В языке есть некий аналог этому феномену, а именно синестетическая метафора, при которой языковые средства, описывающие одну сенсорную модальность, используются для описания другой сенсорной модальности: например, *сладкие звуки* (звук выражается через вкус), *кричащий цвет* (цвет выражается через звук).

В работе [Ramachandran, Hubbard 2001] высказывается мысль о существовании своего рода параллелизма между механизмами, задействованными при клинической синестезии, и языковыми механизмами формирования синестетической метафоры: «Можно рассматривать метафоры как кросс-активацию концептуальных сетей, аналогичную кросс-активации перцептивных сетей при синестезии»[13] и далее: «Если это предполо-

[13] «We can think of metaphors as involving cross-activation of conceptual maps in a manner analogous to cross-activation of perceptual maps in synaesthesia» [Ramachandran, Hubbard 2001: 17].

жение правильно, оно объясняет, почему синестезия чаще встречается у художников и поэтов»[14].

Однако анализ языковых данных показывает, что полного параллелизма между этими механизмами не существует, по крайней мере в том, что касается типов связей, возникающих между разными модальностями. Если бы механизм кросс-активации концептуальных сетей был бы полностью аналогичен механизму кросс-активации перцептивных сетей, мы могли бы ожидать метафорических переносов вида *красный звук*, *вкусная буква* в соответствии с типами «графема-цвет», «звук-вкус» в клинической синестезии. Однако регулярной языковой метафоры подобного рода не наблюдается. Во многих работах отмечается, что для языковой сенсорной метафоры характерен перенос «снизу вверх», то есть описание объектов более высоких сенсорных модальностей через характеристики объектов более низких сенсорных модальностей (от осязания, вкуса и запаха к слуху и зрению), но не наоборот (см. [Апресян 1995; Day 1996]). Ср., например: метафоры типа *резкий звук*, *ледяной голос* (перенос осязание → слух), но не **громкая поверхность* (слух → осязание); *сладкий голос* (вкус → слух), но не **тихий вкус* (слух → вкус); *кричащий цвет* (слух → зрение), но не **розовый звук* (зрение → слух); *мягкие очертания* (осязание → зрение), но не **яркий на ощупь* (зрение → осязание). Метафорические выражения, образованные переносом «сверху вниз», либо невозможны, как в примерах выше, либо носят ограниченный, в частности, явно выраженный терминологический или авторский характер; ср.: *яркий <тусклый> звук* в речи музыкантов, авторская метафора *белые звуки* (А. Блок).

Исследователи предлагают различные объяснения этому языковому феномену, в первую очередь эволюционное, – важность для человека слуха и особенно зрения относительно других систем восприятия [Gallup, Cameron 1992; Апресян 1995]. Отмечается [Day 1996], что главным «донором» выражений для сенсорного метафорического переноса является осязание; ср. обилие «осязательных» метафор в модальностях зрения и, даже в еще большей степени, слуха: *мягкий голос*, *бархатистый голос*, *резкий звук*, *теплый цвет*, *холодный цвет*. В работе [Popova 2005] предлагается следующее объяснение этому явлению: осязание предполагает наиболее непосредственный опыт восприятия, поскольку требует, в отличие от зрения и слуха, непосредственного контакта, при этом, в отличие от вкуса и запаха, этот контакт не ограничен одним воспринимающим органом.

Можно привести также некоторые лингвистические соображения, объясняющие особое положение выражений, характеризующих восприятие при помощи осязания как основной источник для сенсорной метафоры.

Представляется, что по сравнению с другими сенсорными модальностями, осязание отражено в языке наиболее богато и разнообразно. Отметим, что для описания вкуса и запаха в языке существует сравнительно немного выражений; помимо собственно вкусовых характеристик и их вариаций (*сладкий*, *соленый*, *кислый*, *горький*, *терпкий*), их комбинаций (*кисло-сладкий* или англ. *sweet and sour*, а также *bittersweet* ‘горько-сладкий’) и различных производных (*кисловатый*, *с горчинкой*), а также названий вкусов по их прототипическим объектам (*сливочный*, *сырный*, *рыбный вкус*), прочие вкусы в основном описываются при помощи тактильной метафоры (*острый*, *мягкий*, *нежный*, *свежий*, *тонкий*, *легкий*, *вяжущий*, *железный вкус*).

Что касается запаха, то лексическая наполненность этого семантического поля еще ниже – запахи часто описываются через вкус (*сладкий / кислый запах*), то есть практически не имеют собственного лексического выражения, либо через общие характеристики типа ‘хороший / плохой, приятный / неприятный’ (ср.: *вонючий*, *благоуханный*, англ. *stinking*, *fragrant*).

Слух характеризуется с точки зрения громкости, высоты и тембра (*громкий / тихий*, *высокий / низкий*, *скрипучий / звонкий / сиплый / хриплый*), однако число подобных лекси-

[14] «If this idea is correct then it might explain the higher incidence of synaesthesia in artists and poets» [Ramachandran, Hubbard 2001: 17].

ческих характеристик также невелико. Зрение характеризуется выражениями двух семантических классов: 'цвет' и 'форма', причем количество и тех и других хотя и велико, но все-таки ограниченно.

Осязание же описывается практически неограниченным кругом выражений: если выражений, характеризующих температуру объектов, относительно немного (*холодный*, *теплый*, *горячий*, *ледяной*, *обжигающий* и пр.), то число выражений-характеристик фактуры денотативно разнообразно и лексически очень богато (*жесткий / мягкий / твердый / нежный*, *острый / колкий / жгучий*, *бархатный / шелковый*, *гладкий / шершавый*, *сухой / мокрый* и т.п.).

Подведем некоторые предварительные итоги: нейробиологические и когнитивные процессы могут иметь языковые корреляты, но могут и не иметь их; налицо некоторый, но далеко не полный параллелизм между тем, что происходит в мозгу, тем, что осознается мозгом, и тем, что находит языковое выражение. Как будет показано ниже, к эмоциям это относится в такой же степени, как и к рассмотренным выше феноменам пространственного восприятия и синестезии.

2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Возвращаясь к собственно лингвистическому аспекту нашего исследования, можно сделать следующее предварительное наблюдение: если взглянуть на устройство эмоциональных кластеров в русском и английском языках, то есть на весь диапазон эмоций внутри каждой группы и на всю систему эмоциональных концептов в целом, можно обнаружить не только яркие различия, но и не менее интересные параллели в логическом и концептуальном устройстве этих полей.

Во-первых, несмотря на естественную разницу в конкретном языковом выражении, набор эмоциональных концептов в целом в значительной степени пересекается. Если прибегнуть к метафоре, можно сказать, что концептуальные поля эмоций в русском и английском содержат похожие сгустки смыслов, что уже было отчасти проиллюстрировано на примере различных типов 'страха'. Эти межъязыковые структурные пересечения эмоциональных кластеров подробно рассматриваются ниже, в разделах, посвященных соответствующим эмоциям.

Во-вторых, несмотря на наличие межъязыковых различий в эмоциональной метафоре, существует большая область пересечений. Наибольшая степень универсальности свойственна эмоциональным метафорам, имеющим биологическую основу, в которых метафорический перенос основан на реальной симптоматике: в качестве метафорического обозначения эмоции используется языковое выражение, обозначающее физиологические проявления этой самой эмоции, т. е. межъязыковое и межкультурное совпадение метафор вполне естественно. В следующем разделе подробно рассматривается эмоциональная метафора в межъязыковом аспекте, а также в своем отношении к биологической реальности.

2.1. Эмоциональная метафора в межъязыковом и интердисциплинарном аспекте

Широко известными примерами «биологических» метафор являются СТРАХ – ХОЛОД (ср.: *оцепенеть*, *похолодеть*, *застыть*, *побелеть*, *to freeze with terror*, *to get cold feet*, *to go numb with fear*), ГНЕВ – ЖАР[15] (*вскипеть*, *горячий* 'склонный к вспышкам гнева', *вспыльчивый*, *взорваться*, *to boil with anger*, *to seethe with anger*, *to explode*), которые подробно рассматриваются на примере разных языков в работах [Lakoff, Johnson 1980; Апресян, Апресян 1993; Kövecses 2000 и др.]; физиологическая симптоматика

[15] Здесь 'страх' и 'гнев' также используются в метаязыковом смысле, как некие ярлыки для целого куста эмоций, а не как слова русского языка, указывающие на конкретные эмоции *страх* и *гнев*.

страха и гнева анализируется в работах П. Экмана [Ekman 1984], где показано, что для страха, действительно, характерно понижение температуры тела, а для гнева, наоборот – повышение.

Современные изыскания в области нейропсихологии позволяют существенно расширить список имеющих биологическую основу метафор, которые могут претендовать на высокую степень языковой универсальности (необходимо сделать оговорку, что мы не ставим себе целью обозреть в данном разделе все многочисленные существующие исследования по нейропсихологии эмоций, а выборочно упоминаем лишь те, которые имеют самое непосредственное отношение к обсуждаемым нами вопросам). Так, распространенной метафорой для чувства отвращения является метафора ОТВРАЩЕНИЕ – ТОШНОТА; подобно тому как языковые выражения с первичным значением понижения и повышения температуры имеют переносные «эмоциональные» значения 'страха' и 'гнева', выражения со значением физической тошноты употребляются для обозначения морального 'отвращения'; ср.: *Меня тошнит от ее претенциозных манер*; *тошнотворное высокомерие*; *Her pretentious manners make me sick*; *nauseating arrogance*. Более того, семантическое слияние физиологии и эмоциональности, ощущений и чувств в случае 'отвращения' имеет место даже в гораздо большей степени, чем у 'страха', 'гнева' и других эмоций: по крайней мере, для русского и английского языков характерно неразделение физического и морального отвращения на отдельные значения – практически все слова этого кластера могут употребляться и для обозначения ощущений, вызванных плохим вкусом, запахом, грязью, отталкивающим видом (физическое отвращение), и для обозначения чувств, вызванных столкновением с подлостью, низостью, предательством и т.п. (моральное отвращение); ср.: *отвратительная грязь <жестокость>*; *repelling dirt <cruelty>*, а также следующие русские примеры и их английские корреляты:

(5а) *При виде полуразложившейся еды у него на лице появилась гримаса гадливости*;
(5б) *At the sight of rotting food a grimace of disgust <distaste, repugnance> appeared on his face*;
(6а) *Его подлое поведение в этой ситуации вызывает гадливость*;
(6б) *His behavior in this situation is disgusting <distasteful, repugnant>*.

Эта языковая концептуализация 'отвращения' имеет биологическую мотивацию; как утверждается в работе [Calder et al. 2001], ощущение физического отвращения, которое проявляется в реальном чувстве тошноты, и чувство морального отвращения, не сопровождающееся реальной тошнотой, активизируют одни и те же нейронные сети, то есть являются близкими с нейробиологической точки зрения.

Менее очевидны, хотя, по-видимому, также биологически мотивированы языковые метафоры ЖАЛОСТЬ – БОЛЬ и ОБИДА – БОЛЬ. Обе метафоры присутствуют и в русском, и в английском языках, причем первая из них может претендовать на некоторую степень языковой универсальности. Так, в русском языке отметим греческую кальку (*сострадание*), а также заимствование из греческого (*симпатия*), в английский были заимствованы греческое (*sympathy*) и латинское (*compassion*) слова. Помимо самих «говорящих» названий чувств кластера 'жалость', указывающих на связь этого чувства с болью, в английском и, в еще большей степени, в русском языках языковая метафора ЖАЛОСТЬ – БОЛЬ проявляется в выражениях *щемящая <пронзительная> жалость*, *piercing pity*, *больно за кого-л.*, *to feel for somebody*.

Как показывают эксперименты, описанные в работах [Gallese 2001; Singer et al. 2004], у человека, наблюдающего причинение боли другому человеку, также активизируются болевые центры в мозгу, то есть метафора ЖАЛОСТЬ – БОЛЬ биологически мотивирована. Однако полного совпадения нейронного ответа на собственную боль и наблюдаемую боль не происходит – как отмечено в работе [Singer et al. 2004], нейронные сети совпадают лишь частично. Это коррелирует с устройством языковой метафоры; так, только часть языковых единиц, используемых для обозначения боли, приме-

нима для описания жалости; ср. возможность выражений *пронзительная <щемящая> жалость <боль>*, *колющая <ноющая> боль*, но не **колющая <ноющая> жалость*. Это свойство метафоры (пересечение, но не полное совпадение концептуальных схем) объясняется в работе [Kövecses 2000].

Метафора ОБИДА – БОЛЬ также представлена в обоих языках, причем в большей степени выражена в английском; ср. выражения: *to be hurt*, *to be wounded*, *to be injured* 'быть обиженным'; *pained expression* 'обиженное выражение', а также *боль обиды*, *чувствовать себя задетым*. Как утверждается в работе [McDonald, Leary 2005], ощущение social exclusion (букв. 'социальная исключенность'), т. е. тесно связанного с обидой чувства отвергнутости сообществом, с которым экспериенсер хотел бы контактировать, активизирует болевые центры в мозгу. Это лишь один из возможных стимулов для эмоции 'обиды', однако не исключено, что и в других ситуациях, когда экспериенсер испытывает обиду (например, если близкий ему человек неожиданно ведет себя как чужой), его болевые центры также активизируются.

Еще одним примером параллелизма между нейробиологическим проявлением эмоции и ее языковой концептуализацией может служить чувство страстной любви. В языке это чувство концептуализуется, в том числе, через метафоры опьянения, наркотической зависимости, болезни; ср.: *умирать <сохнуть, чахнуть> от страсти*; *сохнуть по кому-л.*; *опьянеть от любви*; *пьянить кого-л.* (вызывать страсть); *присуха* (в фольклоре – заговор или иное средство вызвать у кого-л. любовь-страсть); *не мочь без кого-л. жить*; *to pine away for smb.* 'чахнуть по кому-л.', *drunk with passion* 'опьяненный страстью'; *to be addicted to smb.* 'находиться в зависимости от кого-л.' (подобно тому как можно быть *addicted to a narcotic* 'иметь зависимость от какого-л. наркотика'); *withdrawal from a relationship* 'разрыв отношений' vs. *withdrawal syndrome* 'абстинентный синдром отмены наркотика или алкоголя'.

Для психологов идея о близости эмоциональной и наркотической зависимости не нова – еще в семидесятые годы двадцатого века психологи писали об эмоциональной зависимости как о «межличностном героине»: «У людей может развиваться привыкание к другим людям точно так же, как они привыкают к наркотикам. Мы используем термин "привыкание" не в метафорическом смысле. Межличностная зависимость в тех случаях, которые представлены ниже, не похожа на наркоманию. Она является наркоманией»[16]. [Peele, Brodsky 1974: 22]. Термин «love addiction» – «любовная зависимость», «аддиктивная любовь» – давно вошел в принятый психологический язык (см. словарь терминов, предлагаемый в онлайновой версии американского психологического журнала «Psychology today»).

Недавние нейропсихологические исследования подтвердили, что любовь-страсть нейробиологически близка другим видам зависимостей – в первую очередь наркотической и алкогольной. Так, в работе [Aron et al. 2005], где описывается эксперимент по изучению начальных стадий того, что авторы называют romantic love, делается несколько очень интересных утверждений. Эксперимент, проводившийся при помощи магнитно-резонансного исследования – одного из основных инструментов современной нейропсихологии – показал следующее. То, что называется любовью, влюбленностью, романтической страстью, не имеет с «нейронной» точки зрения ничего общего с сексом: когда испытуемым в ходе эксперимента показывали фотографию объекта их романтических чувств, активации «сексуальных зон» мозга не происходило.

Механизмы «романтической любви» нейробиологически близки тем, которые задействованы в наркотической и алкогольной аддикции, поскольку «Обе эти области являются частью системы подкрепления (наград) в мозгу – допаминовой системы, которая ассоциируется с очень сконцентрированным вниманием, душевным подъемом,

[16] «People can become addicted to other people in the same way they become addicted to drugs. We are not using the term addiction in a metaphorical sense; we mean it literally. The interpersonal dependencies in the cases that follow are not *like* addictions. They *are* addictions».

энергией, жаждой, мотивацией»[17] (из интервью с Х. Фишер, одним из авторов процитированной статьи).

Психологически «симптомы» начальных этапов страсти и ощущения, испытываемые при разрыве отношений, также очень напоминают формирование наркотической или алкогольной аддикции и абстинентный синдром (синдром отмены) соответственно: «Любовь в своем начале я в л я е т с я наркотическим пристрастием... У нее безусловно присутствуют основные характеристики наркотической зависимости – подобно тому, как это бывает с наркотиками, когда человек в кого-то влюбляется, тот человек нужен ему все больше и больше <...>. Есть и другие совпадения – настоящая зависимость, изменения в личности, синдром отмены»[18] (из интервью с Х. Фишер).

Можно рискнуть и выдвинуть мысль о том, что эмоциональная метафора представляет собой очень интересный «полигон» или отправную точку для изучения нейробиологии эмоций: если для шести «биологических» эмоциональных метафор (то есть таких, где в качестве источника метафоры используются выражения со значением физических ощущений) нашлось реальное нейробиологическое подтверждение, то возможно, что оно найдется и для некоторых других, то есть языковая метафора может в каком-то смысле задавать направление нейропсихологического исследования. Не исключено, что такое исследование покажет, что выражения типа *душевная боль* или *горечь разочарования* на самом деле не метафоричны, а отражают процессы, реально происходящие в мозгу.

2.2. Асимметрия между эмоциями в мозгу и эмоциями в языке

В предыдущем разделе приводились примеры параллелизма между процессами, реально происходящими в мозгу человека, когда он испытывает различные эмоции, и их языковой концептуализацией. В данном разделе будут рассмотрены примеры асимметрии между эмоциями «в жизни» и в мозгу, с одной стороны, и их осознанием и языковым выражением, с другой.

Существование такой асимметрии неудивительно; мы осознаем и, соответственно, вербализуем не все, что происходит в мозгу, и не всегда так, как это в реальности происходит, поскольку на наше восприятие оказывают влияние многочисленные субъективные факторы – характер воспринимающего, его ожидания, отношение, самочувствие, ситуация и пр. Как пишет нейропсихолог Леду в своей книге «Emotional brain», «внутренняя работа сознания, включая наше собственное понимание того, почему мы действуем тем образом, а не иным, не обязательно известна сознательному “я” человека»[19] [LeDoux 1996: 32].

В языке, по крайней мере, в европейских языках, принято говорить о положительных и отрицательных, приятных и неприятных эмоциях. Так, лингвистические описания эмоций [Иорданская 1971; 1984; Wierzbicka 1999; Апресян 1995; 2004] и многие другие исследования опираются на то, что экспериенсер чувствует нечто «хорошее» (в случае положительных эмоций типа радости, гордости) или нечто «плохое» (в случае страха, гнева, стыда). Однако в мозгу нет специальной зоны, «обслуживающей» все приятные эмоции и отличной от нее специальной локализации для всех неприятных эмоций. Как пишет Леду [LeDoux 1996: 16], в мозгу вообще нет какой-то единой специализированной эмоциональной системы: «Нет такой вещи как “способность испытывать эмоции” и нет одной единой мозговой системы, приспособленной для этой

[17] «Both of these areas are part of the reward system in the brain – the dopaminergic system associated with very focused attention, elation, craving».

[18] «It /early love/ *is* a drug addiction... It's certainly got some of the main characteristics of drug addiction – as with drugs, once you fall in love you need that person more and more <...>. There are other things, too – real dependence, personality changes, withdrawal symptoms».

[19] «The inner workings of important aspects of the mind, including our own understanding of why we do what we do, are not necessarily knowable to the conscious self».

несуществующей функции»[20]. Как показывают многочисленные нейробиологические исследования, разные эмоции по-разному локализованы в мозгу, они домен-специфичны; так, страх в первую очередь локализуется в амигдале [Calder et al. 2001], что подтверждается избирательным нарушением способности распознавать страх, но не другие эмоции при амигдальных повреждениях; отвращение локализовано в инсуле [Phillips et al. 1997; Sprengelmeyer et al. 1996], и при повреждениях этой зоны мозга селективно нарушается способность распознавать отвращение; нарушение способности распознавать мимические и голосовые характеристики гнева связано, в свою очередь, с повреждениями вентральных областей базальных ганглий [Calder et al. 2001]. Таким образом, категоризация и обобщение, проводимые нашим сознанием и языком, являются только интерпретацией, а не отражением того, что реально имеет место.

Еще одно яркое свидетельство расхождения между реально испытываемым и осознанно вербализуемым – это эмоции-сопереживания. Как показано в работе [Gallese 2001], мозгу свойственно бессознательно «дублировать» наблюдаемые субъектом действия и переживания, благодаря работе так называемых зеркальных нейронов. Зеркальные нейроны активизируются не только в ответ на совершение действия или переживание эмоции самим субъектом, но и в ответ на наблюдаемое субъектом действие или эмоцию. Это свойство мозга лежит в основе эмпатии – способности понимать чужие чувства, «сопереживать». При этом в реальности сопереживаться может что угодно – страх, отвращение, страдание, радость, грусть, стыд.

Однако в языке дело обстоит не так. Человеческое сознание и язык (по крайней мере, европейские языки) «знают» о том, что человеку свойственно сопереживать в первую очередь боли и страданию, ср.: *жалость*, *сострадание*, англ. *pity*, *compassion*, фр. *pitié*, нем. *Mitleid*, *Erbarmen* и пр. Иногда может разделяться радость: ср., например, кальку с греческого *сорадоваться* или английское слово *vicarious*, которое используется в выражениях *vicarious joy*, *vicarious pleasure* – *радость за кого-то*, чувство, которое человек испытывает, наблюдая чужую радость.

Однако в языке нет *со-страха*, *со-отвращения*, *со-стыда* или же *co-fear*, *co-disgust*, *co-shame*; выражение *стыдно за кого-л.* или *ashamed for smb.* описывает не то чувство, которое человек испытывает, глядя на стыд другого, а то чувство, которое он испытывает, когда кто-то другой, кого он осознает как часть своей личной сферы, сделал что-то плохое. Слово *согрустие*, предложенное в «Проективном лексиконе русского языка»[21], носит отчетливо неологический характер. Английское слово *sympathy*, этимологически восходящее к греческому ‘переживание вместе с кем-то’, в современном языке приобретает значение ‘сочувствие’, которое, в своем эмоциональном значении, как и русские кальки с греческого *сочувствие* и *сопереживание*, относится в первую очередь к переживанию чужого страдания, но не к другим эмоциям (и обычно не указывает на совместное переживание радости, страха, отвращения, стыда). То же верно по отношению к английскому выражению *fellow feeling*, которое относится к разделенному страданию или, реже, радости, но не к совместному переживанию страха, отвращения, гнева и пр. Итак, в то время как нейробиологический механизм позволяет человеку «дублировать» любые эмоции, которые он наблюдает, осознает и вербализует он лишь малую их часть. Возможно, страдание занимает первое место среди разделяемых эмоций в силу того, что может требовать активного вмешательства экспериенсера в ситуацию, попытку улучшить положение, в котором находится объект эмоции.

Таким образом, с одной стороны, сознание и язык не фиксируют многих происходящих в мозгу процессов. С другой стороны, один и тот же с нейробиологической точки зрения процесс может осознаваться и вербализоваться по-разному. Так, нейробиологическими методами, по крайней мере, на данном этапе развития науки, невоз-

---

[20] «There is no such thing as “the emotion faculty” and there is no single brain system dedicated to this phantom function».

[21] Сайт «Сетевой проект филолога, философа, культуролога Михаила Эпштейна “Дар слова”» (Проективный лексикон Михаила Эпштейна, http://www.emory.edu/INTELNET/dar0.html).

можно определить разницу между такими эмоциональными состояниями как, например, *радость* и *злорадство*, *сердиться* и *злиться*, поскольку они различаются в первую очередь не стимулом, не характером переживания, не интенсивностью, а отношением говорящего к эмоции и к переживающему ее экспериенсеру (первая эмоция в каждой паре оценивается нейтрально, вторая – отрицательно). В то же время с языковой точки зрения эта разница очевидна.

В иных случаях имеет место достаточная нейробиологическая детализированность при отсутствии соответствующей языковой. Так, в работе [Öhman et al. 2001] описываются эксперименты, показывающие существование двух эволюционно важных типов страха – боязни змей и боязни пауков. Интересно, что в этих экспериментах стимул был представлен подсознательно, то есть участники экспериментов даже не осознавали, что видят змей или же пауков, однако обнаруживали физиологическую реакцию страха.

Нейробиологически это означает, что эти два вида страха «обслуживаются» специальными «быстрыми» нейронными сетями, так что сигнал с сетчатки поступает в амигдалу (локализация страха) по подкорковым путям, не «заходя» в визуальный кортекс – то место коры головного мозга, где происходит обработка визуальной информации и ее осознание. Это представляет смысл с эволюционной точки зрения, так как на опасность надо реагировать как можно быстрее, а быстрый подкорковый путь дает такую возможность.

Однако в языке, по крайней мере в современных европейских языках, нет специальных слов для называния этих двух конкретных типов страха, хотя вообще лексика страха разработана очень детально (см. выше и ниже о страхе перед высшим существом, о неэтичном страхе и т. п.), по-видимому, потому, что для современного человека этот эволюционный механизм очень маргинален. Психологические термины *арахнофобия* (боязнь пауков) и *офидиофобия* (боязнь змей) описывают две из многочисленных фобий, известных медицине, однако не входят в основной лексический массив, отражающий языковую картину мира обычных носителей языка.

Еще одно различие – не между эмоциями в мозгу и эмоциями в языке, а скорее между методами экспериментальной нейропсихологии и логикой развития языка, заметно на примере того, что можно назвать «смешанными» эмоциями. Так, в языке есть множество слов, обозначающих не какую-то одну базовую эмоцию в чистом виде, а смесь эмоций; так, английское слово *horror* указывает и на страх, и на отвращение, а также содержит элементы удивления, шока; *appalled* – это и удивление, и ужас, а *marvel* – удивление и восхищение.

Очевидно, что сложные комбинации эмоций, описываемые подобными словами, вызываются сложными и специфическими стимулами, которые, по крайней мере при нынешнем состоянии экспериментальной нейропсихологии, невозможно надежно воспроизвести в лабораторных условиях; поэтому круг эмоций, которыми занимаются нейропсихологи, сводится к тому, что называют базовыми эмоциями – это эволюционно значимые эмоции с ярко выраженными физиологическими и поведенческими проявлениями, в число которых обычно включают страх, гнев, отвращение, радость, грусть, а иногда также стыд и удивление.

Изучение выражений со значением смешанных эмоций может быть интересно с нейропсихологической точки зрения, так как они служат косвенным свидетельством того, какие эмоции могут одновременно вызываться одним и тем же стимулом, а какие не могут. Так, бывает *нежная жалость* и *презрительная жалость*, *грустная радость* и *удивленная радость*, можно испытывать одновременно *стыд и гнев*, *жалость* и *отвращение*, но не бывает **нежного ужаса*, **радости, смешанной с отвращением*, **грустной злобы*.

Завершая вводную часть, повторим, что между процессами, происходящими в мозгу, с одной стороны, и их осознанием и вербализацией, с другой, существуют поразительные корреляции и не менее интересные несостыковки; изучение и того и другого может представлять интерес как для лингвистов, так и для нейропсихологов.

2.3. Общие тенденции в устройстве семантических кластеров

В ходе нашего собственно лингвистического исследования выяснилось, что в характере семантических отношений между различными языковыми единицами внутри русских и английских эмоциональных кластеров есть много общего. Это объясняется отчасти чисто семантическими, языковыми, а отчасти более широкими, когнитивными причинами.

Можно выделить следующие общие тенденции в устройстве русских и английских эмоциональных кластеров.

Во-первых, в обоих языках количество «негативных» кластеров существенно превышает количество «позитивных»; ср.: 'страх', 'гнев', 'грусть', 'отвращение', 'стыд', 'жалость', 'зависть', 'ревность', 'обида' (отрицательные) vs. 'радость', 'гордость', 'благодарность', 'восхищение' (положительные).

Возможно, это отражает общечеловеческое когнитивное устройство – нечто плохое, отклоняющееся от нормы, регистрируется сознанием лучше, чем хорошее или соответствующее норме или ожиданиям. С эволюционной точки зрения отрицательные эмоции или, точнее, эмоциональные и поведенческие реакции на отрицательные или опасные стимулы тоже, по-видимому, более востребованы, чем реакции на положительные стимулы, которые не угрожают выживанию. Наконец, как известно, язык также фиксирует негативное и отклоняющееся от нормы в гораздо большей степени, чем позитивное и соответствующее норме.

Во-вторых, в каждом кластере наблюдается определенная градация эмоций, в первую очередь по интенсивности.

Обычно выделяется нейтральное выражение для обозначения естественной степени эмоции, адекватной стимулу, лишенное как отрицательной, так и положительной оценки говорящего: *страх* и *fear*, *отвращение* и *disgust*, *стыд* и *shame*, *радость* и *joy*, *грусть* и *sadness*, *гордость* и *pride*, *жалость* и *pity*. Часто (хотя и не обязательно) слова, выражающие эту нейтральную степень эмоции, являются и наиболее частотными; например, английское *sad* 'грустный' в два раза превышает по частотности *grief* 'горе', в два с половиной – *depressed* 'подавленный, в депрессии', более чем в шесть раз – *sorrow* 'печаль' (данные COCA).

Чрезмерная степень эмоции, не адекватная стимулу, поведение, вызванное чрезмерно сильной эмоцией, а также чрезмерная предрасположенность к какой-то эмоции, даже положительной, обычно маркируются негативно; ср.: *трусость* и *cowardice* (поведение, вызванное неспособностью справиться со страхом), *зажатый* и *uptight* (поведение, вызванное чрезмерной стеснительностью), *вспыльчивый* и *quick-tempered* (склонный слишком быстро приходить в состояние гнева), *восторженный* и *euphoric* (чрезмерно или беспричинно радостный), *жалостливый*[22] и *bleeding-heart* (чрезмерно сердобольный). Кроме того, в некоторых кластерах содержатся терминологические выражения, обозначающие не только чрезмерную, но и б о л е з н е н н у ю степень эмоции – клинические состояния, характеризующиеся затянувшимся и немотивированным эмоциональным состоянием: *фобия*, *боязнь* (*боязнь воды*, *боязнь сцены*), *phobia*, *fright*; *депрессия*, *depression*; *aversion* (*aversion to food* – нездоровое отвращение к еде).

Поскольку некоторые эмоции являются социально легитимной реакцией в определенных обстоятельствах, то их отсутствие или недостаточная степень проявления оцениваются как отклонение от социальных или этических норм и обозначаются отдельными негативно окрашенными языковыми выражениями; ср.: *безжалостный* и *pitiless*, *бесстыжий*, *бесстыдный* и *shameless*, *неблагодарный* и *ungrateful*. Интересно, что страх в определенных обстоятельствах тоже воспринимается как нормальная реакция на опасность, а его отсутствие как отклонение от нормы; ср.: *бесстрашный*. Однако

[22] Ср. пример: *Бизнес попрошаек в столице процветает, его подпитывают жалостливые пассажиры метро* (http://www.gazeta.lv/story/15574.html), где свойство *жалостливый* явно оценивается слегка неодобрительно.

поскольку эта норма скорее биологическая, чем социальная или этическая, то и оценивается такое качество положительно, как преодоление некоей слабости.

Обнаруженная трихотомия напоминает систему, предложенную Аристотелем в «Никомаховой этике», где среднюю степень страсти предлагается считать нормой и оценивать позитивно, а ее недостаток или избыток – в равной мере негативно оцениваемым отклонением от нормы. Отличие состоит в том, что Аристотель распространяет эту систему на все эмоции, или страсти, в то время как тот языковой материал, который анализируется в данной работе, указывает на то, что это верно лишь для некоторых эмоций. Действительно, есть эмоции, для которых в той или иной мере представлен весь спектр возможностей, например, стыд: *совестливый* (такой, которому стыдно, совестно совершать плохие поступки – положительная оценка) и *стыдливый* (такой, которому стыдно нарушать принятые социальные нормы этикета – нейтральное слово), *бесстыжий*, *бессовестный* (такой, которому не стыдно совершать плохие поступки – отрицательная оценка), *застенчивый*, *стеснительный*, *скованный* (тот, у которого чрезмерно развито чувство социального стыда – нейтральные или слабо отрицательные выражения).

Однако для большинства эмоций картина несколько иная. Как было сказано выше, отсутствие страха является положительной, а вовсе не отрицательной характеристикой (*бесстрашный*); отсутствие гнева вообще не маркируется специально (аристотелевское *безгневный* кажется добавленным для симметрии конструктом, по крайней мере, для русского и английского языков) и если и имеет какие-то несобственные средства выражения (*невозмутимый*, *добродушный*), то также оценивается положительно, а не отрицательно.

Следующее общее свойство устройства системы эмоций в русском и английском языках состоит в том, что социально ожидаемые или просто желательные эмоции можно каузировать сознательно; ср.: *веселить* и *to cheer up*, *стыдить* и *to shame*, *разжалобить* и *to move*.

Нежелательные эмоции обычно возникают как реакция на непреднамеренные стимулы: *вызывать отвращение* и *to disgust*, *печалить* и *to sadden*, *сердить* и *to anger*, *раздражать* и *to irritate*; ср. невозможность **Перестань вызывать у меня отвращение*, ??*Не печаль меня*. Идея непреднамеренной каузации также передается в обоих языках прилагательными типа *противный* и *disgusting*, *печальный* и *sad*, *страшный* и *creepy*, *scary* и т.п.

Эмоции, каузируемые объектом, могут, как правило, быть направлены и на самого экспериенсера, однако только в том случае, если они не являются сильными и неконтролируемыми, а также не предполагают поведенческих реакций. Ср. возможность в русском и английском выражений: *жалость к себе <self-pity>*, *презрение к себе <self-contempt>*, *отвращение к себе <self-disgust>*, *сердиться на себя <be angry at oneself>*, при невозможности **ярость на себя <*rage at oneself>*, **сострадание к себе <*compassion for oneself>*, **обижаться на себя <*be offended by oneself>*, **гадливость к себе <*being creeped by oneself>*.

Сильные эмоции могут проявляться (см. также [Mel'čuk, Wanner 1996]) либо в неконтролируемых биологических, либо в неконтролируемых поведенческих реакциях; ср.: *трястись от страха <to shake with fear>*, *задыхаться от бешенства <to choke with rage>*, *тяжело дышать от гнева <to gasp with anger>*, *тошнить от отвращения <to be sick with disgust>*, *плакать от горя <to cry with grief>*, *смеяться от радости <to laugh with joy>* (биологические реакции) vs. *в ужасе убежать <to flee in terror/panic>*, *в гневе ударить <to strike in rage>* (поведенческие реакции). Эмоции средней силы не вызывают подобных реакций; ср. невозможность **убежать в опасении* и **to flee in apprehension*, **ударить в досаде* и **to hit in annoyance*.

Эмоции, которые не лишают экспериенсера способности рационально оценивать происходящее, такие как *сострадание*, *благодарность*, *зависть* (*compassion*, *gratitude*, *envy*), могут сопровождаться контролируемыми поведенческими реакциями; ср.: *помочь кому-л. из жалости* и *to help smb. out of compassion*, *взять кого-л. на работу из*

благодарности и *hire smb. out of gratitude*, *оклеветать кого-л. из зависти* и *badmouth smb. out of envy*. Для иррациональных эмоций контролируемая поведенческая реакция невозможна; ср. неправильность **убежать из паники* и **flee out of panic*, *убить из ярости* и **kill out of fury*.

Наряду с вышеперечисленными параллелями между двумя языками существует и ряд различий, хотя и несколько иных, чем было принято считать. Как нам кажется, эти межъязыковые несоответствия не обязательно отражают фундаментальные различия между эмоциональными мирами русско- и англоговорящих. Представляется, что у этих различий могут быть следующие источники:

– разное лексическое «покрытие» одного и того же концептуального поля – широко распространенный языковой феномен, встречающийся не только в области эмоций[23]. Это происходит, когда некая конфигурация значений выражается одним словом в языке X и двумя или более словами в языке Y или же некими семантическими компонентами различных слов – т.е., когда имеет место частичное пересечение смыслов (например, слово *тоска* включает в себя семантические компоненты слов *yearning* 'томление', *depression* 'депрессия' и *anguish* 'душевная боль');

– разные правила языкового поведения: представляется, что в американском английском существует тенденция избегать эксплицитно отрицательных высказываний[24]. Относительно эмоций это означает, что, подобно тому, как различаются emotion display rules («правила проявления эмоций» в терминологии П. Экмана, см. также выше), так же различаются и правила их вербализации. Носители американского английского в диалоге часто стараются избегать употребления слов-эмоций, содержащих определенные семантические компоненты; ср. прагматическую неадекватность следующих фраз:

(7) Компонент: 'Я чувствую что-то плохое из-за тебя'
Выражения: *You have hurt my feelings*, *I'm offended by you*
'Ты меня обидел';
(8) Компонент: 'Ты чувствуешь что-то плохое'
Выражения: *You are hurt*, *You are offended*
'Ты обижен';
(9) Компонент: 'Ты находишься в плохой ситуации'
Выражения: *I feel pity for you*
'Мне тебя жаль';
(10) Компонент: 'Я сделал что-то плохое'
Выражения: *I'm ashamed to have bothered you*
'Мне стыдно, что я вас побеспокоил'.

Их обычно заменяют более мягкими и более общими, «обтекаемыми» выражениями (о культурных табу в британском английском см. [Ларина 2009: 287–301]).

[23] Это может происходить и не только на лексическом материале; так, пресловутый фатализм (пассивность, иррациональность, неконтролируемость происходящего), свойственный русской культуре и языку, отражается, как многократно отмечалось, в некоторых безличных синтаксических конструкциях [Вежбицкая 1996; Апресян 2006]. Интересно, что он находит параллели на концептуальном и культурном уровне в современной англо-саксонской культуре (традиционно считавшейся представителем «рациональной» и «активной» ментальности), где становящиеся все более общепринятыми фаталистичность и пассивность выражаются в формировании устойчивых понятий типа victim culture 'культура жертв', blame culture 'культура нахождения виноватого; букв. культура обвинения', характеризующих тип менталитета и поведения, при котором происходит «responsibility-shifting» – перенос ответственности за действия и поступки с агенса на окружающих лиц или неблагоприятные обстоятельства. Ср.: «We all have some tendency to blame what is outside our control when something goes badly» 'Нам всем свойственно обвинять то, что нам неподконтрольно, когда происходит что-то плохое' [Pearn et al. 1998: 11]. Blame culture – важное социологическое и психологическое понятие, отражающее широко распространенное явление и используемое, в частности, для характеристики компаний по типу отношения менеджмента к ошибкам подчиненных.

[24] О специфике культурных скриптов в англоговорящих культурах см. [Wierzbicka 2006].

Ср. употребление *I feel bad for you, I feel for you* вместо *I feel pity for you* 'Мне тебя жалко'; *I feel bad to bother you* вместо *I'm ashamed to bother you* 'Мне неловко Вас беспокоить'; *This made me feel bad, I was sad* вместо *I was offended* 'Мне было обидно'; *Take it easy* вместо *Don't be offended* 'Не обижайся'. Русский язык допускает даже слегка преувеличенное выражение негативных эмоций; ср.: *Пять ошибок в контрольной – какой позор!* при прагматической странности *Five mistakes on the test – what a disgrace!* В то же время английский язык приветствует слегка преувеличенное выражение положительных эмоций; ср.: широко обсуждавшееся в лингвистической литературе десемантизированное употребление английского *happy* 'счастлив' в качестве синонима *glad* 'рад'.

Ниже представлены выдержки из сравнительного анализа некоторых эмоциональных кластеров в русском и английском языках. Многие из анализируемых нами выражений неоднократно привлекали внимание исследователей; ср. анализ различных слов-эмоций в работах [Иорданская 1971; 1984; Iordanskaja et al. 1996; Wierzbicka 1999; Levontina, Zalizniak 2001; Шмелев 2002; Апресян 2004; Левонтина 2004; Урысон 2004].

2.3.1. Кластер 'страх' в русском и английском языках

В кластер 'страх' входят эмоции, объединяемые идеей того, что может произойти что-то плохое, желания этого избежать и ощущения собственного бессилия.

В обоих языках есть концепт общего, «нейтрального» 'страха', который является эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой реакцией на потенциально опасный объект, действие или ситуацию, которых экспериенсер хотел бы избежать. Ср. следующие пары примеров:

(11) *Я боюсь этого человека <экзаменов>*
I'm afraid of this man <of the exams>;
(12) *Я боюсь ходить в лес*
I'm afraid to go into the woods;
(13) *Мне страшно ехать с горы*
I'm scared to go down this slope.

Семантически этот тип 'страха' можно эксплицировать следующим образом[25]:

(14) 'человек X думает, что объект, ситуация или действие Y опасны[26]; X хотел бы избежать Y; X чувствует что-то плохое'

Данная семантическая экспликация, как и другие, приведенные ниже, не представляет собой толкования какого-то одного слова, а описывает подтип эмоции, который может выражаться каким-то кругом употреблений разных лексем. Таким образом, мы говорим о разных оттенках эмоции, находящих выражение в разных языковых единицах, понимая, что между эмоцией и словом не всегда существует взаимно-однозначное соответствие, и часто бывает, что один тип эмоции выражается разными словами (*бояться, страшно*), а также может не иметь собственного специального лексического выражения, для чего приходится прибегать к развернутому описанию (ср.: *благоговейный трепет* в русском для выражения эмоции, для которой в английском есть отдельный термин – *awe*).

В обоих языках также зафиксировано представление о кратковременном «биологическом» страхе, который не предполагает никакого мыслительного процесса, предшествующего эмоции – это биологическая, поведенческая и эмоциональная реакция на внезапно воспринятый экспериенсером пугающий объект, например, собаку, лету-

[25] Ср. толкования синонимических рядов *бояться* и *страх* в Новом словаре синонимов русского языка [В. Апресян 2004; Урысон 2004], а также описание *to be afraid* 'бояться' в работе [Вежбицкая 1996].

[26] 'Опасный' – 'такой, который может стать причиной чего-то плохого'.

чую мышь, внезапно появившегося на пороге незнакомого человека, неожиданный и необычный шум – страх, о котором Леду [LeDoux 1996] пишет, что в нем биологическая и поведенческая реакция предшествует и способствует осознанию эмоции как страха, цитируя В. Джеймса: «We don't run because we are afraid; we are afraid because we run» 'Мы не убегаем из-за того, что боимся; мы боимся из-за того, что мы убегаем'. Семантически этот тип 'страха' можно эксплицировать следующим образом:

(15) 'X неожиданно воспринимает объект Y; тело X-а становится холоднее; сердце X-а бьется чаще; X может невольно что-то сделать – убежать, вскрикнуть, застыть на месте; X чувствует, что испытал что-то плохое'.

Этот тип 'страха' выражается несколькими лексическими единицами: *пугаться / испугаться / перепугаться*; *to get scared*, *to get frightened*, *to get a scare*, *to get shit-scared*.

И в русском, и в английском есть концепты кратковременного и очень сильного, иногда мистического 'страха' перед чем-то очень плохим, масштабным и часто непонятным. Этот вид 'страха' эксплицируется следующим образом:

(16) 'X думает или чувствует, что может произойти очень плохой Y или что очень плохой Y может сделать X-у что-то очень плохое; X чувствует, что не может ничего сделать, чтобы этого избежать; X чувствует что-то очень плохое'.

В английском для выражения этого смысла существует специальное слово *terror* 'ужас' и его производные – *to terrify* 'ужасать, пугать', *terrifying* 'жуткий', *terrified* 'в ужасе'. Эта разновидность 'страха' вызывает сильную физиологическую и неконтролируемую поведенческую реакцию; ср.: *to go pale with terror* 'побелеть от ужаса', *one's blood turns icy with terror* 'кровь холодеет от ужаса', *to freeze/to numb with terror* 'застыть / онеметь от ужаса', *to flee in terror* 'убежать в ужасе'.

Русский коррелят *terror*, слово *ужас*, а также его дериваты *ужасаться / ужаснуться* имеют более широкое значение: они могут относиться не только к чувству ожидания чего-то очень плохого, но и к чувству, которое охватывает человека, когда что-то очень плохое уже произошло; ср. возможность использования этого слова в следующих двух контекстах:

(17а) *Он с ужасом смотрел на приближавшихся бандитов*;
(17б) *Он с ужасом смотрел на обезображенное тело.*

В английском для этих двух ситуаций используется два разных слова:

(18а) *He was looking at the approaching gangsters in terror*;
(18б) *He was looking at the mutilated body in horror.*

В первом из этих употреблений *ужас* близок к *terror*; ср.: *застыть <побелеть> от ужаса*, *быть парализованным ужасом*, *убежать в ужасе*. Во втором употреблении *ужас* ближе к *horror*, хотя в нем и отсутствует компонент 'отвращения', свойственный *horror.*

Дериват существительного *ужас*, глагол СОВ *ужаснуться* может описывать только чувство, которое появляется после того, как произошло что-то плохое, не до этого:

(19) *Пантелей беспокойно глянул на Вадима и ужаснулся – пропал его друг, пропал артист* (В. Аксенов).

Форма НЕСОВ *ужасаться* тоже относится к чувству, вызванному чем-то уже произошедшим, однако, как правило, описывает словесную реакцию:

(20) *Василиса ужасалась, охала, молилась* (Л. Улицкая).

Horror – пограничная эмоция, сочетающая элементы 'страха' и 'отвращения', что проявляется даже в ее метафорической концептуализации. Отчасти симптоматика и, следовательно, метафорика *horror* пересекается с *terror*, то есть 'ужасом, сильным страхом': *horror iced <curdled> one's blood* 'ужас заледенил кровь', *to shrink in horror* 'сжаться в ужасе'. Однако в метафорике *horror* присутствуют и элементы *disgust* 'отвращения': *to vomit in horror* 'тошнит от ужаса'. *Horror* – это пример стирания гра-

ницы между разными кластерами, очень характерного для английского языка с его обилием слов для обозначения смешанных эмоций. Там, где в английском мы находим *horror*, в русском, в зависимости от контекста, встречается *ужас и отвращение*; *ужас, смешанный с отвращением*; *ужас*; *отвращение*; например, в «Лолите» В. Набокова фразе *I adore her so h o r r i b l y* в авторском переводе соответствует *Я так м е р з к о обожаю ее.*

Однако, хотя в *horror* явно присутствуют компоненты 'страха' и 'отвращения', этим комплекс чувств в *horror* не исчерпывается. Во-первых, удельный вес этих двух эмоций в *horror* явно неравен. В то время как фразы типа *She looked at him with horror and disgust* встречаются очень часто, фразы типа *She looked at him with horror and fear* практически не встречаются, что указывает на преобладание в эмоции *horror* компонента 'страха'.

Во-вторых, в *horror* есть нечто, отсутствующее и в 'отвращении', и в других типах 'страха'. В своем тонком психологическом описании *horror* Р. Соломон указывает на дополнительный важный компонент этой сложной эмоции – шок [Solomon 2004]. *Horror* вызывается только очень сильно выходящими за рамки обыкновенного отрицательно оцениваемыми объектами или явлениями. В современном языке употребление *horror* сильно размыто, однако в основном круге употреблений это слово указывает на чувства, вызываемые чем-то чудовищным, монструозным, невероятным – в том числе внешне, как франкенштейновский монстр. Фильмы жанра *horror*, с их злыми силами, страшными существами (часто сверхъестественного происхождения), с графически ярким насилием, полностью соответствуют семантике основного употребления существительного *horror*.

В обоих языках присутствует концепт религиозного 'страха', который внушают высшие силы или существа – Бог, природа, значительные личности. Однако в обоих языках этот концепт достаточно маргинален и, соответственно, выражающие его лексические единицы (*трепет*, *awe*) не слишком частотны и стилистически окрашены как книжные. Этот тип 'страха' также представляет собой смешанную эмоцию, в которой, однако, преобладают не отрицательные компоненты 'страха', а положительные компоненты 'уважения' и 'восхищения'. Объект, вызывающий эмоцию, не обязательно воспринимается как опасный для экспериенсера, наоборот – он часто оценивается как очень хороший. Элемент 'страха' объясняется тем, что экспериенсер ощущает свою слабость и беспомощность по сравнению с объектом чувства. Семантически эксплицировать этот тип 'страха' можно следующим образом:

(21) 'X думает, что Y очень хороший и очень значительный; X думает, что он очень незначительный; X чувствует что-то очень хорошее и очень сильное к Y-у; X чувствует, что Y может сделать что-то с X-ом, а X не может сделать ничего с Y-ом'.

В английском этот тип 'страха' выражен в большей степени: глагол и существительное *awe* и их дериваты *awesome* 'вызывающий трепет', *awed* 'в благоговейном ужасе' являются специальными обозначениями этого пограничного типа 'страха', в то время как в русском для того, чтобы выразить этот смысл, необходимо использовать фразу *благоговейный <священный> ужас* или метафорические выражения *трепет*, *трепетать*. Как и в случае *horror*, смешанная эмоция *awe* содержит разные компоненты в разной пропорции; доля 'восхищения' и 'уважения' превышает долю 'страха', что объясняет в целом положительный характер этой эмоции.

Религиозному типу 'страха' можно противопоставить 'страх' рациональный, который практически не содержит собственно эмоциональных компонентов – это скорее рациональная оценка и некое сопряженное с ней поведение:

(22) 'X думает, что объект, ситуация или действие Y опасны; X предпочитает избегать Y-а'.

Этот тип 'страха' выражается глаголом *опасаться* и его дериватами в русском языке и прилагательным *apprehensive* и его дериватами в английском; ср. следующую пару коррелирующих примеров:

(23а) *Опасаясь побочных эффектов антидепрессантов, он отказался от медикаментозного лечения*;
(23б) *Apprehensive about the side effects of anti-depressants, he opted out of pharmacotherapy.*

Полной противоположностью рациональному 'страху' является *панический страх*, *паника*, *panic* 'паника' и *to freak out* 'перепугаться'. Этот тип 'страха' предполагает полную потерю рационального самоконтроля а, в случае *паники* и *panic*, еще и неконтролируемые поведенческие реакции.

В отличие от всех остальных типов 'страха', *паника* может охватывать целые группы, даже толпы людей и животных; ср. психологические термины *crowd panic*, *mass panic* 'массовая паника'. Сами слова *паника* и *panic* также являются психологическими терминами, обозначающими состояния с достаточно четко определенным кругом симптомов: учащенным сердцебиением, потоотделением, затрудненным дыханием, тошнотой, головокружением, онемением, дереализацией или деперсонализацией [Manual of mental disorders 1994: 394–403]. Настоящие панические состояния, особенно массовые, вызываются обычно какими-то чрезвычайными, а следовательно редко встречающимися обстоятельствами (землетрясение, пожар, ограбление), поэтому «психологическое» значение слов *паника* и *panic* в разговорной речи не актуализуется[27]. В разговорной речи эти слова употребляются ослабленно и расширительно, однако указание на потерю рационального контроля над собой, когда эмоция на время полностью вытесняет способность мыслить, сохраняется; ср.: *Перед контрольной меня охватила паника.*

Семантика этого типа 'страха' может быть эксплицирована следующим образом:

(24) 'произошел или может произойти очень плохой Y; X чувствует, что он не может ничего сделать; X не знает, что делать; X не может думать; X невольно что-то делает, обычно бежит куда-то'.

Поскольку всякий 'страх' предполагает какую-то разновидность поведенческой реакции, эта эмоция становится объектом социальной и этической нормативной оценки. В обоих языках есть концепт «плохого», неэтичного 'страха', точнее, вызванного страхом неэтичного поведения в ситуации, которая требует, чтобы человек преодолел страх. Сами ситуации могут различаться в зависимости от времени, места и культуры, но всегда есть круг социально обусловленных контекстов, требующих от человека смелости, и неспособность преодолеть 'страх' и действовать так, как будто человек его не испытывает, вызывает негативную этическую оценку общества. Этот тип 'страха' может быть семантически эксплицирован следующим образом:

(25) 'X думает, что Y опасен; X хочет избежать Y-а; X старается избежать Y-а; говорящий думает, что избегать Y-а в данной ситуации плохо'.

Этот тип поведения и личности, склонной к такому поведению, обозначается выражениями *(с)трусить* и *(с)дрейфить*, которые в форме НЕСОВ обозначают чувство страха и желание избежать опасной ситуации, а в форме СОВ – удавшуюся попытку ее избежать, а также *малодушный*, *трус*, *трусость* в русском языке и английскими *to get cold feet* 'струсить, сдрейфить, смалодушничать', *coward* 'трус', *cowardice* 'трусость', *cowardly* 'трусливый', *chicken* 'трусишка'.

Интересно, что в обоих языках используются одни и те же метафорические средства для обозначения этого типа поведения, вызванного страхом. Негативно окрашенная метафора 'страха' строится на физиологической симптоматике страха у людей и у животных. Это разговорно-сниженное выражение *наложить в штаны* и его еще более грубые синонимы, их английские эквиваленты *to poop out*, *to crap out* (о подобных идиомах в русском и английском см. [Добровольский 1996]), а также разговорное выражение *поджать хвост* и его английский эквивалент *to have one's tail between one's legs*.

[27] При том, что для среднего человека настоящая паника представляет собой скорее некий психологический курьез или вовсе является незнакомым состоянием.

2.3.2. Кластер 'гнев' в русском и английском языках

Как и 'страх', 'гнев' включается в число эмоций, которые большинством психологов и физиологов считаются базовыми. Подобно 'страху', 'гнев' предположительно возник в ходе эволюции как способствующая выживанию реакция на потенциальную угрозу. В отличие от более пассивного 'страха', 'гнев' эволюционно предполагает агрессию. Физиологические проявления 'гнева' обусловлены его эволюционной функцией – приготовить экспериенцера к нападению – и проявляются главным образом в повышении температуры тела и учащении сердцебиения. Интересно, что в языке 'гнев' выражается в первую очередь не как реакция на нечто еще не произошедшее, на потенциальную угрозу, а как негативный эмоциональный ответ на нечто плохое, что уже произошло. По-видимому, это отражает нынешнюю, в гораздо большей степени социальную, нежели эволюционную, функцию 'гнева' в современном человеческом обществе. Как и биологический 'страх', биологический 'гнев', общий для человека и животных, составляет лишь малую и периферийную часть общей концептуализации 'гнева' в рассмотренных языках.

Вообще же в кластер 'гнев' входят эмоции, объединяемые идеей того, что происходит или произошло что-то плохое, в сочетании с желанием сделать что-то плохое, чтобы это прекратить или отомстить.

Как и всякая эмоция с яркими физиологическими проявлениями, 'гнев' имеет достаточно универсальную метафорическую концептуализацию в языке, а именно ГНЕВ – ЖАР, описанную и документированную в первую очередь в работах [Lakoff, Johnson 1980; Kövecses 2000]. В русском и английском языках она представлена, среди прочего, выражениями, характеризующими внутреннее состояние и поведение человека, испытывающего 'гнев': *кипеть*, *вспыхнуть*, *взорваться*; *to seethe*, *to boil*, *to explode*.

Однако 'гнев' также широко представлен неметафорической лексикой, и в этой области русский и английский языки обнаруживают меньше сходства: хотя концептуальные карты 'гнева' в двух языках в большой степени пересекаются, есть и много различий.

Во-первых, как и в случае 'страха', в английском языке существует большое количество «пограничных» выражений, обозначающих смесь 'гнева' и какой-то другой эмоции. Например, это *resentment* – смесь 'гнева', 'зависти' и 'обиды', то есть специфический вид бессильного недовольства, не проявляющийся в агрессии, поскольку экспериенсер ощущает себя более слабой стороной в конфликте, но который может быть даже более неприятной, интенсивной и «горькой» эмоцией, чем *anger*, поскольку долго накапливается, не находя выхода. *Resentment* обычно вызывается событиями и объектами, которые воспринимаются как несправедливое отношение к экспериенсеру (и в этом его близость к 'обиде'), особенно в ситуации, когда кто-то другой пользуется хорошим отношением или находится в лучшей позиции (и в этом его близость к 'зависти'):

(26) *Back then there was some* ***resentment*** *among the old pros when he started winning* (COCA)

'Некоторые из старых профессионалов были **недовольны**, когда он начал побеждать [речь идет о молодом перспективном теннисисте]';

(27) ***Resentment*** *felt by the Arab poor toward the oil-rich* (COCA)
'Чувство **недовольства**, которое арабские бедняки испытывают по отношению к нефтяным магнатам'.

В английском есть и другие специфические разновидности 'гнева', отсутствующие в русском (*annoyance*, *frustration*), о которых речь пойдет ниже.

Начнем, однако, с «нейтрального» 'гнева', не окрашенного дополнительными оттенками эмоций или отношением говорящего, который представлен и в русском, и в английском и может быть эксплицирован следующим образом:

(28) 'Y сделал что-то плохое; X чувствует что-то плохое по отношению к Y-у; X хочет сделать что-нибудь'[28].

---

[28] Приведенная нами семантическая экспликация имеет много общего с «семантической выжимкой» значений разных синонимов в статье глагола *сердиться* [Апресян 2004], а также с определением *anger* в работе [Вежбицкая 1996: 361].

И в русском, и в английском есть выражения, обозначающие подобную негативную, умеренно агрессивную реакцию на чей-то плохой поступок или свойство – это *сердиться* и *to be angry* букв. 'быть сердитым', *anger* букв. 'гнев'. Однако *сердиться* и *to be angry* далеко не симметричны: *angry* и особенно *anger* покрывают гораздо более широкое концептуальное поле, нежели *сердиться*. *Сердиться* – чувство средней интенсивности и глубины, и оно не может вызываться по-настоящему серьезным стимулом, в отличие от *anger*, который может быть и сильным, и глубоким. Кроме того, *сердиться* в целом предполагает гораздо более узкий круг ситуаций, нежели *anger*. Безусловно, как и в английском, родители могут *get angry* или *сердиться* на ребенка, то же самое может испытывать учитель в отношении ученика или начальник по отношению к подчиненному. Могут *сердиться* или *get angry* также люди с одинаковыми статусами – например, друзья. Однако, когда речь идет о больших группах людей и более абстрактном уровне эмоции, или же, наоборот, о более низком, животном уровне, английский также может использовать *anger*, *to get angry*, в то время как русский язык использует другие выражения: *негодование*, *гнев*, *возмущение* используются в первом случае, *злиться* – во втором.

Так, *anger* может описывать эмоцию, которую испытывает несправедливо осужденный человек по отношению к судье, однако *сердиться* в данном контексте звучало бы неадекватно мягко и «мелко» – по-русски скорее можно говорить о *гневе*, *ярости*, *негодовании* или даже *обиде*.

Anger может описывать чувства жителей страны, на которую напали враги, однако очевидным образом *сердиться* неадекватно и в этой ситуации – по-русски эту эмоцию можно назвать *народным гневом* или *возмущением*.

Anger может описывать и чувства группы людей, вызванные более приземленными стимулами, например, повышением налогов, в то время как по-русски эту эмоцию назовут скорее *недовольством*.

Кроме того, *сердиться*, не будучи особенно сильной эмоцией, не может, в отличие от *anger*, иметь неконтролируемых деструктивных поведенческих проявлений – обычно эта эмоция выражается вербально. Что касается *anger*, то эта эмоция может быть столь сильной и неуправляемой, что требует специального *anger management* – особого типа самоконтроля, направленного на сдерживание и преодоление гневливости.

Таким образом, русский язык, который в области эмоциональной лексики в целом гораздо менее «детализирован», чем английский, в области 'гнева' избираст стратегию специализации и покрытия концептуального пространства большим количеством специфических выражений для разных оттенков этой эмоции, а не стратегию обобщения и использования одного слова в разных употреблениях для описания многочисленных подтипов эмоции.

Итак, на концептуальных картах 'гнева' русская лексема *сердиться* занимает малую часть английского *anger*, она соответствует *anger* в его более слабых проявлениях, по менее важным поводам. Более глубокое и сильное чувство *anger*, вызываемое какими-то серьезными причинами, передается русскими лексемами *гнев* и *негодование*.

Если «центральная», нейтральная часть кластера 'гнев' в русском и английском сильно различается, то периферия пересекается в гораздо большей степени. Так, в обоих языках присутствует представление о сильном, «животном» 'гневе' – это *ярость* и *fury*, и, в еще большей степени, *бешенство* и *rage*. Эти эмоции имеют неконтролируемые и неприятные для экспериенсера физиологические проявления: *задыхаться от ярости <бешенства>*, *побагроветь <почернеть> от ярости <бешенства>*, *to fly into a fury <rage>*, *to choke with fury <rage>*, *black <purple> with rage <fury>*, *to gasp with rage <fury>*. Поведенческие проявления этого типа 'гнева' деструктивны и также не поддаются контролю:

(29) *Марат Сафин меняет тренеров едва ли не чаще, чем теннисные ракетки, которые в ярости ломает на корте* («Известия», 2001.10.12);

(30) *Он в бешенстве порвал на себе рубаху* (В. Гроссман); *He may strike out at them in fury* 'Он может ударить от ярости' (COCA);
(31) *Suspect says he killed in rage* (COCA) 'Подозреваемый утверждает, что совершил убийство в состоянии бешенства'.

Fury и *ярость*, с одной стороны, и *бешенство* и *rage*, с другой, несколько различаются степенью чувства и, соответственно, проявлениями: *ярость* и *fury* чаще проявляются вербально, *бешенство* и *rage* – в деструктивных поступках: *заорать в ярости*, *hiss in fury*, *yell in fury*, но *убить в приступе бешенства*, *to kill in a fit of rage*.

Этот тип 'гнева' семантически эксплицируется следующим образом:

(32) 'Y сделал что-то очень плохое; X чувствует что-то очень плохое по отношению к Y-у; X хочет сделать Y-у что-то очень плохое; X не может думать ни о чем другом; X делает что-то'.

В обоих языках есть выражения для неоправданного, отрицательно оцениваемого говорящим 'гнева' – немотивированно плохого отношения к кому-то и желания причинить вред этому человеку, которое вызывается не какими-то поступками объекта чувства, а особенностями характера экспериенсера. Русская *злоба*, а также английские *venom*, *rancour*, *spite* предполагают отрицательную оценку говорящим экспериенсера, указывают на неприятные и отталкивающие физиологические проявления: *позеленеть от злобы*, *green with spite*. Поскольку склонность к этим эмоциям коренится, по мнению говорящего, в характере экспериенсера, в языке существуют средства, выражающие эту особенность характера – прилагательные *злобный*, *spiteful*. Этот тип 'гнева' семантически выражается следующим образом:

(33) 'Y что-то сделал; X чувствует что-то очень плохое по отношению к Y-у; X хочет сделать что-то очень плохое Y-у; из-за этого говорящий думает об X-е плохо'.

В обоих языках также есть концепт сильного, но неглубокого 'гнева', который может быть вызван не чьими-то поступками, а обстоятельствами в целом и поэтому не обязательно направлен на какого-то конкретного человека. Этот тип 'гнева' выражается языковыми единицами *раздражение*, *irritation*, а также их производными. *Раздражаются* обычно по какому-то поводу, но не *на кого-то*; ср. странность: *?Я раздражен на тебя*, *?I am irritated at you*. Этот тип 'гнева' часто выражается вербально или мимически – в повышенном голосе, манере говорить, резких выражениях; ср.: *говорить раздраженно*, *гримаса раздражения*, *I could hear irritation in his voice* 'Я слышал раздражение в его голосе', *Irritation tightened his face* 'Его лицо напряглось от раздражения'. Он может также выражаться поведенчески, однако это поведение обычно направлено не на причинение вреда какому-то конкретному человеку, а скорее имеет целью «выпустить пар»; ср.:

(34) *Николай Аристархович в раздражении хлопнул ладонями по рулю* (М. Елизаров);
(35) *Irritated, he banged his fist on the table*
'Он в раздражении ударил кулаком по столу'.

Однако часто человек в состоянии подавить этот тип 'гнева', если не скрыть его полностью:

(36а) *Он с трудом подавил раздражение*;
(36б) *He stifled <restrained, fought down> his irritation.*

При том, что этот тип 'гнева' весьма поверхностен и вызывается не слишком серьезными событиями и обстоятельствами, он весьма неприятен для экспериенсера, лишает его спокойствия духа подобно тому, как физическое раздражение лишает человека ощущения хорошего самочувствия. Метафора физически неприятного, постоянно беспокоящего, хотя и поверхностного раздражения концептуализует этот тип 'гнева' и в русском, и в английском языках.

Этот тип 'гнева' может возникать и как естественная реакция на неприятные, раздражающие стимулы – события, обстоятельства, свойства окружающих объектов –

и как результат особенностей характера экспериенсера, например, его чрезмерной раздражительности; ср. (37а) и (37б) vs. (38а) и (38б):

(37а) *Меня раздражает ее неаккуратность*;
(37б) *Her messiness is irritating*;
(38а) *Она слишком раздражительна, чтобы быть хорошей учительницей*;
(38б) *She's too irritable to be a good teacher.*

В английском есть сленговое выражение, которое в некоторых контекстах может быть употреблено для выражения этого типа 'гнева' – *to be pissed off*:

(39) *My father was always pissed off. He was pissed that he had to work so hard. He was pissed that he made such lousy money. He was pissed that there were seven of us living in a tiny house* (COCA)
'Моего отца все **раздражало**. Его **раздражало**, что ему приходилось так много работать. Его **раздражало**, что он так мало зарабатывал. Его **раздражало**, что мы всемером живем в маленьком доме'.

Здесь не слишком глубокое, но неприятное чувство, не имеющее конкретного объекта, вызывается сочетанием назойливо неблагоприятных обстоятельств и особенностей характера экспериенсера.

Однако, как это вообще свойственно сленгу, выражение *pissed off* имеет несколько более широкий смысл и покрывает не только раздражение, но и некоторые другие оттенки 'гнева'.

Это может быть чувство, направленное на конкретного человека и вызванное каким-то его поступком, похожее на то, что выражается русским *сердиться* и английским *angry*:

(40) *My mom was pissed off at me when she found out I was smoking*
'Моя мама **рассердилась** на меня, когда узнала, что я курю'.

Иногда это бывает чувство бессильного 'гнева', к которому примешивается разочарование:

(41) *I think people are cynical, disgusted and pissed off about politics, and I think that's a perfectly rational reaction* (COCA)
'Мне кажется, народ относится к политике цинично, с чувством отвращения и **досады**, и это кажется мне абсолютно разумной реакцией'.

Иногда это злость, которую хочется выплеснуть наружу:

(42) *Haven't the two of you got anything better to do than sit around discussing the old details of something that happened to me years and years ago? Which you don't have any right to know about at all because it's none of your damn business! Damn it all to hell, now I'm really pissed off!* (COCA)
'Вам что, делать больше нечего – только сидеть тут и обсуждать то, что случилось со мной сто лет назад! И что у вас нет никакого права знать, потому что это не ваше чертово дело! Черт побери, ты меня действительно **разозлил**!'

И наконец, это чувство может быть и легким, и сильным, и даже, в отличие от *раздражаться* и *сердиться*, глубоким: *a little <mightily> pissed off, deeply pissed off* 'слегка <очень> **раздраженный**', 'глубоко **раздраженный**'.

Эта разновидность 'гнева' семантически эксплицируется следующим образом:

(43) 'произошло что-то плохое; X чувствует что-то очень плохое из-за этого; X чувствует что-то похожее на то, что люди ощущают, когда они испытывают физическое раздражение; X может хотеть сделать что-то плохое; X не может чувствовать себя хорошо'.

В английском языке выражен еще один, похожий на раздражение тип 'гнева' – это *annoyance*, разновидность 'гнева', вызываемая повторяющимся неприятным стимулом, т. е. нечто среднее между *раздражаться* и *надоесть*. Подобно раздражению, *annoyance* указывает на почти физически неприятное и назойливое чувство, которое лишает человека душевного покоя. Однако в *annoyance* есть дополнительное ограничение: как пра-

вило, это чувство возникает после того, как нечто неприятное произошло несколько раз, и когда экспериенцер чувствует себя лично задетым этим. В отличие от *раздражения*, *annoyance* бывает глубоким чувством: *deeply annoyed*. Кроме того, *annoyed* чаще видится как более оправданная реакция на стимул, нежели *раздражение*, которое может вызываться особенностями характера экспериенсера – того, что человек является *irritable*, *раздражительным*; такой черты характера, как **annoyable*, не существует. В русском языке концепт такого 'гнева' также присутствует, однако не в литературном языке, а в сленге: груб. *достать* и табу *затрахать*. Оба эти глагола могут употребляться и когда чувство направлено на конкретного человека (его поступки или качества), и когда оно вызвано обстоятельствами в целом, причем в первом случае акцентируется компонент 'гнева', а во втором – компонент 'надоесть': *Как он меня достал! Ревнует, скандалы устраивает – давно ни на кого так не злилась!*; *Он меня затрахал своим кретинизмом!* vs. *Как же меня всё достало – я устал от жизни*; *Как меня все затрахало* или даже *Меня затрахало болеть*.

Этот тип 'гнева' семантически эксплицируется следующим образом:

(44) 'много раз произошел плохой Y или постоянно происходит какой-то плохой Y; X чувствует что-то очень плохое из-за этого; X хочет, чтобы Y прекратился; X чувствует что-то похожее на то, что люди ощущают, когда они испытывают физическое раздражение; X может хотеть сделать что-то плохое; X не может чувствовать себя хорошо'.

Этот вид 'гнева' может выражаться и единицами с более широким значением – *нервировать* или *to get on one's nerves*: *He's getting on my nerves* 'Он меня раздражает <нервирует>'. Однако это слово указывает только на общее неприятное нервное возбуждение, в нем отсутствует один из главных компонентов 'гнева' – желание сделать что-то плохое.

В английском есть еще один тип 'гнева', который может вызываться обстоятельствами и не быть направленным на конкретного человека (подобно *раздражению* и *annoyance*). Этот тип 'гнева' выражается в английском словами *to frustrate*, *frustrated*, *frustration*, *frustrating*. Он, как и *annoyance*, вызывается повторяющимся стимулом, однако близок не к *надоесть*, а к *разочароваться*, он предполагает постоянное недостижение цели и, как результат, чувство бессильного 'гнева' по поводу объекта, препятствующего достижению цели, или обстоятельств; эти три эмоции – *frustration*, *disappointment* 'разочарование' и *anger* 'гнев' – часто даже упоминаются рядом:

(45) *This is causing a great deal of frustration and anger and disappointment among women* (COCA)
'Это вызывает **frustration**, гнев и разочарование среди женщин';

(46) *I had a sense of tremendous frustration and disenchantment and anger*
'У меня было чувство огромного **frustration**, разочарования и гнева'.

Экспериенсер чувствует, что его усилия не приводят к желаемому результату, что они как бы разбиваются о бетонную стену не зависящих от него обстоятельств и непреодолимых трудностей:

(47) *Do you know what causes frustration? It isn't problems. You get those all the time. What causes frustration is knowing that 20 years from now, nothing will have changed* (COCA)
'Вы знаете, что вызывает **frustration**? Не проблемы. Люди сталкиваются с проблемами все время. **Frustration** вызывается пониманием того, что и через двадцать лет ничего не изменится'.

Как и раздражение, *frustration* может контролироваться экспериенсером (*pent-up frustration* 'подавленное frustration'), но может и выплескиваться, особенно вербально или же в каких-то действиях, направленных не на причинение вреда конкретному объекту, а на «выпускание пара»: *to shout in frustration* 'кричать во **frustration**', *tears of frustration* 'слезы **frustration**', *She ate an ice cube, taking out some of her frustration by crunching angrily down on it* (COCA) 'Она съела кубик льда, сердито грызя и вымещая

на нем **frustration**'. Кроме того, экспериенсер может реагировать на эту эмоцию и деструктивными способами, стараясь найти выход из тупиковой ситуации:

(48) *We have run into roadblock after roadblock in our attempts. In total frustration, we are writing to you* (COCA)
'Наши старания сталкивались с постоянными препятствиями. Мы обращаемся к вам в полной **frustration**'.

Этот тип 'гнева' семантически эксплицируется следующим образом:

(49) 'X хочет добиться какой-то цели; X прилагает много усилий для этого; X не может добиться своей цели из-за человека или обстоятельств Y; X чувствует что-то плохое из-за этого; X чувствует, что ничего не может сделать; X может хотеть сделать что-то плохое из-за этого'.

Интересно, что хотя носители языка часто не видят разницы между *angry* и *frustrated*[29], словари не всегда отмечают компонент 'гнева' во *frustration*, определяя это чувство как 'dissatisfaction' – 'неудовлетворение', а *to frustrate* как 'disappoint' – 'разочаровывать' (Merriam-Webster unabridged dictionary); ср., впрочем, *to frustrate* – 'to upset or anger (a person) by presenting difficulties that cannot be overcome' 'расстраивать или сердить человека непреодолимыми трудностями' (Collins English dictionary).

Сочетаемость *frustration* также указывает на нечто гораздо более агрессивное и потенциально опасное, чем простое разочарование: *bloody frustration* 'кровавая **frustration**'; *Often, because of their own drug-induced paranoia, irritation, and frustration, they violently abuse children* 'Часто из-за собственной вызванной наркотиками паранойи, раздражения и фрустрации они жестоко обращаются с детьми'; *Poverty and social frustration are sowing violence* 'Бедность и социальная фрустрация порождают насилие'.

В русском языке этот концепт не выражен в полной мере. Из-за наличия лакуны произошло лексическое заимствование, однако слово *фрустрация* не является реальным соответствием своего английского коррелята – по крайней мере, на данном этапе, это специальный психологический термин, обозначающий 'негативное психическое состояние, обусловленное невозможностью удовлетворения тех или иных потребностей. Это состояние проявляется в переживаниях разочарования, тревоги, раздражительности, наконец, отчаянии'[30]. Слово *фрустрация*, в отличие от гораздо более нейтрального и частотного *frustration*, практически не встречается за пределами психологического дискурса[31]. Слово *досада* близко *frustration* компонентами недостижения цели, однако в *досаде* отсутствует элемент беспомощности, ощущение тупика и вытекающая из него агрессивность; *досада* – намного более мягкое и несерьезное, минутное чувство, в то время как *frustration* может накапливаться годами. Отчасти близки *frustration* также сленговые выражения *облом*, *обломаться*, однако и в них агрессивный компонент необязателен.

В обоих языках представлен концепт «оправданного» 'гнева' – (*праведное*, *благородное*) *негодование* и (*rightful*) *indignation*. Эта разновидность 'гнева' не эгоцентрична; часто *негодование* и *indignation* испытывают по поводу событий, лично экспериенсера не задевающих. Этот тип 'гнева' возникает, когда с точки зрения экспериенсера произошло нарушение каких-то важных этических норм; оно вызывает не желание сделать что-то плохое объекту, отомстить ему, но скорее желание наказать объекта и восстановить таким образом справедливость. Это чувство может возникать у целых групп людей: *негодование избирателей*; *волна общественного негодования*; *Политические лидеры всего мира с ужасом и негодованием реагировали на убийство Беназир Бхутто*; *World leaders on Thursday reacted with horror and indignation at the assassination of*

[29] Patricia Chaput – устное сообщение.

[30] Психологический словарь, http://psi.webzone.ru/st/119500.htm.

[31] Частота употребления слова *фрустрация* составляет 0,87 на 1 млн слов (НКРЯ), в то время как частота употребления слова *frustration* составляет 19,48 на 1 млн слов (COCA).

Benazir Bhutto; *political indignation* 'политическое негодование'; *The media exploded in indignation* 'СМИ разразились негодованием'. В английском этот тип 'гнева' также часто выражается словом *anger* – ср.: *justified anger*, *rightful anger* 'оправданный гнев', однако основным словом для выражения этого типа 'морального гнева' является *indignation*.

Этот тип 'гнева' семантически эксплицируется следующим образом:

(50) 'X думает, что Y сделал что-то плохое для других людей; X чувствует что-то плохое к Y-у из-за этого; X хочет, чтобы Y был наказан за это'.

Так же, как и в случае 'страха', английский кластер 'гнев' содержит концепт чувства, свойственного высшему – очень могущественному, возможно божественному – существу; ср. *wrath* 'гнев' в выражениях *God's Wrath* 'гнев Божий', *the cup of Wrath* 'чаша гнева'. В русском для выражения этого смысла используется более общее слово *гнев*.

Этот тип 'гнева' семантически эксплицируется следующим образом:

(51) 'X думает, что Y сделал что-то очень плохое; X хочет наказать Y-а за это; говорящий думает, что X намного сильнее Y-а'.

В обоих языках есть средства описания поведений, обусловленных гневом (подобно тому, как есть средства выражения поведений, обусловленных страхом). В русском поведения выражаются «синтетически» – словами, которые указывают одновременно на эмоцию и на тип поведения – *злиться*, *сердитый*. В английском есть специализированная лексика, описывающая в первую очередь внешние проявления этого чувства: *to glower* 'сердито смотреть', *sullen* 'мрачный, сердито выглядящий', *cross* 'злой, сердитый'. В обоих языках отражено представление о *выпускании пара* (*letting off the steam*) в качестве «меры безопасности» при 'гневе', то есть направлении негативного потенциала этого чувства в бурные, но безобидные для окружающих вербальные и поведенческие реакции.

В целом концептуальные карты 'гнева' в русском и английском обнаруживают достаточно много пересечений, хотя более специализированные и маргинальные виды 'гнева' совпадают в большей степени, нежели центральная, нейтральная часть. Этот факт интересен с теоретической точки зрения, поскольку противоречит представлению о том, что семантически нейтральное, центральное, прототипическое должно быть более универсальным, а более специализированное, маргинальное, удаленное от центра – более вариативным. Кажется, что вероятность совпадения простых семантических структур в разных языках нисколько не выше, чем вероятность совпадения более сложных структур (так, у простого *anger* нет точного коррелята, а более сложные *spite* и *злоба* коррелируют). Это вызвано, по-видимому, тем, что отражение тех или иных концептов языком регулируется не только собственно языковыми, семантическими процессами, но и общечеловеческими когнитивными особенностями, благодаря которым какие-то конфигурации жизненных ситуаций и, соответственно, семантических компонентов в значении слов оказываются более частотными и востребованными и, вследствие этого, лингвистически более универсальными, чем другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян 1995 – *Ю.Д. Апресян*. Избранные труды. Т. II. М., 1995.

Апресян 2004 – *Ю.Д. Апресян*. Словарные статьи ГОРДИТЬСЯ, ЛЮБИТЬ, РАДОВАТЬСЯ, СЕРДИТЬСЯ, СТЫДИТЬСЯ // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.

Апресян 2006 – *Ю.Д. Апресян*. Основания системной лексикографии // Ю.Д. Апресян (отв. ред.). Языковая картина мира и системная лексикография. М., 2006.

Апресян 2009 – *Ю.Д. Апресян*. Исследования по семантике и лексикографии. Т. I: Парадигматика. М., 2009.

Апресян, Апресян 1993 – *Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян.* Метафора в семантическом представлении эмоций // ВЯ. 1993. № 3.

Апресян и др. 2004 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.

В. Апресян 2004 – *В.Ю. Апресян.* Словарная статья БОЯТЬСЯ // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.

Булыгина, Шмелев 1997 – *Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев.* Языковая концептуализация мира на материале русской грамматики. М., 1997.

Вежбицкая 1996 – *А. Вежбицкая.* Язык, культура, познание. М., 1996.

Добровольский 1996 – *Д.О. Добровольский.* Образная составляющая в семантике идиом // ВЯ. 1996. № 1.

Иорданская 1971 – *Л.Н. Иорданская.* Лексикографическое описание русских выражений, обозначающих физические симптомы чувств // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1972. Т. 16.

Иорданская 1984 – *Л.Н. Иорданская.* Словарные статьи *бояться, восторг, восхищать, гнев, страх* // Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.

Ларина 2009 – *Т.В. Ларина.* Категория вежливости и стиль коммуникации. Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций. М., 2009.

Левонтина 2004 – *И.Б. Левонтина.* Словарная статья ЖАЛОСТЬ // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.

Рис 2005 – *Н. Рис.* Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки / Пер. с англ. Н.Н. Кулаковой, В.Б. Гулиды. М., 2005.

Шмелев 2002 – *А.Д. Шмелев.* Русский язык и внеязыковая действительность. М., 2002.

Урысон 2004 – *Е.В. Урысон.* Словарная статья ТОСКА // Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общим рук. акад. Ю.Д. Апресяна. Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян, Е.Э. Бабаева, О.Ю. Богуславская, И.В. Галактионова, С.А. Григорьева, Б.Л. Иомдин, Т.В. Крылова, И.Б. Левонтина, А.В. Птенцова, А.В. Санников, Е.В. Урысон. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004.

Федотов 1992 – *Г. Федотов.* Письма о русской культуре // Судьба и грехи России. СПб., 1992.

Aron et al. 2005 – *A. Aron, H. Fisher, D.J. Mashek, G. Strong, H. Li, L.L. Brown.* Reward, motivation, and emotion systems associated with early-stage intense romantic love // Journal of neurophysiology. 2005. May 31.

Calder et al. 2001 – *A.J. Calder, A.J. Lawrence, A.W. Young.* Neuropsychology of fear and loathing // Neuroscience. 2001. V. 2.

Cocchini et al. 2001 – *G. Cocchini, N. Beschin, M. Jehkonen.* The fluff test: A simple test to assess body representation neglect // Neuropsychological rehabilitation. 2001. 11(1).

Day 1996 – *S.A. Day.* Synaesthesia and synaesthetic metaphors // Psyche. 1996. V. 2. № 32. http://psyche.cs. monash.edu.au/v2/psyche-2-32-day.html

Ekman 1984 – *P. Ekman.* Expression and the nature of emotion // Approaches to emotion. Hillsdale (N. J.), 1984.

Ekman 1999 – *P. Ekman.* Basic emotions // T. Dalgleish, M. Power (eds.). Handbook of cognition and emotion. Sussex, 1999.

Gallese 2001 – *V. Gallese.* The «shared manifold» hypothesis: from mirror neurons to empathy // Journal of consciousness studies. 2001. V. 8. № 5–7.

Gallup, Cameron 1992 – *G.G. Gallup, P.A. Cameron.* Modality specific metaphors: Is our mental machinery «colored» by a visual bias? // Metaphor and symbolic activity. 1992. 7.

Guariglia, Antonucci 1992 – *C. Guariglia, G. Antonucci.* Personal and extrapersonal space: a case of neglect dissociation // Neuropsychologia. 1992. 30(11).

Halligan, Marshall 1991 – *P.W. Halligan, J.C. Marshall.* Left neglect for near but not far space in man // Nature. 1991. 350.

Iordanskaja et al. 1996 – *L. Iordanskaja, S. Paperno, R.L. Leed.* A Russian-English collocational dictionary of the human body. Columbus (Ohio), 1996.

Konstan 2006 – *D. Konstan.* The emotions of the Ancient Greeks. Studies in Aristotle and classical literature. Toronto, 2006.
Kövecses 1990 – *Z. Kövecses*. Emotion concepts. Frankfurt-am-Main, 1990.
Kövecses 2000 – *Z. Kövecses*. Metaphor and emotion. Cambridge, 2000.
Lakoff, Johnson 1980 – *G. Lakoff, M. Johnson*. Metaphors we live by. Chicago; London, 1980.
LeDoux 1996 – *J. LeDoux*. The emotional brain. New York, 1996.
Levontina, Zalizniak 2001 – *I. Levontina, Anna Zalizniak.* Human emotions viewed through Russian language // J. Harkins, A. Wierzbicka (eds.). Emotions in cross-linguistic perspective. Berlin, 2001.
Manual of mental disorders 1994 – Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Washington, DC, 1994.
McDonald, Leary 2005 – *G. McDonald, M.R. Leary*. Why does social exclusion hurt? The relationship between social and physical pain // Psychological Bulletin. 2005. V. 131. № 2.
Mel'čuk, Wanner 1996 – *I. Mel'čuk, L. Wanner.* Lexical functions and lexical inheritance for emotion lexemes in German // L. Wanner (ed.). Lexical functions in lexicography and natural language processing. Amsterdam, 1996.
Oatley, Johnson-Laird 1987 – *K. Oatley, P.N. Johnson-Laird.* Towards a cognitive theory of emotions // Cognition and emotion. 1987. № 1.
Öhman et al. 2001 – *A. Öhman, A. Flykt, F. Esteves.* Emotion drives attention: Detecting the snake in the grass // Journal of experimental psychology. 2001. 130.
Pearn et al. 1998 – *M.A. Pearn, C. Mulrooney, T. Payne*. Ending the blame culture. Gower, 1998.
Peele, Brodsky 1974 – *S. Peele, A. Brodsky*. Love can be an addiction: Interpersonal heroin // Psychology today. 1974. August issue.
Phillips et al. 1997 – *M.L. Phillips, A.W. Young, C. Senior, M. Brammer, C. Andrew, A.J. Calder, E.T. Bullmore, D.I. Perrettk, D. Rowlandk, S.C.R. Williams, J.A. Gray, A.S. David.* Aspecific neural substrate for perceiving facial expressions of disgust // Nature. 1997. V. 389.
Popova 2005 – *Y. Popova*. Image schemas and verbal synaesthesia // From perception to meaning: Image schemas in cognitive linguistics. Berlin, 2005.
Ramachandran, Hubbard 2001 – *V.S. Ramachandran, E.M. Hubbard.* Synaesthesia – a window into perception, thought and language // Journal of consciousness studies. 2001. 8.
Robertson 2004 – *L.C. Robertson*. Space objects, minds and brains. New York, 2004.
Rougemont 1956 – *D. de Rougemont*. Love in the western world. Princeton, 1956.
Singer et al. 2004 – *T. Singer, B. Seymour, J. O-Doherty, H. Kaube, R. Dolan, C. Frith*. Empathy for pain involves the affective but not sensory components of pain // Science. 2004. V. 303. Issue 5661.
Solomon 2004 – *R. Solomon.* In defense of sentimentality. Oxford, 2004.
Sprengelmeyer et al. 1996 – *R. Sprengelmeyer, A.W. Young, A.J. Calder, A. Karnat, H. Lange, V. Hömberg* et al. Loss of disgust. Perception of faces and emotions in Huntington's disease // Brain. 1996. 119.
Tan et al. 2008 – *L.H. Tan, A.H.D. Chan, P. Kay, P.-L. Khong, L.K.C. Yip, K.-K. Luke*. Language affects patterns of brain activation associated with perceptual decision // The proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2008. V. 105. № 10.
Wierzbicka 1990 – *A. Wierzbicka*. Dusa 'soul', toska 'yearning', sud'ba 'fate': three key concepts in Russian language and Russian culture // Z. Saloni (ed.). Metody formalne v opisie językow slowiańskix. Dział Wydawnitctw Filii UW w Białymstoku, 1990.
Wierzbicka 1991 – *A. Wierzbicka*. Cross-cultural pragmatics: the semantics of social interaction. Berlin, 1991.
Wierzbicka 1992 – *A. Wierzbicka*. Semantics, culture and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. New York; Oxford, 1992.
Wierzbicka 1997 – *A. Wierzbicka*. Understanding cultures through their key words. Oxford, 1997.
Wierzbicka 1999 – *A. Wierzbicka*. Emotions across languages and cultures. Cambridge, 1999.
Wierzbicka 2006 – *A. Wierzbicka*. Anglo scripts against «putting pressure» on other people and their linguistic manifestations // Ethnopragmatics: Understanding discourse in cultural context. Berlin, 2006.
Winawer et al. 2007 – *J. Winawer, N. Witthoft, M.C. Frank, L. Wu, A.R. Wade, L. Boroditsky.* Russian blues reveal effects of language on color discrimination // The proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2007. V. 104. № 19.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2011

© 2011 г. А.А. КРЕТОВ, И.А. МЕРКУЛОВА, В.Т. ТИТОВ*

ПРОБЛЕМЫ КВАНТИТАТИВНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Статья посвящена выявлению существенных черт лексико-семантической системы славянских языков. Авторы исследуют функциональную, синтагматическую, парадигматическую и эпидигматическую стратификацию славянской лексики, производят сравнения славянских словарей по доминанте парадигматического ряда и составляют карту лексико-семантического пространства славянских языков.

Бурное развитие типологии началось с фонетического уровня, распространилось на морфологический и синтаксический и почти не затронуло лексико-семантического уровня. В этом отношении показателен проект «Языки мира», выполняемый Институтом языкознания РАН: сведения о лексике в описании языка скудны и ориентированы на внешнюю лингвистику: исконная/заимствованная лексика, источники заимствованной лексики, способы образования новых слов (это уже не столько лексикология, сколько словообразование), географическая, социальная и функциональная стратификация лексики.

Начиная с середины XX века проблемы лексико-семантической типологии волнуют славистов и сочувствующих: Н.И. Толстой [Толстой 1963; 1966], В.А. Москович [Москович 1965]; Б.Ю. Городецкий [Городецкий 1969], А. Гудавичюс [Гудавичюс 1985], А.К. Супрун [Супрун 1983; 1988], В.Г. Гак [Гак 1989], Х. Томмола [Томмола 2003], Е.В. Рахилина [Рахилина, Прокофьева 2004; Майсак, Рахилина 2007].

При этом основное внимание уделяется либо внешнелингвистическим характеристикам лексики (А.К. Супрун), либо фрагментам лексико-семантической системы (Н.И. Толстой, А. Гудавичюс, Е.В. Рахилина и И. Прокофьева, Т.А. Майсак и Е.В. Рахилина).

Лексический состав языка, как известно, измеряется сотнями тысяч единиц, поэтому представляется исследователю чем-то необозримым, трудно поддающимся систематизации и сопоставлению. Более того, высказывается мнение, согласно которому «...в сравнении с фонологией и грамматикой, лексика представляет собой более слабую и нечеткую, в большей мере вероятностную систему, значительно меньше структурированную. Поэтому, в отличие от фонетико-фонологической и грамматической типологии, в лексической типологии отсутствуют и, по-видимому, **невозможны классификации языков**» [Мечковская 2000: 106].

Практическим опровержением этого мнения является, в частности, книга А.В. Дыбо [Дыбо 1996] и монография [Майсак, Рахилина 2007]. Мнение, высказанное Н.Б. Мечковской, не учитывает иерархической и полевой организации словаря, в котором важнейшей является оппозиция ядро // периферия. Ядро лексики устойчиво и структурировано. Слаба (изменчива) и нечётка – периферия. Ядро мало по размеру, периферия – безгранична. Ядром владеет каждый индивид, периферией – все общество, обслуживаемое данным языком. Поэтому в лексической типологии классификации языков возможны, но в основу их должно быть положено ядро лексико-семантической системы. Таким

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ проскт № 07-04-00036а.

образом, важнейшим шагом на пути к лексико-семантической типологии является выделение ядер лексико-семантических систем языков мира. Ее решению помогает применение параметрического анализа лексики, подробно описанного в работах В.Т. Титова и примененного им к материалу романских языков [Титов 2002; 2005]. Есть все основания считать накопленный на романском материале опыт приложимым также и к славянским языкам. «Пилотный» проект такого исследования был представлен авторами в рамках тематического блока на XIV Международном съезде славистов (Охрид, Македония) [Кретов, Меркулова 2008].

Для получения параметрических характеристик славянской лексики необходимо было решить ряд сопутствующих задач:

1) создание электронных версий инославяно-русских словарей;

2) создание баз данных на основе полученных словарей;

3) получение количественной информации по каждому из параметров исследуемых языков;

4) применение методики параметрического анализа лексики к материалу каждого из исследуемых языков;

5) получение карты лексико-семантического пространства славянских языков.

Для того чтобы выявить типологически существенные черты лексико-семантической системы предполагается достаточным проанализировать тысячу наиболее «весомых» единиц лексико-семантической системы. Выделение этой «ядерной тысячи», или этого «тысячного ядра», и составляет задачу квантитативной лексикологии. Отобраны эти слова могут быть по ряду параметров: функциональному (употребительность) – оценивается по длине слова; синтагматическому (широкая сочетаемость) – оценивается по количеству фразеосочетаний со словом; эпидигматическому (многозначность) – оценивается по количеству значений у слова; парадигматическому (вхождение в многочисленные синонимические ряды) – оценивается по частоте слов, использованных в словарных дефинициях. Следует отметить, что парадигматический параметр даст весá не слов, а значений. Если у слова несколько значений, то в первую очередь выбирается основное значение, а во-вторую – значение с максимальным весом.

По каждому из параметров отбирается 1000 слов с максимальным весом, определяемым по формуле:

$$\mathrm{Pr}_i = \frac{\Sigma r - R_{1\ i}}{\Sigma r}, \qquad (1)$$

где Σr – сумма единиц всех рангов, R_{1-i} – сумма единиц от первого до данного, а Pr_i – вес единиц i-го ранга.

Формула (1) позволяет определить вес каждой из единиц на всем корпусе словаря. Более того, вес лексико-семантической единицы по каждому из параметров зависит от количества в данном словаре единиц с такой же или лучшей параметрической характеристикой, что делает параметрический анализ системным в полном смысле этого слова, поскольку вес каждой единицы зависит от количества и качества всех остальных единиц словаря.

Параметрический вес для каждого из членов ядра определяется как сумма его весов по каждому из четырех указанных выше параметров. Выделение лексико-семантических ядер исследуемых языков проводилось на основе анализа «малых» двуязычных словарей, которые содержат основную коммуникативно значимую лексику. В качестве источников исследования был обработан целый корпус словарей (см. список этих словарей в конце этой статьи).

Данный список содержит не только двуязычные словари, так как опыт показал, что малые инославяно-русские словари, безусловно, оптимальны лишь по одному из параметров – функциональному. В остальных случаях при анализе столь близкородственных языков, какими являются славянские, лучшие результаты дает обращение к словарям синонимов (парадигматика), фразеологии (синтагматика) и одноязычным толковым

словарям (эпидигматика – многозначность). Привлечение соответствующих источников помогает корректировать результаты.

Для обработки источника № 27 участникам проекта предварительно потребовалось перевести метаязыковую часть с немецкого на русский язык, для источника № 24 – с английского на русский язык, для источника № 25 – с польского на русский. Кроме того, был проведен параметрический анализ двух словарей македонского языка (№ 14 и № 20) и получены два ядра македонской лексики, соответственно. Для русского и словацкого языков пришлось получить также по два ядра. Для русского: первый раз – с использованием данных словаря Ожегова (№ 15), второй раз – с использованием данных русско-финского словаря (Ф-параметр), словаря Ушакова (№ 19: Д-параметр), а также электронных фразеологического и синонимического словарей русского языка (С- и П-параметры соответственно). Для словацкого языка синтагматический и эпидигматический параметры определялись с использованием словаря № 22.

С помощью компьютерной программы MergOn (автор – преподаватель кафедры программного обеспечения и администрирования информационных систем ВГУ Н.В. Огаркова) были получены большое (содержащее слова, вошедшие в ядро по трем параметрам) и малое (содержащее слова, вошедшие в ядро по каждому из четырех параметров) ядра, а также периферия большого ядра (слова, вошедшие в ядро по двум параметрам) лексики 14 славянских языков: белорусского, болгарского верхнелужицкого, кашубского, македонского, нижнелужицкого, польского, русского, сербохорватского, словацкого, словенского, старославянского, украинского и чешского языков.

Использование в качестве источников информации о лексико-семантической системе языка словарей требует обоснования. Как известно, язык не дан лингвистам в непосредственном наблюдении. Это всегда научный конструкт. На протяжении последних двухсот лет считалось бесспорным, что язык описывается комплектом из грамматики и словаря. Но в последнее время приходится слышать все больше сомнений в достоверности словарей. Порою вопрос ставится даже так: «А что вы описываете, язык или словарь?». При этом предполагается, что язык – это реальность, а словарь – непонятно что. Интересно, что вопроса: «А что вы описываете, язык или грамматику?» обычно не ставят, хотя он столь же правомерен.

Это обстоятельство требует разъяснений. Язык как лингвистическая реальность ненаблюдаем. В непосредственном наблюдении лингвисту даны тексты: либо в виде процесса, развертывающегося во времени (речь), либо в виде результата (собственно текст: устный или письменный). Множество текстов дает некий корпус текстов, которому приписывается свойство репрезентативности. Следует сказать, что любой корпус – сколь бы велик он ни был – в силу свой закрытости и конечности будет неполон и случаен по отношению к языку. Любой корпус будет лишь ограниченным набором следов работы языка. Грамматики и словари – это производные от корпусов текстов, положенных в их основание. Таким образом, язык-реальность ненаблюдаем, корпус как отражение работы языка всегда неполон и случаен, а грамматики и словари являются отражением этого корпуса текстов. Следовательно, любой словарь и любая грамматика является лишь отражением отражения языка (корпуса текстов). Альтернативой исследования словарей может послужить лишь исследование корпусов, что принципиально ситуации не изменит: ведь сами словари взяты из тех же (или иных), но корпусов текстов. Разница лишь в том, что корпусным лингвистам придется самим проделать ту работу, какую до них и за них уже выполнили лексикографы. Таким образом, единственным р е а л ь н ы м источником информации о лексико-семантической системе языка для лексикологов являются словари. Как любая человеческая продукция, словари могут быть более и менее удачны и совершенны. Но следует ли из этого, что за словарями не стоит никакой лингвистической реальности и словарям верить нельзя? Вековая практика создания и использования словарей говорит об обратном: словари выполняют свою функцию, дают достоверную информацию о языке. Но поскольку любой словарь (и любая грамматика) – лишь отражение отражения языка, они могут расходиться в своих показаниях. Специальное параметрическое исследование лексики, проведенное Т.А. Казаковой на материале немец-

ких словарей, показало, что «состав лексико-семантических ядер, получаемых в ходе анализа словарей различных объемов, совпадает на 64%» [Казакова 2008: 5], т.е. почти на 2/3. Одна треть приходится на «субъективный фактор». Таким образом, у нас есть основание полагать, что по крайней мере на 2/3 словари отражают языковую реальность. Кроме того, установлено – чем ближе к ядру, тем выше стабильность словаря: «удовлетворительные прогнозы касаются наиболее существенных в системном отношении лексико-семантических единиц: для большого ядра ЛСГ ошибка прогноза не превышает 29%, для малого – 13%, для доминанты – 6%» [Кретов 2006: 213–214].

Представим полученные результаты параметрического анализа лексики славянских языков.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Функциональный аспект лексики принято оценивать по (абсолютной или относительной) частоте появления слова в тексте. Эта оценка очень сильно зависит от содержания текста, которое, в свою очередь, через создателя и адресатов привязано ко времени и месту. Более объективна косвенная оценка функциональной активности слова по его длине, предложенная В.Т. Титовым, основывающаяся на зависимости длины слова от его частотности, выявленной Дж.К. Ципфом [Zipf 1949]. Проанализируем функциональное ядро лексики славянских литературных языков, ориентируясь, прежде всего, на данные о длине слова в инославяно-русских словарях.

Исследования показывают, что большие словари размывают длину слова как типологическую характеристику языка, т.к. разрастаются в основном за счет иносистемных слов или за счет словосочетаний, оформленных как одно слово. Для типологической характеристики лексики по длине пригоднее малые и средние словари. В них специфика лексико-семантической системы данного языка представлена в более чистом виде. Для характеристики словаря по функциональному параметру оптимальными являются словари объемом в 8000–12 000 слов, а наименее информативными – большие.

Исходя из этих соображений, мы и осуществили отбор словарей для сопоставительного анализа. Соотношение их объемов представлено в последней строке Табл. 1. Как видим, за двумя исключениями, привлекаемые словари относятся к малым (между 5 и 15 тыс. слов). По необходимости полабский представлен словарем сверхмалого типа, а македонский язык – словарем среднего типа.

Распределение слов по длине представлено в таблице 1.

Лишь в полабском максимум приходится на слова длиной в 5 звуков. В остальных языках он приходится на 7 звуков (македонский, русский, чешский, словацкий, сербохорватский, польский, болгарский, кашубский) или на 8 звуков (белорусский, словенский, украинский, старославянский, лужицкие языки). Как свидетельствует предварительный анализ русских словарей разного объема, различие между этими величинами не принципиально.

В целом, распределения в славянских словарях сходны. Выделяется лишь полабский материал в силу своей малочисленности и разговорной природы.

2. СИНТАГМАТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Непосредственная информация о богатстве синтагматики слов в двуязычных словарях отсутствует. Косвенным показателем богатства синтагматических связей славянской лексики является количество фразеологизмов, имеющихся в заромбовой части словарной статьи. Как показывает практика, малые словари зачастую весьма «скупо» используют заромбовую часть, поэтому для некоторых языков приходилось привлекать информацию из большого двуязычного или фразеологического словаря.

Как показывает проведенное исследование, наибольшую синтагматическую активность в славянских языках имеют слова со значением частей тела человека (глаз, голо-

Таблица 1

Распределение слов по длине в словарях славянских языков[1]

Звуков	МАК	БЕЛ	СЛВН	УКР	РУС	ЧЕШ	СЛВЦ	СЕРБ	ПОЛ	БОЛ	СТ-СЛ	ПОЛАБ	КАШУБ	нЛУЖ	вЛУЖ
1	9	2	6	1	6	8	9	6	3	12	0	0	7	1	5
2	85	11	7	1	29	85	29	36	33	44	1	2	51	31	34
3	552	103	249	152	283	339	269	323	209	253	28	105	343	287	333
4	1705	359	638	495	628	731	585	673	564	709	339	406	880	714	1013
5	3791	1058	1308	1055	1319	1544	1358	1268	1057	1278	524	673	1692	1479	2458
6	4979	1575	1724	1462	1571	1730	1621	1431	1353	1384	873	577	2043	2111	3766
7	5451	2092	2014	1753	1763	2006	1863	1560	1505	1502	1094	408	2485	2524	4908
8	5196	2116	2147	2001	1514	1711	1719	1538	1490	1328	1316	303	2378	2804	5514
9	4266	1954	1740	1767	1274	1274	1282	1194	1136	967	1244	158	1582	2140	4852
10	2721	1549	1331	1454	955	887	930	800	852	688	909	77	983	1595	3760
11	1573	1059	771	1086	745	451	488	518	627	367	584	19	422	915	2421
12	735	660	462	609	493	222	274	222	369	218	304	8	151	477	1441
13	286	382	207	349	318	113	122	108	216	76	167	4	60	230	770
14	118	208	72	171	208	67	67	52	127	56	80		16	104	359
15	60	93	30	60	114	19	29	17	67	20	52		7	44	181
16	12	30	5	26	57	6	13	5	42	9	25		1	17	72
17	5	14	2	13	22	2	3	1	12	3	13			13	23
18	8	4	1	6	13	2	2		3	3	8			3	13
19	0	1	1	3	8		1		2	3	5				5
20	2	2	1	0	4				1	2	1			1	4
21	0		1	2	3						2				1
22	0			1										1	5
23	1														
Сумма	31 555	13 272	12 717	12 467	11 327	11 197	10 664	9752	9668	8922	7569	2740	13 101	15 491	31 933

[1] Данная таблица, как и таблица 3, содержит ту базовую информацию, на которой строится все исследование.

ва, рука), времени и его отрезков (год, время, час), а также бытийные глаголы (быть, иметь, давать).

Таким образом, можно подсчитать суммарный синтагматический вес славянских слов: *рука* 13,92, *дать* 13,815, *иметь* 13,668, *голова* 13,515, *время* 12,71, *глаз* 12,599, *час* 12,551, *ряд* 11,808, *год* 11,745, *быть* 10,638. Обратим внимание на то, что больше всего слов из этого вошло в малое ядро старославянского языка – 6 (слова со значениями 'быть', 'время', 'год', 'рука', 'голова', 'иметь'). Далее следует русский язык, в ядре которого 4 слова из данного списка (*дать*, *час*, *быть*, *время*). Наш материал наталкивает на предположение, что ядро славянской фразеологии было заложено еще в старославянский период и унаследовано языками, имеющими с ним преемственность письменной традиции. С этой точки зрения нуждаются в серьезной проверке свидетельства болгарского словаря-источника.

3. ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Вхождение слов в многочисленные синонимические ряды является системным показателем парадигматических связей лексических единиц. Эта информация может быть извлечена из двуязычных словарей в результате анализа дефиниций: квантитативного, описанного В.Т. Титовым [Титов 2004], или позиционного, предложенного несколько позднее [Кретов, Титов 2006]. Суть обоих подходов состоит в максимальном использовании информации, содержащейся в двуязычных словарях.

При позиционном анализе, применяемом нами, синонимами признаются слова, если дефиниции каких-то из их значений совпадают полностью или в начальной части (например, в первых трех полнозначных словах).

Если главная идея, на которой основан параметрический анализ лексики, состоит в кумулятивной организации словаря: по мере продвижения от периферии к ядру устойчивость лексико-семантической системы увеличивается, то логично предположить, что это распространяется и на устройство синонимии.

Системный вес лексических значений, объединяющих синонимические ряды, убывает по мере убывания их размерности. Например, синонимический ряд, объединяющий семь слов, в чешском словаре всего один, а синонимических рядов, состоящих из двух слов, – 973.

Чем важнее функция в системе, тем надежней она дублируется, чем важнее то или иное значение для носителей языка, тем больше синонимов оно имеет. Следовательно, размерность синонимического ряда может быть мерой важности данного значения для носителей данного языка. На какие же значения в качестве самых важных для носителей славянских языков указывают наши словари-источники? Представим информацию по первым двум полнозначным словам, находящимся в «верхушке» парадигматических ядер славянских языков. Самый многочисленный синонимический ряд можно назвать доминантным значением, а второй – вице-доминантным значением.

Для русского языка это значение 'умереть', объединяющее 46 синонимов; вице-доминанта – 'ударить' 44 синонима. Для украинского языка значение 'бить' – 79 синонимов; на втором месте сразу два глагола: *охоплювати* ('захватывать, обнимать') и *сказати* ('сказать, произнести'), имеющие по 63 синонима. Для белорусского языка – это значение 'ударить' – 62 синонима; на втором месте ряд со значением 'хороший' – 54 синонима. Для чешского – доминантным является значение 'отрезать'. Для словацкого языка вверху оказались сразу 5 синонимических рядов, которые содержат по 4 слова. Их объединяют значения: 'движение', 'ездить', 'рабочий', 'упасть', 'центр'. Сходная ситуация характеризует польский язык – 3 ряда по 4 синонима ('жидкий', 'нарушать', 'удар'). Для сербского словаря первые полнозначные слова, образующие синонимические ряды из четырех слов, имеют значение 'вырасти' и 'кудрявый'. Правда, в обоих случаях перед нами не синонимы, а словообразовательные варианты. Для словенского языка лидирует слово 'охватывать', входящее в дефиниции 8 слов. Далее следует ряд, объединенный дефиницией 'охватить'. Для македонского языка 12 синони-

Таблица 2

Стратификация слов с максимальным синтагматическим весом в славянских языках

Лексема	Мак	Бел	Слвн	Укр	Рус	Чеш	Слвк	Серб	Пол	Болг	СтСл	Кашуб	нЛуж	вЛуж
Рука	1,000	1,000	0,996	1,000	1,000	1,000	0,998	0,999	0,999	0,996	0,980	0,954	0,999	0,999
Дать, давать	1,000	1,000	0,996	0,999	0,995	1,000	0,999	0,978	0,934	0,997	0,991	0,954	0,988	0,984
Иметь	0,979	0,997	1,000	0,930	0,982	0,915	1,000	0,978	0,987	0,999	0,904	0,999	0,999	0,999
Голова	1,000	1,000	0,998	1,000	1,000	0,999	0,805	0,895	1,000	0,922	0,904	0,996	0,997	0,999
Время	0,996	–	1,000	0,997	1,000	0,998	0,994	0,998	1,000	1,000	0,904	0,825	0,999	0,999
Глаз	1,000	1,000	0,979	1,000	0,999	0,998	0,983	0,993	–	0,922	0,904	0,825	0,997	0,999
Час	0,996	1,000	0,998	0,998	0,998	0,972	0,805	0,998	0,934	0,993	0,998	-	0,863	0,998
Ряд	1,000	–	0,991	0,986	0,982	–	0,983	1,000	0,975	0,993	0,904	0,999	0,997	0,998
Год	–	0,984	1,000	0,992	0,991	0,915	0,998	0,998	0,999	0,922	–	0,996	0,952	0,998
Быть	–	–	1,000	0,999	0,997	–	0,942	0,895	0,934	0,922	1,000	0,953	0,999	0,997

мов объединяет доминанта ‘сходить с ума’. По крайней мере 6 различных корней в этом ряде представлены. Для болгарского языка первые места занимают ряды со значением ‘окружать’ и ‘окружить’– 3 разных корня. Для старославянского языка – значения ‘больной’, ‘единосущный’, ‘неразумный’, ‘опечалиться’, ‘чудо’ объединяют по 6 синонимов. Для кашубского языка доминантным по парадигматическому весу является синонимический ряд со значением ‘нищий’. Для нижнелужицкого это значение – ‘помнить, вспомнить’, образующее ряд из 12 синонимов, для верхнелужицкого ‘болтать, тараторить’, дающее синонимический ряд в 6 синонимов. Доминанты синонимии славянских языков имеют сходство. Например, значение ‘ударить’, ‘удар’, ‘бить’ объединяют русский, украинский и польский языки.

Важнейшими значениями в обследованных словарях являются: ‘удар, ударять, бить, упасть, чудо, умереть, окружить, отрезать, рабочий, жидкий, движение, ездить, охватить’.

Показательно, что большая часть значений указывает на угрозу для жизни или здоровья (физического или психического) или аномалии (‘чудо’).

4. ЭПИДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКИ

Под эпидигматическими связями, вслед за автором этого термина Д.Н. Шмелевым [Шмелев 1973], мы понимаем «деривационные отношения в широком смысле», включающие межсловную (словообразование) и внутрисловную («семантическое словообразование», порождающее многозначность) деривацию, трактуемую как «глубинная ось языка», обеспечивающая в диахронии – преемственность и устойчивость, а в синхронии – гибкость и динамику и сообщающая языку практические неограниченные номинативные возможности.

Косвенным показателем эпидигматической активности слов в двуязычных словарях является их многозначность. Чем больше значений у слова, тем богаче его эпидигматические связи и, следовательно, тем надежнее оно укоренено в лексико-семантической системе языка. Поскольку для образования семантемы (системы семем) многозначного слова требуется значительное время, то многозначные и сверхмногозначные слова являются своего рода центрами системного порядка и скрепами, объединяющими отдельные слова в систему. Богатство

значений – еще и показатель многофункциональности слова, а следовательно, – его функциональной динамичности. Таким образом, многозначность сочетает динамику и устойчивость.

Как показало исследование, ядра межсловной и внутрисловной деривации пересекаются на 70%. Такое огрубление, во-первых, вынужденно, а во-вторых, оправданно, ибо обеспечивает получение достоверных результатов.

Распределение слов по числу значений в словарях славянских языков представлено в таблице 3 (на основании проведенного анализа в качестве наиболее взвешенного источника сведений о многозначности в русском языке нами избран словарь Ушакова, а для украинского языка – Большой толковый словарь).

Исследуя многозначность славянской лексики, мы допускаем неадекватность данных двуязычных словарей, которая при необходимости может корректироваться сведениями одноязычных толковых словарей.

Определим такой типологически важный показатель, каким является индекс многозначности (ИМ), определяемый как среднее количество значений, приходящихся на слово в данном словаре. Его значения для словарей славянских языков таковы:

кашуб	рус	пол	бел	СтСл	лужН	слвн	укр	мак	лужВ	серб	бол	слвц	чеш
1,632	1,361	1,326	1,317	1,3	1,287	1,271	1,265	1,256	1,21	1,182	1,158	1,155	1,092

Самым многозначным из славянских словарей оказывается кашубский, а самым бедным многозначностью – чешский. Высокая многозначность кашубского языка вызывает сомнения и нуждается в проверке. Одной из причин высокого значения ИМ в кашубском словаре может быть приписывание в нем статуса леммы формам одного слова. Исследование показало, что ИМ практически не зависит от размера словаря. Это обстоятельство позволяет в целом с доверием отнестись к ИМ славянских языков как к их типологической характеристике.

Если значения ИМ славянских языков (за исключением кашубского) располагаются в интервале 1,36–1,09, то значения живых романских языков, установленные ранее В.Т. Титовым, располагаются практически в том же интервале 1,28–1,14. Возможно, совпадение интервалов ИМ в романских и славянских словарях свидетельствует об их типологической близости и генетическом родстве – принадлежности индоевропейской языковой семье.

5. СРАВНЕНИЕ СЛАВЯНСКИХ СЛОВАРЕЙ ПО ДОМИНАНТЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РЯДА

Параметрический анализ позволяет представить словарь в виде конуса, вершиной которого является одно-единственное слово. Полученное таким образом слово является не просто словом: его позиция является производной и равнодействующей от всех остальных слов словаря, взятых по четырем системнообразующим параметрам. Поэтому семантические координаты доминанты лексико-семантической системы обладают не меньшей информативностью, чем, скажем, координаты высшей точки Джомолунгмы. Даже имея на карте координаты одних пиков гор-восьмитысячников, мы можем в общих чертах представить себе очертания горной системы. Аналогично, и слова-доминанты дают представление о своеобразии лексико-семантической системы. Пик – точка, вобравшая в себя всю гору. Доминанта – слово, вобравшее в себя весь словарь.

Так, например, из шести романских языков четыре (латинский, испанский, португальский, румынский) имеют доминанту «дать», один (итальянский) – доминанту «делать» и один (французский) – доминанту «сладкий, мягкий» [Титов 2004: 160]. Параметрический анализ лексики в силу своей принципиальной системности позволяет обнаружить типологический потенциал уже в доминанте (самом системно «весомом» слове) словаря. Доминанта словаря – слово, набравшее максимальный пара-

Таблица 3

Распределение слов в зависимости от числа значений (в относительных величинах)

Язык/ Знач	БЕЛ	БОЛ	МАК	ПОЛ	РУСС	СЕРБ	СЛВЦ	СЛВН	СтСлав	УКР	нЛУЖ	вЛУЖ	ЧЕШ	КАШУБ
40					0,000012					0,000005				
36										0,000010				
34										0,000005				
32										0,000005				
30										0,000005				
28					0,000012									
27	0,000017													
26														
25														
24					0,000012		0,000020			0,000005				
23					0,000012					0,000010				
22			0,000034							0,000005				
21					0,000012									
20							0,000020			0,000005				
19					0,000012					0,000020				
18					0,000036					0,000015				
17	0,000017		0,000034		0,000024					0,000035				
16	0,000067				0,000024					0,000035				
15			0,000034		0,000012					0,000025				
14	0,000050		0,000101		0,000059		0,000040			0,000059				
13	0,000133				0,000095					0,000064		0,000031		
12	0,000133		0,000101		0,000142		0,000020			0,000143				
11	0,000283		0,000034		0,000118		0,000160		0,000126	0,000203				0,001145
10	0,000183		0,000304		0,000178		0,000160			0,000282		0,000031		0,000687
9	0,000467		0,000439	0,000113	0,000533		0,000260		0,001509	0,000455		0,000031		0,001985
8	0,000600		0,000608	0,000339	0,000841		0,000620		0,000629	0,000801	0,000065	0,000031		0,001908
7	0,001300		0,001249	0,000790	0,001422		0,000780		0,001132	0,001275	0,000258	0,000094		0,003817
6	0,002650		0,002869	0,002709	0,002831		0,001300		0,002390	0,002605	0,000646	0,000219		0,009770
5	0,005850	0,001024	0,006751	0,003500	0,005769	0,000205	0,002820	0,000394	0,005282	0,005526	0,001808	0,001315	0,000179	0,016640
4	0,014750	0,002275	0,018530	0,014337	0,013386	0,002358	0,007340	0,004725	0,015721	0,011990	0,009038	0,004353	0,000714	0,036486
3	0,038350	0,020585	0,061194	0,045157	0,043891	0,018145	0,020680	0,034179	0,038737	0,030500	0,041895	0,026869	0,008574	0,074422
2	0,134100	0,105538	0,191683	0,156807	0,167603	0,137365	0,073680	0,187352	0,117721	0,104692	0,163385	0,134720	0,071805	0,188459
1	0,801050	0,870579	0,716036	0,776247	0,762966	0,841927	0,892100	0,773350	0,816753	0,841222	0,782906	0,832305	0,918728	0,664682
Слов:	60 000	8793	29 627	8858	84 414	9755	50 000	12 698	7951	202 327	15 491	31 933	11 197	13 101

Таблица 4

Лексико-семантические доминанты славянских словарей

Ранг:	1	2	3	4	5
Язык	доминанта	вице-доминанта			
старославянский	быти	годъ	слово	мѣра	доухъ
сербский	ред	час	број	доба	доћи
болгарский	ред	лют	лице	курс	седя
македонский	има	ум	чини	род	жица
русский	дать	час	бить	дом	мир
украинский	іти	лад	вік	дати	бити
белорусский	біць	бок	ісці	вада	браць
словацкий	pán	muž	hrať	vôľa	vec
чешский	dílo	kraj	míra	bod	mysl
словенский	delo	grd	biti	blok	domač
нижнелужицкий	biś	graś	wześ	rěd	braś
верхнелужицкий	ćah	hrać	tołc	trěć	ćeńki
польский	ciąg	ująć	bieg	łeb	być
кашубский	mœc	vid	pôn	křiv	łono

метрический вес (по сумме четырех параметров). Следующее за ним слово является вице-доминантой.

Нами был проведен сопоставительный и уже не количественный, а качественный анализ доминант славянских языков. Для наглядности возьмем не только доминанты, но и слова последующих четырех рангов.

Как видим, в лексическом аспекте типологически едины оказываются болгарский и сербский языки, у которых совпадают доминанты (*ред*), к ним близок украинский с вице-доминантой *лад* и нижнелужицкий, имеющий существительное *rěd* на четвертом месте в малом ядре. Идеей движения объединяются украинский (*іти*), польский (*ciąg, bieg*), верхнелужицкий (*ćah*), белорусский (*ісці*). Примыкает к ним сербский язык, в котором слово со значением движения замыкает пятерку самых «весомых» слов. Бытийность, доминирующая в старославянском (*быти, годъ*), тесно связана с понятием времени: *час* (русский, сербский), *вік* (украинский), *доба* (сербский). *Дать*-языками можно считать русский (доминанта) и украинский (4 ранг). При этом польский, нижнелужицкий и белорусский имеют в числе обследованных слов антонимичные лексемы *ująć* ‘взять, отнять’ и *wześ* ‘брать, взять, отнимать’, *braś* ‘брать, взять, хватать’, *браць* ‘брать’, а македонский имеет доминанту обладания *има*. Вице-доминанты совпадают у нижне- и верхнелужицких языков (*graś, hrać*). К ним примыкает словацкий ‘*hrať* (3 ранг). Идеей труда объединены ядра лексиконов чешского (*dílo*), словацкого (*robit'*), словенского (*delo*), белорусского (*рабіць*), македонского (*чини*) и словацкого (*vec*) языков. Совпадают также верхушки параметрических ядер у кашубского и словацкого языков, в которые попало слово со значением ‘мужчина’.

Если сгруппировать семантически близкие слова, т.е. сложить параметрические веса слов со значением ‘работа, труд’, ‘делать, работать’, можно определить, какая из доминант в этих словарях самая весомая. Таким образом, доминантой доминант славянских словарей являются слова со значением ‘дело, труд, работать’, если принять во внимание, что ‘бить’ обозначает неотъемлемую и существенную часть трудового процесса, доминантность труда у славян станет еще очевиднее. Вице-доминантным значением является значение движения (‘ход, идти’). Третью позицию занимают слова со значением упорядочения мира: ‘ряд, очередь, полоса’. Все три указанных типа значений позволяют утверждать, что синтетической доминантой лексико-семантических систем славянских языков является динамика, направленная на упорядочение мира.

6. КАРТА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Для составления карты лексико-семантического пространства славянских языков учитывалась информация о словах, вошедших в параметрическое ядро по трем параметрам. Размерность таких множеств колеблется от 141 до 983 слов (таблица 5):

Таблица 5

Размерность параметрических ядер славянских языков

№	ЯЗЫКИ	Кол-во слов
1	Белорусский	983
2	Русский	817
3	Словацкий	702
4	Македонский	669
5	Старославянский	401
6	Кашубский	395
7	Польский	360
8	Сербский	312
9	Украинский	307
10	Чешский	283
11	Болгарский	263
12	Нижнелужицкий	194
13	Словенский	163
14	Верхнелужицкий	141

Далее анализировалась семантика этих ядер, высчитывалось количество совпадений по дефинициям для каждой пары языков. Для определения близости лексико-семантических систем двух языков была использована следующая формула: число совпадений дефиниций делилось на среднее арифметическое от ядер двух сравниваемых языков.

Результаты представлены в таблице 6.

В итоге с помощью компьютерной программы, разработанной программистом кафедры типологической и прикладной лингвистики Воронежского госуниверситета М.В. Катовым, была получена следующая карта.

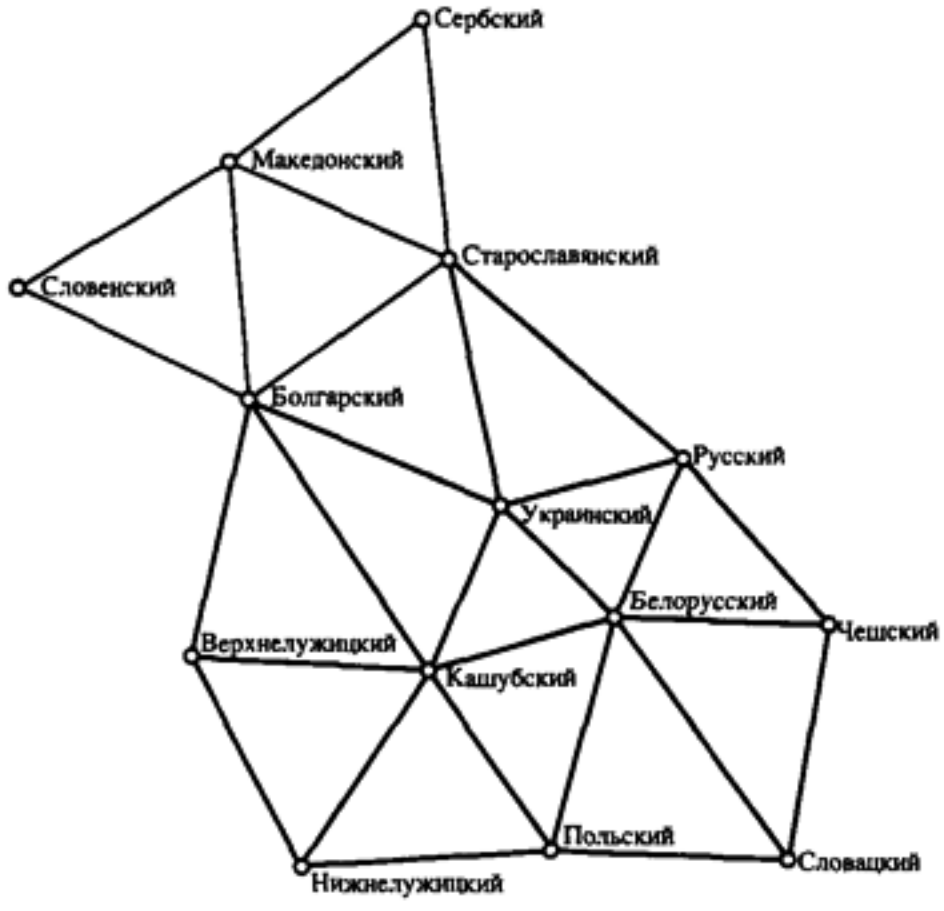


Рис. 1. Лексико-семантическая карта славянских языков (по коэффициенту близости больших параметрических ядер лексики)

Таблица 6

Коэффициенты близости лексико-семантических систем славянских языков (бинарные совпадения)

	Нижнелуж.	Верхнелуж.	Польский	Чешский	Русский	Украин.	Болгар.	Сербский	Старослав.	Словенский	Македон.	Белорус.	Словацкий	Кашуб.
Нижнелужицкий		0,1851	0,1445	0,1468	0,1702	0,1158	0,0832	0,0830	0,0849	0,0728	0,1126	0,2719	0,1708	0,2003
Верхнелужицкий	0,1851		0,1311	0,1462	0,1405	0,0893	0,1040	0,0971	0,0736	0,0789	0,0938	0,2316	0,1561	0,1866
Польский	0,1445	0,1311		0,1886	0,2496	0,1440	0,0639	0,0683	0,1147	0,0848	0,0939	0,3611	0,1865	0,2613
Чешский	0,1468	0,1462	0,1886		0,2266	0,1186	0,0842	0,0807	0,1141	0,0673	0,0800	0,2648	0,1883	0,2456
Русский	0,1702	0,1405	0,2496	0,2266		0,3619	0,1260	0,1109	0,1490	0,0918	0,0998	0,4063	0,1210	0,1987
Украинский	0,1158	0,0893	0,1440	0,1186	0,3619		0,0667	0,0711	0,1435	0,0468	0,1030	0,4400	0,1375	0,3675
Болгарский	0,0832	0,1040	0,0639	0,0842	0,1260	0,0667		0,1600	0,1669	0,1268	0,1802	0,2220	0,1309	0,2736
Сербский	0,0830	0,0971	0,0683	0,0807	0,1109	0,0711	0,1600		0,1667	0,1179	0,1733	0,2387	0,1271	0,2093
Старославянский	0,0849	0,0736	0,1147	0,1141	0,1490	0,1435	0,1669	0,1667		0,1605	0,1784	0,2402	0,1380	0,1373
Словенский	0,0728	0,0789	0,0848	0,0673	0,0918	0,0468	0,1268	0,1179	0,1605		0,1586	0,2063	0,1411	0,1362
Македонский	0,1126	0,0938	0,0939	0,0800	0,0998	0,1030	0,1802	0,1733	0,1784	0,1586		0,2985	0,1352	0,1017
Белорусский	0,2719	0,2316	0,3611	0,2648	0,4063	0,4400	0,2220	0,2387	0,1966	0,2063	0,2985		0,2592	0,3381
Словацкий	0,1708	0,1561	0,1865	0,1883	0,1210	0,1375	0,1309	0,1271	0,1380	0,1411	0,1352	0,2592		0,1703
Кашубский	0,2003	0,1866	0,2613	0,2456	0,1987	0,3675	0,2736	0,2093	0,1373	0,1362	0,1017	0,3381	0,1703	

Как видим, южно-, восточно- и западнославянские языки образуют три континуума, объединенных между собой. Самым компактным является восточнославянский континуум. Вполне компактен и континуум южнославянских языков. Отсутствие прямой связи старославянского языка со словенским обоснованно и логично: старославянский язык обслуживал православие, которое в Словении оказалось вытесненным католичеством и протестантизмом. Западнославянский континуум организован тремя парами языков: чешский/словацкий, польский/кашубский и верхнелужицкий/нижнелужицкий. Большая близость (наличие непосредственной связи) нижнелужицкого с польским и кашубским понятна. Менее удачна на карте мнимая удаленность верхнелужицкого от чешского и словацкого, а двух последних – от южнославянских.

Анализируя лексико-семантическую карту славянских языков, следует иметь в виду ее условность и неполноту: наличие 14-ти сопоставляемых языков предполагает построение 14-мерного объекта, который мы вынуждены проецировать на двухмерную плоскость, неизбежно (и вынужденно) огрубляя реальное богатство связей каждого из узлов нашего графа.

Полученные результаты подтверждают традиционное деление славянских языков на южные, западные и восточные и вместе с тем свидетельствуют, что такое деление существенно упрощает и обедняет реальную сложность картины лексико-семантической дифференциации славянской лексики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гак 1989 – *В.Г. Гак*. Сопоставительная типология французского и русского языков. М., 1989.

Городецкий 1969 – *Б.Ю. Городецкий*. К проблеме семантической типологии. М., 1969.

Гудавичюс 1985 - *А. Гудавичюс*. Сопоставительная семасиология литовского и русского языков. Вильнюс, 1985.

Дыбо 1996 · *А.В. Дыбо*. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). М., 1996.

Казакова 2008 – *Т.А. Казакова*. Параметрический анализ немецкой лексики: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2008.

Кретов 2006 – *А.А. Кретов*. Основы лексико-семантической прогностики. Воронеж, 2006.

Кретов, Меркулова 2008 – *А.А. Кретов, И.А. Меркулова*. Динамика и устойчивость в лексической системе славянских языков // Дінамика та стабільність лексичних і словотвірных систем слов'янських мов – тематичный блок. XIV Міжнародний з'їзд славістів 10.09.–16.09.2008, Охрид, Республіка Македонія. 2008.

Кретов, Титов 2006 – *А.А. Кретов, В.Т. Титов*. Алгоритм позиционного выявления синонимии // Вестник ВГУ. Серия «Системный анализ и информационные технологии». 2006. № 1.

Майсак, Рахилина 2007 – *Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина* (ред.). Глаголы движения в воде: лексическая типология. М., 2007.

Мечковская 2000 – *Н.Б. Мечковская*. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков: Учеб. пособие. Минск, 2000.

Москович 1965 – *В.А. Москович*. Опыт квантитативной типологии семантического поля // ВЯ. 1965. № 4.

Рахилина, Прокофьева 2004 – *Е. Рахилина, И. Прокофьева*. Родственные языки как объект лексической типологии: русский и польские глаголы вращения // ВЯ. 2004. №1.

Супрун 1983 – *А.К. Супрун*. Лексическая типология славянских языков. Минск, 1983.

Супрун 1988 – *А.К. Супрун*. Принципы сопоставительного изучения лексики // Методы сопоставительного изучения языков. М., 1988.

Титов 2002 – *В.Т. Титов*. Общая квантитативная лексикология романских языков. Воронеж, 2002.

Титов 2004 – *В.Т. Титов*. Частная квантитативная лексикология романских языков. Воронеж, 2004.

Толстой 1963 – *Н.И. Толстой*. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. I // ВЯ. 1963. № 1.

Толстой 1966 – *Н.И. Толстой*. Из опытов типологического исследования славянского словарного состава. II // ВЯ. 1966. № 5.

Томмола 2003 – *Ханну Томмола.* К лексико-семантической типологии славянских языков // J. Papinniemi, J. Lindstedt, B. Hellman (eds.). Studia Slavica Finlandensia. T. XX. Finnish contributions to the 13th International Congress of Slavists. Ljubljana, August 15–21, 2003.
Шмелев 1973 – *Д.Н. Шмелев.* Проблемы семантического анализа лексики: на материале русского языка. М., 1973.
Zipf 1949 – *G.R. Zipf.* Human behavior and the principle of least effort. Cambridge (Mass.), 1949.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ

1. Белорусско-русский словарь / Под ред. К.К. Крапивы. М., 1962 (ок. 90 000 слов).
2. *Э. Благова, Р.М. Цейтлин, С. Геродес, Л. Панцерова, М. Бауэрова.* Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994 (около 10 000 слов).
3. Верхнє-лужицко-русский словарь / Сост. К.К. Трофимович; Под ред. Ф. Михалка, П. Фёлькеля. М.; Бауцен, 1974 (36 000 слов).
4. *Д.И. Ганич, И.С. Олейник.* Русско-украинский и украинско-русский словарь. К., 1992 (12 000 слов).
5. *С.М. Грабчиков.* Белорусско-русский словарь. Для сред. школы / Под ред. А.Е. Баханькова. 2-е изд., перераб. Минск, 1975.
6. *В.П. Гудков.* Сербско-русский и русско-сербский словарь. 5-е изд., стереотип. М., 2006 (10 000 слов).
7. *Д.А. Длуги, Б.Г. Раевский, Н.Р. Буравцева.* Чешско-русский Словарь. 2-е изд., стереотип. М., 1973 (около 11 000 слов.).
8. *А.П. Загнітко, М.О. Вінтонів, І.Г. Данилюк.* Великий українсько-російський і російсько-український словник. Донецьк, 2007 (ок. 22 000 слов).
9. *Д. Коллар, В. Доротьякова, М. Филкусова, Я. Марушиакова.* Карманный словацко-русский словарь. 4-е изд., испр. и доп. М., 1982 (10 000 слов).
10. *М.К. Клышка.* Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў. Мінск, 2005.
11. *М.А. Леонидова.* Карманный болгарско-русский словарь. Джобен българско-русски речник. 9-е изд., испр. и доп. М., 1986 (10 000 слов).
12. *І.Я. Лепешаў.* Слоўнік фразеалагізмаў: У 2 т. Мінск, 2008.
13. *Н.С. Мажэйка.* Частотны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 2006 (64 536 слоў).
14. Македонско-русский словарь / Под общ. ред. Р.П. Усиковой, Е.В. Верижниковой. М., 2003 (свыше 40 000 слов).
15. *С.И. Ожегов.* Словарь русского языка.
16. *М.Ф. Розвадовская.* Польско-русский словарь. 7-е изд. М., 1963 (ок. 50 000 слов и выражений).
17. Словарь синонимов украинского языка: В 2 т. Киев, 1999–2000.
18. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы / Пад рэд. М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко. Мінск, 1996 (больш за 65 000 слоў).
19. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова, М., 1935–1940.
20. *Д. Толовски, В.М. Илич-Свитыч.* Македонско-русский словарь: с приложением краткого грамматического справочника. М., 1963.
21. Фразеологічний словник української мови в двух томах / Под ред. В.М. Білоноженко та інш. Київ, 1993.
22. *J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová* et al. Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1989 (okolo 50 000 slov).
23. *A. Hiltunen, U.-L. Heino.* Suomi venäjä suomi. Porvoo, 1968.
24. *K. Polański, J. Sehnert.* Polabian-English dictionary. The Hague; Paris, 1967.
25. *S. Ramułt.* Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiègo. Warszawa, 1893.
26. *J. Sever, O.S. Plotnikova.* Rusko-slovenski in slovensko-raski moderni slovar = Russko-slovenskij i slovensko-russkij sovremennyi slovar'. Ljubljana, 2006.
27. *M. Starosta.* Dolnoserbsko-němski słownik: šulski słownik dolnoserbskeje rěcy /Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1984.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2011

© 2011 г. А.А. СОКОЛЯНСКИЙ

ГРАДУАЛЬНЫЕ ОППОЗИЦИИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ДЛЯ РУССКОГО ВОКАЛИЗМА

В основе построения русского вокализма лежат две градуальные оппозиции: оппозиция по трем степеням подъема (верхний, средний и нижний) и оппозиция по степени лабиализации (нелабиализованные, слабо лабиализованный [о] и сильно лабиализованный [у]). Предлагаемое решение позволяет интерпретировать литературное аканье в синхронном плане как устранение срединного члена градуальной оппозиции по степени подъема /а – о – у/ > /а – у/. Объяснение получают и другие преобразования русского безударного вокализма. Предлагаемая фонологическая интерпретация русского вокализма позволяет увидеть в современных нейтрализациях гласных не только процессы, которые являются строго позиционно обусловленными, но и явления, которые могут быть объяснены с помощью раскрытия внутреннего устройства фонологических единиц, участвующих в нейтрализации. Это еще один шаг на пути сближения между Московской и Пражской фонологическими школами.

1. Русский вокализм – камень преткновения для разных фонологических школ. После длительных размышлений автор данной статьи пришел к выводу, что русский вокализм построен на противопоставлении двух градуальных оппозиций: градуальной оппозиции по степени подъема и градуальной оппозиции по степени лабиализации. Впервые эта идея была озвучена на конференции в МГУ и в целом присутствующими была воспринята вполне доброжелательно [Соколянский 2001: 244]. Наиболее полное изложение предлагаемых взглядов на строение русского вокализма дано в монографии «Модель многоуровневой фонологии русского языка» [Соколянский 2010: 201–269].

Направление наших поисков было подсказано работой П.С. Кузнецова 1941 года, посвященной фонетике французского языка: «...взаимоотношения фонем, возникающие в результате этих смещений, весьма сложны, проще идти несколько иным путем, чем это мы делаем при установлении фонематического состава русского языка. Проще исходить не из фонем, как элементных звуков-дифференциалов, а из совокупности фонем, в известных случаях противостоящих друг другу, в других случаях не отличающихся друг от друга, но всегда противостоящих другим совокупностям, иными словами, проще начать с того, какие звуковые качества всегда играют смыслоразличительную роль, т.е. прежде всего установить, какие в языке имеются *гиперфонемы*» [Кузнецов 1970: 190]. Позднее схожие идеи высказывал В.А. Виноградов: «...в анализе выделение гиперфонем должно предшествовать выделению фонем, так как последние связаны с более тонкой различительностью: если гиперфонемы различимы в любой позиции, то фонемы различимы лишь в некоторых специальных позициях» [Виноградов 1971: 101].

Следуя этим установкам, от позиций, где представлено минимальное количество гласных, мы постепенно следовали к позициям их максимальной противопоставленности. Тем не менее в данной статье с целью лучшего восприятия материала сохранен традиционный подход: от позиций максимальной дифференциации гласных к позициям их минимальной противопоставленности. В результате был сделан вывод, что преобразования в русском вокализме лучше всего объясняются, если видеть в нем систему из двух градуальных оппозиций.

Известно, что фонология такие оппозиции не любит. Н.С. Трубецкой писал: «Градуальные оппозиции сравнительно редки и не столь важны, как привативные» [Трубецкой 1960: 83]. В дальнейшем особой честью для лингвистики было избавление от градуальных оппозиций, реинтерпретация их как привативных. Именно этой идеей вдохновлялись Р.О. Якобсон и его сотрудники, когда создавали дихотомическую акустическую классификацию звуков, хотя ее применение иногда наталкивалось на сопротивление языкового материала. Так, они были вынуждены констатировать в отношении признака подъема: «Противопоставление "компактный – диффузный" в системе гласных – это единственный признак, при котором, помимо двух крайних членов противопоставления, может возникать средний член…» [Якобсон 1962: 192]. В качестве примера авторами приводится существующее в вокализме румынского языка противопоставление /a/ – /ə/ – /ɨ/. Отношение между членами этого ряда трудно интерпретировать с помощью дихотомических противопоставлений [Там же: 193].

Последовательным сторонником дихотомической классификации был М.В. Панов, он широко ее использовал при создании синтагмо-фонологии. При этом сам М.В. Панов непосредственно не занимался инструментальной фонетикой. Для него главным достоинством новой классификации была не ее акустичность, а ее дихотомичность. Длительное время и мы были убеждены, что описание русского вокализма через призму дихотомической классификации – путь к раскрытию его тайн. При этом оставалась в тени фундаментальная мысль Н.С. Трубецкого о том, что «…определение той или иной фонологической оппозиции как эквиполентной, градуальной или привативной зависит от избранной нами точки зрения. Не следует, однако, думать, что такое определение является чисто субъективным и произвольным. Сама структура и функционирование системы определяют в большинстве случаев совершенно однозначную и объективную классификацию любой оппозиции» [Трубецкой 1960: 84]. Надо принимать то решение, какое подсказывает сама система, а не желание все свести к бинарным противопоставлениям.

Далее рассматривается вокализм русского литературного языка во всем его многообразии. Именно поэтому в сферу рассмотрения попадают явления, уходящие из литературного произношения, и те, которые только получают распространение в современной речи. В некоторых случаях происходит обращение к ближайшему прошлому. Это связано с тем, что объяснению подлежат самые разные типы употребления, а не только те, которые признаны стандартными в рамках того или иного исследования. Действительно, если фонологическая теория объясняет иканье, но вынуждена не замечать эканья, то эта теория не может избежать упрека в том, что она оперирует только специально отобранными фактами. В статье не рассматривается употребление гласных в позиции абсолютного начала слова и после согласных, непарных по твердости – мягкости. Данное изъятие связано исключительно с ограниченным объемом статьи. Предлагаемая нами теория позволяет интерпретировать позиционные изменения гласных и в этих условиях.

2. То, что вокализм русского литературного языка включает в себя три степени подъема, является общепризнанным. Доказывать градуальный характер устройства признака подъема вряд ли необходимо.

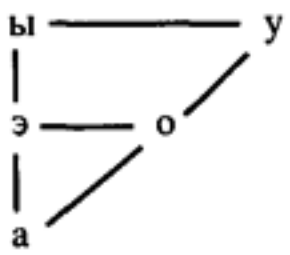
Поведение гласных в безударных позициях характеризуется в том числе и тем, что /о/ теряет лабиализацию в безударном положении, а /у/ держится за нее упорно и крайне редко расстается с этим признаком. Нет случаев, когда бы /у/ и /о/ в каких-либо позициях демонстрировали лабиализованность как общий признак. Нет позиций, в которых бы /о/ и /у/ совпадали или как-то единообразно изменялись, в то время как другие фонемы оставались бы не затронутыми этими процессами. Нейтрализации типа *чёл*[и]*сти*, *г*[ъ] *берна́торский* касаются более широкого круга фонем, а не только фонем /у/ и /о/ и специально рассматриваются далее.

Можно прийти к выводу, что лабиализованность у /о/ и /у/ разная. В принципе общеизвестно, что звук [у] имеет более сильную лабиализацию, чем звук [о]. Характеризуя звук [у], Р.И. Аванесов отмечал: «Губы сильно вытянуты вперед (больше, чем при

<o>), образуя узкое отверстие (более узкое, чем при <о>), являющееся границей резонирующей полости» [Аванесов 1984: 55]. Фонология обычно стремится не замечать мелких различий в артикуляции. Так, признак мягкости находит различное выражение у согласных, но мы говорим о том, что фонологически это один и тот же признак. Вместе с тем фонология – это не упрощенная фонетика. Фонология упрощает фонетику в соответствии с требованиями системы, а если система требует иного, то даже незначительные фонетические различия могут стать поводом для фонологического противопоставления единиц. Наша задача состоит в том, чтобы придать признакам [у] и [о] разное содержание. Фонетика позволяет это сделать: отношения между [у] и [о] могут быть рассмотрены как градуальные. Тогда [у] – лабиализованный, а [о] – слабо лабиализованный.

Не следует забывать и соображений диахронического характера в пользу предлагаемой интерпретации русского вокализма. Происхождение лабиализации [у] и [о] в русском языке весьма различно. В праславянском языке определенного периода лабиализация отсутствовала как свойство вокализма (см., например [Журавлев 1961]). Единственной единицей, сохранявшей древнюю праиндоевропейскую лабиализацию, был сонант – неслоговой *u̯. Именно *u̯ неслоговой является, если так можно выразиться, прародителем лабиализации в славянских языках. В результате монофтонгизации дифтонгов признак лабиализации возвращается в систему вокализма: *tau̯ras → тꙋръ. Признак лабиализации был подкреплен переходом носовой фонемы *a^n (традиционное *o^n) в *u. Это также усилило в восточнославянских языках новую лабиализованную гласную (пока единственную). Значительно позднее восточнославянские языки получают вторую лабиализованную гласную. Главный источник этой новой лабиализованной гласной – старое праславянское *ă. Но эта лабиализация была значительно слабее той лабиализации, которая была приобретена *u. Таким образом, лабиализации [у] и [о] возникают на разных этапах становления фонологических систем славянских языков. Не случайно и то, что в дальнейшем многие звуки «дотягивали» только до «слабой» лабиализации [о] (изменения ъ > *o*, э > *o*), а не до «сильной» лабиализации [у].

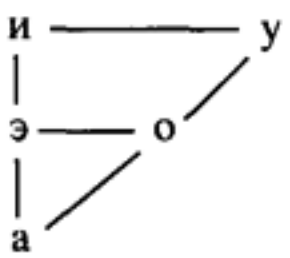
3. Ударный вокализм русского литературного языка после твердых согласных может быть представлен в следующей схеме:



Предлагаемое графическое изображение отношений между гласными обусловлено стремлением избежать давления традиционной схемы, в которой артикуляционный ряд гласных продолжает присутствовать. В данной схеме отношения по вертикали отражают подъем гласных ([а] – нижний подъем, [э], [о] – средний подъем, [ы], [у] – верхний подъем), а отношения по горизонтали – степень лабиализованности гласных ([а], [э], [ы] – нелабиализованные, [о] – слабо лабиализованный, [у] – лабиализованный).

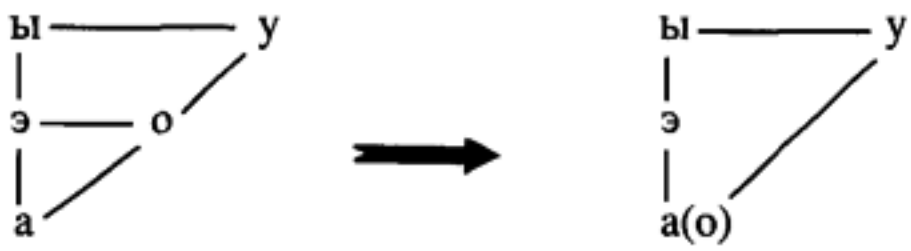
Признаком, достаточным для противопоставления другим гласным, для [о] и [у] является указание на степень их лабиализации. В зоне своего употребления противопоставление по подъему для них не является принципиальным, однако в качестве интегральных данные признаки подлежат анализу, и поэтому о них нельзя забывать.

После мягких согласных представлено также 5 гласных:



Картина в начале слова под ударением почти такая же, но в этой позиции в систему пусть еще не явно, но все же внедряется начальный [ы]. Если признать в качестве редких, но тем не менее закономерных, слова *ы* (название буквы), ыканье (лингвистический термин), то для позиции начала слова под ударением следует говорить о 6-фонемном составе гласных (см. примеры употребления начального [ы] в работе А.А. Бурыкина [Бурыкин 2007]).

4. Состав гласных в безударной позиции первого предударного слога в русском литературном языке вовсе не очевиден. Проблемное звено в этой позиции – употребление [э]. На уровне орфоэпии употребление отдельного звука на месте букв *е* и э не вызывает сомнений. Вот орфоэпические рекомендации Р.И. Аванесова: «В словах иноязычного происхождения с твердым согласным перед гласным на месте *е* в безударном слоге произносится гласный [э] (перед мягким согласным [э^{и}]), а не редуцированный звук; ср. [дэ]те́ктор, [дэ]ду́кция, [дэ]пре́ссия, а[нэстэ^{и}]зи́я, [рэ]патриа́ция, а[тэ]льé, [дэ]во́н» [Аванесов 1984: 221]. Если принять эту рекомендацию как актуальную для современного состояния русского литературного языка, то система гласных в первой позиции после парных по твердости – мягкости согласных может быть представлена как результат преобразования:



Примеры употребления гласных в этой позиции: *б*[ы]*ла́* – *р*[у]*да́* – *тр*[а]*ва́* – *Инт*[э^{и}]*рне́т*. Что изменилось в сравнении с ударной позицией? Исчез звук [о]. В рамках предлагаемого подхода это вполне объяснимо. Произошедшее изменение должно рассматриваться как преобразование градуальной оппозиции по степени лабиализации в бинарную оппозицию по лабиализации. Система, включающая в себя противопоставление *нелабиализованный – слабо лабиализованный – сильно лабиализованный*, трансформируется в систему, в которой противопоставляются *нелабиализованные – лабиализованные.* Слабое звено градуальной оппозиции – срединный член. Строго говоря, [о] – дважды срединный член градуальной оппозиции. Во-первых, по степени лабиализации. Это его существенный признак. Во-вторых, по артикуляционному ряду. Этот признак несущественный, однако о нем тоже нельзя забывать.

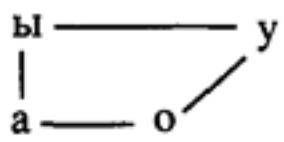
Почему нейтрализация происходит в звуке [а]? Известно, что обычно нейтрализация осуществляется в немаркированном члене оппозиции. Именно поэтому [о] не совпадает с [у], который в данной оппозиции выступает в качестве маркированного члена. По отношению к признаку степени лабиализации [а] – [э] – [ы] все являются немаркированными. В принципе нейтрализация может осуществляться в любом из этих звуков, но выбор системы сделан в пользу [а]. Впрочем, известно, что [а] в этой позиции не вполне тождествен ударному, и это касается не только параметров, напрямую связанных с отличием между ударными и безударными гласными. В работах Л.Л. Касаткина произносимый в этой позиции звук предлагается обозначать как [а^{ь}] или [а^{ə}]: «При произнесении [а] в первом предударном слоге язык не доходит до крайнего нижнего положения, более точное его обозначение [а^{ə}]» [Касаткин 2008: 152–153]. Движение в сторону от [а] приводит к тому, что в первом предударном слоге может произноситься «нслабиализованный [о]», который обозначают с помощью [ʌ]. Этот звук, как и [а^{ə}], более высокий по подъему, чем [а], а по ряду сдвинут в сторону [о]. Такой тип произношения чаще встречается в Петербурге. В работах Р.И. Аванесова и А.А. Реформатского знак [ʌ] выступает как абсолютный синоним гласного [а] первого предударного слога. Различать [ʌ] и [а] первого предударного слога было предложено в работах М.В. Панова и Л. Л. Касаткина.

Думается, что реализации безударных гласных в русском языке нуждаются в дополнительном изучении, но зона их реализации, исходя из фонологического строения

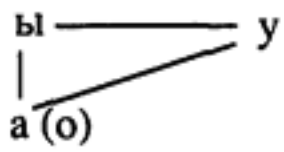
русского безударного вокализма, может быть определена и без дополнительных наблюдений. Эта зона включает в себя пространство от [а] через [а^{а}] к [ʌ]. Сама эта зона подтверждает наше решение о том, что снятие противопоставления [а] и [о] связано с устранением признака слабой лабиализации, что позволяет звуку в позиции нейтрализации относительно свободно варьироваться по признаку подъема. На фонемном уровне преобразование может быть описано как /о/ × /а/ → /А/. Специфика архифонемы /А/ состоит в том, что, с одной стороны, она, как и положено архифонеме, является представителем двух фонем в сильной позиции, с другой стороны – она не имеет более короткой признаковой характеристики, чем /а/. Преобразование характеристики происходит не на количественном, а на качественном уровне. Оно состоит в том, что градуальная оппозиция по степени лабиализации преобразуется в бинарную оппозицию по лабиализации.

В разговорной речи возможно появление произношения типа *п*[у] *утра́м*, *н*[у] *углу́*. Нейтрализация /а/ – /о/ – /у/ легко объясняется с помощью предлагаемой интерпретации русского вокализма. Н.С. Трубецкой относил такого рода нейтрализации к обусловленным контекстом [Трубецкой 1960: 256–264]. В данном случае происходит нейтрализация всех членов градуальной оппозиции по степени лабиализации, а выбор представителя архифонемы обусловлен находящейся в следующем слоге фонемой /у/. Произношение *п*[у] *утра́м* и т.п., скорее всего, не относится к числу широко распространенных. В русском языке имеются факты, когда подобная нейтрализация в схожей позиции осуществляется в пользу нелабиализованного гласного. Уже в начале XX в. (1908) В.И. Чернышев рассматривал произношение типа *до́бр*[ъ]*ю* вместо *до́бр*[у]*ю* фактически как нормативное: «Неударяемые окончания прилагательных винительного падежа женского рода единственного числа *-ую, -юю* заменяются в произношении окончаниями *-ыю* (вместо *-ою*) и *-ию* (вместо *-ею*): *до́брыю сестру́*, *ка́минныю сте́ну*, *си́нию кра́ску*, *зде́шнию жы́тильницу* и т.п.» [Чернышев 1970: 82]. Правда, позднее Р.И. Аванесов оценивал такое произношение как нелитературное [Аванесов 1984: 199]. Сходство между этими нейтрализациями состоит в том, что стимулом к обеим служит сосед-
ство с /у/. Различие заключается в разном объеме включенных в нейтрализацию фонем.

5. При всем том, что мы стремимся оставаться в рамках строгой синхронии, нельзя было избежать искушения обратиться к самой ближайшей диахронии. Ведь современное состояние – это производное от состояния предыдущих эпох. Поэтому предпочтения ближайшего прошлого могут оказывать влияние на предпочтения по времени более поздние. На одном из ближайших этапов в развитии русского вокализма после твердых согласных не было [э]. Слова типа *темп*, *кредо*, *денди* входили в особую произносительную систему заимствованных слов. Следовательно, под ударением система гласных имела такой вид:



При таком решении звуки [а] и [о] оказываются принадлежащими к одному ряду – нижнему. Следовательно, устранение из системы признака слабой лабиализации должно привести к совпадению [а] и [о]. Они совпадают в одном звуке [а], и система приобретает такой вид:



6. Система, которая содержит в своем составе /э/ после твердых согласных в безударной позиции, враждебна аканью. Именно поэтому Р.И. Аванесов, рекомендуя в орфоэпических руководствах произношение [э] в позиции без ударения, в своих фонологических рассуждениях не считал такое употребление закономерным. Говоря о вокализме первого предударного слога, Р.И. Аванесов писал: «В первом предударном слоге неза-

висимыми, фонетически необусловленными сторонами гласных является различение двух степеней подъема – верхнего и неверхнего, а для верхнего, кроме того, различение отсутствия или наличия лабиализации. Это показано в таблице:



[Аванесов 1956: 106].

Так же он поступал в отношении ударного [э] после твердых согласных: принимая этот звук как факт, он не считал его употребление частью системы [Там же: 99].

Оставив у себя «в тылу» безударный [э], Р.И. Аванесов вынужден вернуться к нему позже: «В словах иноязычного происхождения после твердых парных согласных может произноситься [е]; при этом гласный [е], находясь после твердого согласного, отодвигается несколько назад – произносится [э]: [интэгра́л], [дэду́кцыi̯ъ], [модэра́тър], [дэ-jу́рэ]» [Там же: 113]. Этому употреблению Р.И. Аванесов не придает системного значения и анализирует вокализм русского литературного языка без учета слов подобного рода: «Все это ведет к нарушению принципа аканья, к различению разных гласных неверхнего подъема в безударных слогах... Поэтому такое произношение удобнее трактовать, как выходящее за пределы общей системы, чем создающее новую систему (с различением гласных неверхнего подъема)» [Там же: 113].

В принципе Р.И. Аванесов прав: система с наличием /э/ в безударной позиции не предполагает аканья как фонетически закономерного явления. При наличии [э] утрата слабой лабиализации не должна автоматически приводить к совпадению [а] и [о]. Скорее, [о] должно стремиться в зону родственного по подъему [э], а не в зону реализации [а]. Тем не менее этого в русском языке не происходило и не происходит.

Можно предположить, что дело заключается в следующем. Система, не включающая в себя [э], хорошо сочеталась с аканьем и объясняла его. Новая система фактически приводила к тому, что утрата признака слабой лабиализации у /о/ должна была приводить к нейтрализации не столько с /а/, сколько с /э/. Все это объективно превращало аканье в морфонологическое явление, при котором изменение [о] > [а] уже не было фонетически закономерным. Думается, что аканье сохранилось благодаря мощной поддержке со стороны парадигматики. На момент появления в системе безударного [э] в русском языке уже сложилась система чередования *о // а*, представленная очень большим количеством примеров: *н*[о́]*ги – н*[а]*га́*, *ст*[о́]*л – ст*[а]*лы́*, *д*[о́]*м – д*[а]*ма́*, *х*[о́]*д – х*[а]*ди́ть*, *мол*[о́]*чный – мол*[а]*ко́* и др. Новая система предоставляла звуку [о] возможность в безударной позиции чередоваться как с [а], так и с [э]. Но выбор был уже сделан самим фактом существования огромного массива слов, для которого обычным было чередование *о // а*. Парадигматика воспрепятствовала появлению новых синтагматических закономерностей. Синтагматика сильно не сопротивлялась, так как само по себе чередование *о // а* не нарушало системы, просто новая система категорически не возбраняла чередование *о // э*, но это новое возможное чередование оказалось невостребованным.

Необходимо принять во внимание также и то, что сам звук [э] в анализируемой позиции не был достаточно надежным партнером для нейтрализации, поскольку, являясь срединным членом градуальной оппозиции по степени подъема, стал менять свое качество, постепенно дрейфуя в сторону [ы]. Иначе говоря, наряду с произношением [э] в словах типа *интеграл* стали произносить [э^{ы}], [ы^{э}] и даже просто [ы].

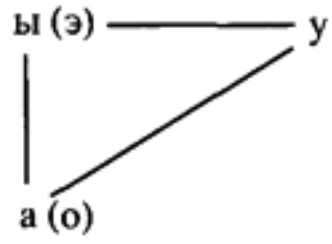
Для нашего сюжета крайне важно решить, что произносится сегодня на месте буквы *е* в словах типа *интеграл*. Орфоэпические рекомендации Р.И. Аванесова, думается, остаются актуальными, поэтому нельзя накладывать запрет на произношение в этих случаях [э]. Даже если дополнительные исследования покажут, что такое произношение встречается крайне редко, следует помнить, что за ним авторитет традиции, от которой нет смысла решительно отмежевываться. Бесспорно, сегодня чистый [э] в сло-

вах этого типа звучит крайне редко. В анализируемой позиции могут произноситься гласные, которые можно обозначить следующим рядом: [э – э^{ы} – ы^{э} – ы]. Первые три типа произношения сохраняют противопоставление в этой позиции 4 единиц, последнее употребление сохраняет только 3 единицы.

Исконно русские слова за свою долгую историю существования приучены к разноударности. Исследователю легко подобрать примеры, иллюстрирующие видоизменения гласных в зависимости от ударения. Заимствованные слова более чопорны: в своих языках они зачастую привыкли к тому, что ударение всегда падает на один и тот же слог. В русском языке они не хотят менять своих привычек. Даже если заимствованное слово приходит к нам из языка с подвижным ударением (например, польского), в русском языке оно стремится сохранять ударение на одном и том же слоге. Иноязычность напоминает о себе даже в том случае, при котором мы признали фонетику слов типа *мэр*, *отель* и др. вполне отвечающей духу русского языка. Отсутствие чередований напоминает об их заимствованном характере.

Среди заимствованных слов много таких, для которых отсутствует ударное соответствие у гласного, обозначаемого на письме буквой *е*: *астения*, *атеизм*, *ателье*, *астероид*, *аутентичный*, *ватерпас*, *бутерброд*, *интернировать*, *интервью*, *интенсивный*, *протеже*, *фортепьяно*, *экстенсивный*, *экстерьер*, *Интернет*, *декан*, *интеграл*, *дедукция*, *модератор* и др. Но даже чопорные заимствованные слова вынуждены подчиняться законам русского языка. Укореняясь в русском языке и обрастая словообразовательными связями, они уже сформировали достаточно устойчивую систему чередования ударного [э] со звуками в первой позиции: *перфе́кт – перфекти́вный*, *нове́лла – новелли́стика*, *патети́ка – патети́ческий*, *протез – протези́ровать*, *синтети́ка – синтети́ческий*, *экстерн – экстерна́т*, *эстет – эстети́ческий*, *геоде́зия – геодези́ческий*, *пропедевтика – пропедевти́ческий*, *генети́ка - генети́ческий*, *герменевтика – герменевти́ческий*, *эне́ргия – энерги́чный*, *фонети́ка – фонети́ческий* и др. Некоторые из приведенных слов имеют и орфоэпический вариант с мягким согласным перед [э], но нас сейчас интересует только твердое произношение согласных в этой позиции.

Сегодня в словах типа *интеграл, дедукция* и др. возможно произнесение как почти чистого [э] (рекомендация Р.И. Аванесова), так и звуков, максимально приближенных к [ы], что в транскрипции может быть обозначено как [э^{ы}] или [ы^{э}]. Безусловно, существует и такой тип произношения, при котором произносится просто [ы]. Это создает новую фонологическую систему с противопоставлением трех гласных:



Эта система возникает в результате трансформации двух градуальных оппозиций в бинарные. Утрачивается как противопоставление по степени лабиализации, так и по степени подъема. Происходят две нейтрализации: [а] × [о] → [а], [ы] × [э] → [ы]. Теперь аканью ничего не угрожает. По крайней мере, в этой позиции.

Как уже состоявшийся факт рассматривает нейтрализацию /и/ и /э/ в этой позиции Л.Л. Касаткин: «После парных твердых согласных нейтрализуются <и, э>, совпадая в звуке [ы^{ъ}], и <о, а>, совпадая в [а] (точнее [а^{ъ}], в другом обозначении – [ạ]): *с*[ы]*р* – *с*[ы^{ъ}]*ры́*, *мод*[э́]*ль* – *мод*[ы^{ъ}]*ли́ровать*; *д*[о]*м* – *д*[а^{ъ}]*ма́*, *тр*[*а́*]*вы* – *тр*[а^{ъ}]*ва*» [Касаткин 1999: 478]. Из такой же системы при интерпретации поведения русского безударного вокализма исходит С.В. Князев [Князев 2006: 129]. Признавая то, что такое произношение является сегодня наиболее распространенным, считаем, однако, что фонологической интерпретации должны подлежать и менее распространенные фонетические системы, тем более те, на стороне которых еще авторитет орфоэпических руководств.

Пока трудно сказать, каково соотношение четырехчленной и трехчленной систем. Для доказательства того, что переход к трехчленной системе уже состоялся, потребу-

ются исследования, сопоставимые по своим масштабам с теми, что проводились при установлении господства иканья над эканьем.

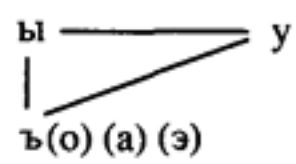
Итак, в анализируемой позиции представлены сегодня два варианта вокализма: с противопоставлением 4 единиц и с противопоставлением 3 единиц:



Первая система реализуется в произношении: *б*[ы]*лá* – *р*[у]*дá* – *тр*[а]*вá*, *др*[а]*вá* – *Инт*[э]*рнéт*, *Инт*[э^{ы}]*рнéт*, *Инт*[ы^{э}]*рнéт*. Вторая система реализуется в произношении: *б*[ы]*лá*, *Инт*[ы]*рнéт* – *р*[у]*дá* – *тр*[а]*вá*, *др*[а]*вá*.

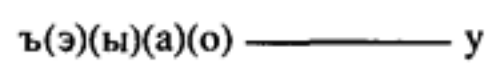
7. Во второй позиции после твердых согласных, опираясь на существующие описания, можно предполагать существование четырех систем произношения: четырехчленной, трехчленной, двучленной и одночленной. Сегодня есть все основания усомниться в реальности четырехчленной системы произношения, но именно на нее указывают существующие орфоэпические рекомендации, до сих пор решительно не отмененные. Р.И. Аванесов в разделе «Произношение гласного на месте *Е* в безударных слогах» не различает первой и второй позиции: «В словах иноязычного происхождения с твердым согласным перед гласным на месте *е* в безударном слоге произносится гласный [э] (перед мягким согласным [э"]), а не редуцированный звук; ср. [дэ]тéктор, [дэ]дýкция, [дэ]прéссия, а[нэстэ"]зúя, [рэ]патриáция, а[тэ]льé, [дэ]вóн» [Аванесов 1984: 221]. Как видим, различий между первой и второй позицией в данном случае Р.И. Аванесов не делал, даже примеры дал в произвольном порядке. Вероятно, четырехчленную систему можно рассматривать как реализующую фонетическую подсистему заимствованных слов. С другой стороны, можно предположить, что она имеет полувиртуальное бытование, так как вряд ли существует такая сфера общения, в которой бы она могла иметь регулярную реализацию. Система с противопоставлением четырех единиц устроена принципиально так же, как и система после твердых согласных в первой позиции. Изменение касается только того, что в качестве гласного нижнего подъема теперь выступает [ъ]: *г*[ъ]*лова́* – *п*[ъ·]*лево́й*.

Система с противопоставлением трех единиц устроена принципиально так же, как и система после твердых согласных в первой позиции. Она является наиболее употребительной:



Имеется в виду такое произношение: *г*[ъ]*лова́* – *п*[ъ·]*лево́й* – *вольт*[ъ·]*риа́нский* – *перф*[ъ]*ктива́ция* – *нов*[ъ·]*ллисти́ческий* – *пот*[ъ]*циа́льный* · *т*[ъ]*мпори́тм* – *т*[ъ·]*ннисúст* – *мод*[ъ]*низа́ция*

Современным тенденциям изменения вокализма более соответствует двучленная система, сегодня она составляет явную конкуренцию трехчленной системе:



Примеры употребления гласных в двучленной системе: *т*[ъ]*ловúк* – *п*[ъ·]*лево́й* – *г*[ъ]*лова́* – *вольт*[ъ·]*риа́нский* – *перф*[ъ]*ктива́ция* – *нов*[ъ·]*ллисти́ческий* – *пот*[ъ]*циа́льный* – *т*[ъ]*мпори́тм* – *т*[ъ·]*ннисúст* – *мод*[ъ]*низа́ция*.

В системе с противопоставлением двух единиц происходит утрата признака подъема как такового. Единственным признаком, позволяющим различать гласные, остается признак наличия или отсутствия лабиализации.

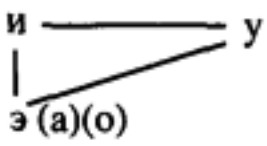
8. В русском языке активно формируется система, при которой утрачивается противопоставление и гласных [ъ] – [у]. Уже много лет исследователи фиксируют такое произношение, как *гра́д*[ъ]*с*, *на́р*[ъ]*с*. Условия утраты этого противопоставления пока окончательно не определились. Обычно это заударные позиции. Но одной заударности мало. Необходимы дополнительные обстоятельства в виде того, что можно назвать речевыми позициями: быстрый темп говорения, слабая фразовая позиция, отсутствие официальности в общении, высокая частотность слова в контексте его употребления и др.

Является ли рассмотренный случай предельным примером сокращения числа гласных? Вероятно, нет. На значительном расстоянии от ударения или в заударной позиции в соседстве с сонорными может возникать такая ситуация, при которой реализация одиночного сонорного и его сочетание с гласным перестает различаться. Как правило, это хорошо заметно на примере малочастотных слов. Есть такие названия медицинских препаратов, как *галазоли́н* (капли для носа) и *промедо́л* (слабый наркотик, широко употребляемый в медицинской практике при необходимости снятия болезненных ощущений). В свое время автор статьи название обоих препаратов воспринял на слух и долгое время интерпретировал их фонетическую форму как [глъзали́н] (была ассоциация со словом *глаз*) и [пъръм'идо́л] (вероятно, оказывало влияние то, что книжные слова часто начинаются с *пара*). Уже имея достаточный опыт употребления этих слов в своей речи и в речи окружающих, с удивлением узнал, как они пишутся. Ни у меня, ни у окружающих не возникло коммуникативных проблем с употреблением данных слов. Следовательно, можно говорить о том, что в русском языке есть редкие примеры совпадения в произношении одиночных сонорных и сочетаний сонорных с гласными.

То же явление представлено и в словах типа *педиатр*, *психиатр*, *театр*, *клуатр* – с одной стороны, и в словах типа *инициатор*, *организатор*, *император* (но *императрица*), *композитор*, *литератор*, *экзекутор* – с другой. Заударные финали типа *-а́тр* и *а́тър* могут произноситься одинаково. Следовательно, можно говорить о ситуации, когда нейтрализуется противопоставление гласного и сочетания согласных.

Итак, мы пришли к предельному случаю, когда гласный даже не противопоставлен сам себе, он полностью устраняется из противопоставления.

9. В первом предударном слоге после мягких согласных уже не первое десятилетие господствует икающая норма. Тем не менее на эканье не наложен запрет, оно – часть литературной системы, хотя и архаичной. Его представляет такая схема:



При эканье происходит устранение признака слабой лабиализации и утрата среднего подъема. При иканье противопоставление по подъему утрачивается целиком, остается только противопоставление гласных по бинарному признаку лабиализации.



Та же система представлена и во второй позиции, различия заключаются в не очень значительных фонетических отличиях, связанных с большей редукцией гласных. Одно время эту более сильную редукцию гласных было принято обозначать с помощью особого значка – ь: [п'ь]*тачо́к* – [л'ь]*пестóк*. Однако сегодня многие авторы избегают употребления знака ь в транскрипции, что само по себе не отменяет большей редукции гласного во второй позиции по сравнению с первой. В работах последнего времени Л.Л. Касаткин гласный звук в этой позиции обозначает как [и^{э}]: [л'и^{э}]*си́ца* – [л'и^{э}]*бя́жий* – [п'и^{э}]*тачо́к* – [л'и^{э}]*пестóк*. Он исходит из того, что в безударной позиции гласные не дотягивают до своих ударных эквивалентов, поэтому их артикуляция является более вялой, вследствие чего произносят: *д*[о́]*м* – *д*[а^{э}]*ма́*, *д*[у́]*ра* – *д*[у^{о}]*ра́к*, *л*[и́]*с* – *л*[и^{э}]*са́* [Касаткин 2008].

Как и после твердых согласных, в анализируемой позиции происходит процесс вовлечения в нейтрализацию /у/. Но после мягких это явление охватывает не только вторую, но и первую позицию. Имеется в виду произношение *чé*[л'и]*сти*, *нó*[л'и]*с*, *ощ*[и]*щéние* и т.п. Такое произношение формирует систему, в которой функционирует один гласный [и], противопоставленный своему отсутствию.

Для этой позиции характерна также и нулевая нейтрализация гласных, которая в ряде случаев носит уже почти регулярный характер: «В неконечном заударном слоге в сочетании [т'и^{э}л'], стоящем после гласного и перед согласным, звук [и^{э}] может выпадать, передавая слоговость следующему [л']. При этом возникает артикуляция согласных [т'л'] с непрерывной смычкой языка с верхними зубами: *жи́тельница*, *писа́тельница*, *учи́тельница*; *внима́тельнее*, *дли́тельнее*, *после́довательнее*; *жи́тельство*, *законода́тельство*, *издева́тельство*; *зри́тельский*, *люби́тельский*, *обыва́тельский*; *по-прия́тельски*, *преда́тельски*; *пе́телька*, *тю́телька*» [Касаткин 2008: 192]. В данном случае речь идет именно о нулевой нейтрализации, так как слоговость согласного сама по себе в этой позиции не принимает на себя функции гласного. Проще говоря, если бы в русском языке оказались пары слов типа *жи́тельница – жи́тльница*, то они бы произносились одинаково.

Предлагаемая фонологическая интерпретация русского вокализма позволяет увидеть в современных нейтрализациях гласных не только процессы, которые являются строго позиционно обусловленными, но и явления, которые могут быть объяснены с помощью раскрытия внутреннего устройства фонологических единиц, участвующих в нейтрализации. Это еще один шаг на пути сближения между Московской и Пражской фонологическими школами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аванесов 1956 – *Р.И. Аванесов.* Фонетика современного русского литературного языка. М., 1956.

Аванесов 1984 – *Р.И. Аванесов.* Русское литературное произношение. М., 1984.

Бурыкин 2007 – *А.А. Бурыкин.* Сколько слов с начальным <ы> в русском языке? // Фонетика сегодня. Материалы докл. и сообщ. V Международной науч. конф. 8–10 октября 2007 года. М., 2007.

Виноградов 1971 – *В.А. Виноградов.* ОЗПЕРАНД [АС'П'ИРА́НТ]. К проблеме гиперфонемы // Фонетика. Фонология. Грамматика. М., 1971.

Журавлев 1961 – *В.К. Журавлев.* Формирование группового сингармонизма в праславянском языке // ВЯ. 1961. № 4.

Касаткин 1999 – *Л.Л. Касаткин.* Чередования гласных после [ш, ж, ц] в русском литературном языке // Л.Л. Касаткин. Современная русская диалектная фонетика как источник для истории русского языка. М., 1999.

Касаткин 2008 – *Л.Л. Касаткин.* Современный русский язык. Фонетика. М., 2008.

Князев 2006 – *С.В. Князев.* Структура фонетического слова в русском языке: синхрония и диахрония. М., 2006.

Кузнецов 1970 – *П.С. Кузнецов.* К вопросу о фонематической системе французского языка // А.А. Реформатский. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.

Соколянский 2001 – *А.А. Соколянский.* Фонологическая интерпретация русского вокализма // Русский язык: исторические судьбы и современность: Международный конгресс исследователей русского языка. М., 2001.

Соколянский 2010 – *А.А. Соколянский.* Модель многоуровневой фонологии русского языка. Магадан, 2010.

Трубецкой 1960 – *Н.С. Трубецкой.* Основы фонологии. М., 1960.

Чернышев 1970 – *В.И. Чернышев.* Законы и правила русского произношения. Звуки. Формы. Ударение // В.И. Чернышев. Избранные работы: В 2 т. Т. 1. М., 1970.

Якобсон 1962 – *Р.О. Якобсон, Г.М. Фант, М. Халле.* Введение в анализ речи // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2011

© 2011 г. С.М. ПОЛЯКОВ

ГЛАГОЛ *TO MISS* КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СЕМАНТИКИ СОЖАЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В данной статье мы обращаемся к тому особому значению сожаления, которое в английском языке выражается глаголом *miss*. Компонентный анализ содержания интенционального состояния *miss* показывает, что оно является производным от содержания более простого интенционального состояния *sorry*. Отсюда можно сделать вывод о том, что значение слова *miss* представляет собой результат семантической деривации значения предикатива *sorry*. Разница между интенциональными состояниями, выражаемыми словом *sorry*, с одной стороны, и глаголом *miss*, с другой, состоит в условиях удовлетворения интенции говорящего субъекта.

Настоящая статья является продолжением исследования способов и средств реализации семантики **сожаления** в современном английском языке, начало которому было положено в опубликованной ранее работе автора (см. [Поляков 2010: 59–73]). В данной статье мы обращаемся к тому значению сожаления, которое обозначено Анной А. Зализняк как значение «сожалеть 2»[1]. Это значение зафиксировано у русского существительного *сожаление* и соответствующего ему глагола *сожалеть* как «чувство печали, скорби, вызываемое утратой чего-л., невозвратимостью чего-л.» [Евгеньева 1988: 182]. Как мы уже отмечали, английский предикатив *sorry* и слово *regret* не могут употребляться в подобном значении [Поляков 2010: 59–60]. Главным средством выражения этого значения в английском языке является глагол *miss*.

В словаре Хорнби одно из значений глагола *miss* определяется как «realize, learn, feel regret at the absence of: *She'd miss her husband if he died*» [Хорнби, Руз 1983].

В учебном словаре для начинающих Longman wordwise dictionary значение глагола *miss* объясняется очень подробно и понятно: «1. to feel sad because someone that you like is not with you, or because you can no longer have something you enjoyed in the past: *I really miss Mum and Dad now I'm at university | Sue misses the long walks she used to go on | Paul missed seeing Jenny after she left work*» [Longman 2001: 397].

В электронном Оксфордском англо-русском словаре «Bridge to English» глагол *miss* в одном из своих значений определяется как «discover or regret absence of» и приводятся следующие примеры: *she misses her husband* она скучает по мужу; *we missed you* нам вас недоставало; *he won't be missed* его отсутствия не заметят; (sc. lamented) никто не пожалеет, что его нет; *I miss his talks* я скучаю по его лекциям; *he wouldn't miss a hundred pounds* что ему сто фунтов! [Bridge 1998].

[1] Семантика сожаления изучалась в работах разных лингвистов и философов, начиная с Древней Греции. В монографии Анны А. Зализняк [Зализняк 2006] эта семантика рассматривается довольно подробно на материале русского и французского языков. Автор ссылается на работы Аристотеля, Спинозы, Лейбница и Декарта и приходит к выводу, что необходимо выделять два вида сожаления: сожаление о плохом и сожаление о хорошем. Первое значение иллюстрируется примером «Он сожалеет о сделанной ошибке» и называется «сожалеть 1», второе значение показывается на примере «Он сожалеет о счастливых годах молодости» и называется «сожалеть 2» [Зализняк 2006: 88].

Вернемся к предложенной Дж. Сёрлем [Searle 1983] методике представления сложных интенциональных состояний через сочетание более простых состояний *belief* и *desire* для анализа рассматриваемого значения английского глагола *miss*:

Miss (*p*) → Bel (Past *p*) & Bel (~ *p*) & Bel (*p* is connected to me) & Des (*p*)

Расшифровать эту схему можно следующим образом: If I miss somebody or something I believe that in the past *p* and in the present not *p* and believe that I am connected with *p* and want that *p*. Другими словами, если я скучаю по кому-/чему-либо, то я полагаю, что в прошлом существовало определенное положение дел, которое не существует в момент речи, я полагаю, что это положение дел связано со мной и желаю, чтобы это положение дел снова существовало.

Сравним схематическое изображение интенциональных состояний *sorry* и *regret* со схемой состояния *miss*:

Sorry (*p*) → Bel (*p*) & Des (~*p*)

Regret (*p*) → Bel (*p*) & Bel (*p* is connected to me) & Des (~*p*)

Miss (*p*) → Bel (Past *p*) & Bel (~ *p*) & Bel (*p* is connected to me) & Des (*p*)

Компонентный анализ содержания интенциональных состояний *regret* и *miss* показывает, что они являются производными от содержания более простого интенционального состояния *sorry*. Отсюда можно сделать вывод о том, что значения слов *regret* и *miss* представляют собой результат последовательной семантической деривации значения предикатива *sorry*.

Мы уже показали, что предикатив *sorry* и слово *regret* выражают значение «сожалеть 1», т. е. сожаление о плохом (см. [Поляков 2010: 59–73]). Если мы выскажем предположение, что глагол *miss* выражает значение «сожалеть 2», т. е. сожаление о хорошем, то вполне естественно возникает необходимость ответить как минимум на два вопроса: во-первых, что общего между этими значениями, и, во-вторых, чем они отличаются?

Общим между этими значениями является то, что «некоторое положение дел, не существующее в действительном мире, но которое могло бы в нем существовать, представляется человеку как лучшее по сравнению с тем, которое существует» [Зализняк 2006: 96].

Мы полагаем, что разница между интенциональными состояниями, выражаемыми словами *sorry* и *regret*, с одной стороны, и глаголом *miss*, с другой, состоит в условиях удовлетворения интенции говорящего субъекта (conditions of satisfaction – термин Дж. Сёрля, см. [Searle 1983: 31]).

Семантику рассматриваемых интенциональных состояний, включая пресуппозицию, можно описать следующим образом:

I am sorry ... I regret ... – сейчас мне плохо, потому что в моей настоящей жизни есть что-то такое, что причиняет мне неудовольствие, и я желаю, чтобы этот источник неудовольствия был устранен;

I miss ... – сейчас мне плохо, потому что в моей настоящей жизни нет чего-то такого, что доставляло мне удовольствие раньше, и я желаю, чтобы этот утраченный источник удовольствия вернулся.

Для наглядности представим условия удовлетворения исследуемых интенциональных состояний в таблице 1.

Таким образом, значение «сожалеть 2» в современном английском языке передается конструкцией с глаголом *miss*.

Важным моментом в изучении семантики слов, передающих значение сожаления, является установление степени контролируемости действия, выраженного подчиненной пропозицией, со стороны сожалеющего субъекта. Ранее мы уже выяснили особенности функционирования в этом плане слов *sorry* и *regret* (см. [Поляков 2010: 61–62] и ссылки на работы авторов, изучающих проблему контроля, в цитируемой статье).

Анализ примеров употребления глагола *miss* свидетельствует о том, что он соотносится исключительно с неконтролируемой ситуацией, в которой субъект находится

Таблица 1

Имя интенционального состояния	Описание пресуппозиции интенционального состояния	Условие удовлетворения интенции говорящего
sorry, regret	сейчас мне плохо, потому что в моей настоящей жизни есть что-то такое, что причиняет мне неудовольствие	устранение источника неудовольствия
miss	сейчас мне плохо, потому что в моей настоящей жизни нет чего-то такого, что доставляло мне удовольствие раньше	возвращение утраченного источника удовольствия

в настоящее время и которая является результатом либо совершенного им в прошлом поступка, либо естественным итогом развития событий объективного характера. Рассмотрим это на конкретном примере:

(1) «He died in 1937, when I was still in my teens», he said. «I have **missed** him ever since. A boy does not need a father unless he is a good father, but a good father is indispensable» (S. King).

Неконтролируемость действия подчиненной пропозиции в данном примере очевидна, так как утрата связана со смертью человека, то есть с таким действием или состоянием, контролировать которое мы не можем.

(2) They blessed him for his punctuality, and not one of them **missed** him when he was gone. A strange man was Breault (J.O. Curwood).

В примере (2) глагол *miss* также соотносится с неконтролируемым действием, выраженным подчиненной пропозицией. Анализ всех найденных нами примеров дал сходные результаты. Таким образом, ситуация, описанная с помощью глагола *miss*, содержит признак «– контроль».

В дополнение к высказанным выше соображениям отметим, что наличие ЛСВ «сожаление» в семантической структуре этого глагола доказывается включением его в словарную статью «regret» в одном из лучших тезаурусов современного английского языка – тезаурусе издательского дома Коллинз [Collins 2005: 627].

Глагол *miss* является переходным глаголом. Объект, по поводу которого высказывается сожаление, чаще всего выражается в повествовательном предложении объектной формой личного местоимения второго или третьего лица и практически никогда – местоимением первого лица. Местоимение первого лица в качестве дополнения возможно только в вопросительном предложении. Таким образом, наличие местоименного объекта становится характерной чертой синтаксической валентности глагола *miss*:

(3) «Come back when you can», she said. «I **miss** *you* when you're gone» (R.B. Parker);
(4) Ruby, even so long after her father's death, still **missed** *him* terribly (A. Hailey);
(5) «In some ways that was the hardest time we've ever had», Susan said, «Santa Barbara and all that went with it. But I kind of **miss** *it*» (R.B. Parker);
(6) «Have you **missed** *me*?»
«Like crazy» (S. Sheldon).

Объект сожаления может быть также выражен существительным в так называемом общем падеже:

(7) «I'll go. I'll be cold. My bowels will not work properly. I'll be lonely. I'll **miss** my *begonias*. But...» He looked up at Larry, and his eyes gleamed in the dark. «I'll also be clever» (S. King).

Можно сожалеть об утрате, о невозвратимости не только объекта, но и какого-то действия или состояния. Действие или состояние, по поводу которого высказывается сожаление такого рода, выражается герундием неперфектного вида без предлога:

(8) Driving Kemal to school on Monday morning, Dana said, «I've **missed** *doing* this, but I'm back now» (S. Sheldon).

Обмен высказываниями с глаголом *miss* в будущем времени становится ритуальным речевым действием при прощании близких людей, обусловленным правилами речевого этикета и далеко не всегда являющимся искренним проявлением чувств:

(9) «I'll **miss** *you*», Josephine said.
«I'll **miss** *you*, too». And he meant it more than she knew (S. Sheldon).

Глагол *miss* часто встречается в соболезнованиях, высказанных по поводу кончины человека:

(10) Senator Leff studied Dana for a moment. «I'll be glad to tell you. Taylor Winthrop was one of the finest men I've ever met. What was most remarkable about him was the way he related to people. He really cared. He went out of his way to make this a better world. I'll always **miss** *him*, and what's happened to his family is just too goddamn awful to think about» (S. Sheldon).

Несмотря на то, что английский глагол *miss* и русский глагол *сожалеть* имеют очень сходные словарные дефиниции (см. выше), английский глагол *miss* в данном значении практически никогда не переводится с помощью русского глагола *сожалеть*. Для выражения этого значения в русском языке применяются слова *жаль*, *сожаление*, *скучать*, *недоставать* (ср. [Зализняк 2006: 88]). Слова *жаль*, *сожаление* используются достаточно редко. Если сожаление, выраженное глаголом *miss*, направлено на живой объект – человека или домашнее животное, то чаще всего он переводится с помощью русских глаголов *скучать*, *тосковать*, *горевать*:

(11) Like a fool I went for a drink with him to the American Bar at the Savoy, let him soften me up with champagne and «I feel so terrible, I really **miss** you» blar blar blar. [Helen Fielding. Bridget Jones's diary. НКРЯ];
(11′) Я, как дура, пошла с ним в американский бар в отеле «Савой», позволила ему угостить себя шампанским и разжалобить себя разными-всякими: «Я так погано себя чувствую», «Я так по тебе **скучаю**» и т.д. и т.п. (перевод Г. Багдасарян).

Если же сожаление высказывается по поводу утраты неодушевленного объекта или действия, то в переводе чаще используются отрицательные глаголы *недоставать*, *не хватать*, *не обойтись без*:

(12) Amory was far from contented. He **missed** the place he had won at St. Regis', the being known and admired, yet Princeton stimulated him, and there were many things ahead calculated to arouse the Machiavelli latent in him, could he but insert a wedge (F.S. Fitzgerald);
(12′) У самого Эмори дела шли неважно. Ему **недоставало** того положения, которое он завоевал в Сент-Реджисе, где его знали и восхищались им; но Принстон вдохновлял его, и впереди ждало много такого, что могло разбудить дремавшего в нем Макиавелли – лишь бы за что-то зацепиться для начала (перевод М.Ф. Лорие).

Тем не менее, это всего лишь тенденция, а не закономерность, и в какой-то мере она может быть отнесена на счет авторского стиля переводчика.

При сравнении текстов оригинала и текстов русского перевода написанных на английском языке романов «Поющие в терновнике» Колин Маккаллоу (перевод Н. Галь) и «Мэнсфилд-парк» Джейн Остин (перевод Р.Е. Облонской) оказалось следующее. В английском тексте романа «Поющие в терновнике» содержится 26 случаев употребления глагола *miss* в значении «сожалеть 2». В 13 случаях глагол *miss* переводится как

скучать, *соскучиться*, в 11 – как *недоставать*, *не хватать* и в 2 – как *тосковать*, *стосковаться*.

В английском романе «Мэнсфилд-парк» найдено 27 примеров употребления глагола *miss* в значении «сожалеть 2». В 14 случаях глагол *miss* переводится как *скучать*, *соскучиться*, в 13 – как *недоставать*, *не хватать*. Вариант перевода *тосковать*, *стосковаться* не зарегистрирован.

В текстах переводов, представленных в подкорпусе параллельных текстов Национального корпуса русского языка (НКРЯ), можно обнаружить следующие варианты перевода английского глагола *miss* на русский язык: *жаль*, *жалеть*, *скучать*, *тосковать*, *горевать* (примеры в целях экономии места мы опускаем).

Какие же факторы определяют выбор того или иного варианта перевода?

Как мы уже показали выше, одушевленность или неодушевленность объекта сожаления является признаком факультативным, не влияющим на выбор варианта перевода, хотя определенная тенденция и существует.

Анализ примеров свидетельствует о том, что выбор варианта перевода глагола *miss* зависит от двух моментов: 1) возможности реализации условия удовлетворения интенционального состояния (т. е. интенции говорящего лица) и 2) от набора компонентов значения (сем) английского глагола *miss* в данном контексте. Эти два признака являются релевантными для выбора варианта перевода глагола *miss*, поэтому остановимся на них более подробно.

Как мы уже отмечали выше, значение «сожалеть 2» включает в себя компонент, выражающий возможность / невозможность реализации условия удовлетворения интенционального состояния субъекта. Другими словами, субъект сожаления желает, чтобы утраченный источник удовольствия вернулся (Des *p* – см. выше). В то же время он понимает, что данное желание может быть либо реализовано, либо не реализовано по различным причинам.

С другой стороны, семантическая структура глагола *miss* предполагает наличие положительной оценки некоторого объекта или положения вещей, которое существовало раньше и не существует теперь. Эта положительная оценка может выступать либо в виде очень личного чувства, такого как любовь, симпатия и др., либо в виде нейтрального положительного отношения типа признательности руководителя за надлежащее выполнение его подчиненным или сотрудником своих должностных обязанностей. Назовем первый тип положительной оценки «личной привязанностью», а второй, соответственно – «неличной привязанностью».

Поясним это на конкретных примерах. Так, в (3) возвращение объекта, по поводу которого высказывается сожаление, возможно. В семантической структуре глагола *miss* содержится сема «личная привязанность (любовь, симпатия и т. п.)». В этом случае возможны оба варианта перевода:

(3) «Come back when you can», she said. «I **miss** you when you're gone» (R.B. Parker);
(3′) – Я скучаю по тебе, когда тебя нет;
(3″) – Мне очень не хватает тебя, когда тебя нет.

В следующем примере (13) возвращение объекта, по поводу которого высказывается сожаление, также возможно. В семантической структуре глагола *miss* присутствует сема «неличная привязанность (профессиональные отношения двух священников, причем один подчиняется другому)». В этом случае должен быть выбран вариант перевода с глаголами *недоставать*, *не хватать*:

(13) «I'm going to **miss** you greatly, Father», said Archbishop Cluny Dark, piling jam and whipped cream on half a scone and popping it whole into his mouth (C. McCullough);
(13′) – Мне будет очень ***недоставать*** вас, отец Ральф, – сказал архиепископ Клюни Дарк, густо намазал половину булочки вареньем и взбитыми сливками и разом отправил все это в рот (Перевод Н. Галь).

В примере (4) возвращение объекта, по поводу которого высказывается сожаление, невозможно. В семантической структуре глагола *miss* содержится сема «личная привя-

занность (любовь, симпатия и т. п.)». В этом случае глагол *miss* следует перевести как *недоставать, не хватать*:

(4) Ruby, even so long after her father's death, still **missed** him terribly (A. Hailey);
(4′) Даже по прошествии стольких лет после смерти отца Руби отчаянно недоставало его.

Наконец, в (10) возвращение объекта, по поводу которого высказывается сожаление, также невозможно, но в семантической структуре глагола *miss* содержится сема «неличная привязанность (профессиональная)». Несмотря на такое отличие, в этом случае глагол *miss* следует также перевести как *недоставать, не хватать*:

(10) – …I'll always **miss** him… (S. Sheldon);
(10′) – …Мне всегда будет недоставать его…

Сказанное выше может быть отражено в таблице 2.

Таблица 2

Условие реализации интенции	Характер привязанности	Вариант перевода
Возвращение объекта сожаления возможно	Личная привязанность (любовь, симпатия и т. п.)	а) скучать, тосковать б) недоставать, не хватать
Возвращение объекта сожаления возможно	Неличная привязанность (коллеги, соседи и т. п.)	б) недоставать, не хватать
Возвращение объекта сожаления невозможно	Личная привязанность (любовь, симпатия и т. п.)	б) недоставать, не хватать
Возвращение объекта сожаления невозможно	Неличная привязанность (коллеги, соседи и т. п.)	б) недоставать, не хватать

Ранее мы определили место предикатива *sorry* и слова *regret* в семантическом поле «сожаление» (см. [Поляков 2010: 72]). Производность семантики глагола *miss* позволяет прийти к заключению о том, что этот глагол отстоит еще на одну ступень дальше от центра выражения общего значения «сожаления», чем слово *regret* в исследуемом семантическом поле.

Таким образом, основным средством выражения значения «сожалеть 2» в современном английском языке является глагол *miss*. Кроме того, это значение может также передаваться и другими, менее регулярными средствами, изучение которых не является целью данной статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Евгеньева 1988 – *А.П. Евгеньева* (ред.). Словарь русского языка: В 4 т. М., 1988.

Зализняк 2006 – *Анна А. Зализняк*. Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. Подкорпус параллельных текстов // http://ruscorpora.ru/

Поляков 2010 – *С.М. Поляков*. Основные способы реализации семантики сожаления в современном английском языке // ВЯ. 2010. № 3.

Хорнби, Руз 1983 – *А.С. Хорнби, К. Руз*. Учебный словарь современного английского языка: Специальное издание для СССР. М., 1983.

Bridge 1998 – Bridge to English [Электронный ресурс]: Говорящий оксфордский словарь. Bournemouth, 1998. 1 CD-ROM.

Collins 2005 – Collins thesaurus A–Z. Glasgow, 2005.

Longman 2001 – Longman wordwise dictionary. Harlow, 2001.

Searle 1983 – *J.R. Searle*. Intentionality: An essay in the philosophy of mind. Cambridge, 1983.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2011

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

© 2011 г. О.А. РАДЧЕНКО, Л.С. АЛИКАЕВА

Й.Г. ГАМАН В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

В статье рассматриваются лингвистические взгляды Й.Г. Гамана, выдающегося теоретика языка и философа, оказавшего существенное влияние на становление языкознания в Германии XVIII в., в частности – на творчество И.Г. Гердера, В. фон Гумбольдта, И.В. фон Гёте, видных представителей немецкого Просвещения. Взгляды Гамана на сущность и происхождение языка, его воздействие на картину мира его носителей, взаимосвязи языка и религии анализируются на широком фоне лингвистических и философских дискуссий в европейском и германском языкознании второй половины XVIII столетия.

В современной истории языкознания все более важную роль играет нарративная историография – сравнительно новое направление, развивающее принципы нового объективизма в описании лингвистических концепций прошлого [Радченко 2000]. Следуя этим принципам, исследователь изучает исторический, научный, личностный контексты того или иного события в истории лингвистики, проводит метакритический анализ существующей традиции в оценке данной концепции, верифицирует результаты исследования с опорой на хронологический анализ всех работ, значимых для данного направления в теории языка.

В этой связи исследователем-нарративистом воссоздается т е з о г е н е з, процесс складывания уникальной системы авторских концептов. Однако, что еще более важно, исследователь воссоздает в мельчайших деталях личностный портрет лингвиста, рисуя его на широком фоне эпохи, общественно-политических событий, помещая его в центр портретной галереи выдающихся личностей его времени, освещая многообразие отношений между ними (прекрасным примером такого подхода являются работы В.М. Алпатова, посвященные марризму [Алпатов 2004]). Не суд над мыслителем, а рассказ о нем, возможно более полный и отвлеченный от страстей его времени и особенно от предвзятости последующих интерпретаторов, становится основной задачей нарративиста.

Все это позволяет в результате воссоздать то, что в современной философии науки получило название «интеллектуального дискурса» (см., например [Соломеин 2003]) как пересечения социальных, культурных и гносеологических процессов. Интеллектуальный дискурс возникает в результате повышенного внимания общества к каким-либо значимым, определяющим его интеллектуальное бытие проблемам и характеризуется высокой «плотностью» ярких личностей, вступающих друг с другом в научную, насыщенную образностью, глубокой аргументацией, пронизанную присущим им интеллектом полемику.

Проводя параллели с французским интеллектуальным дискурсом, формирование которого относят к рубежу XVII–XVIII вв., следует считать это время чрезвычайно

плодотворным и для немецкой общественной жизни. Существенные импульсы – возникновение рациональной картины мира, влияние «просвещенного» абсолютизма, распространение моды на французский стиль жизни и рассуждения, влияние эссеистики М.Э. де Монтеня (1533–1592), возникновение интеллектуальных салонов и расцвет светской интеллектуальности вообще, превалирование ratio над верой – повлияли на образ жизни и мысли молодежи в Германии, ее привычки и мечты, обратили ее внимание на художественную литературу и публицистику, привили ей любовь к пиитству и журналистской деятельности. В этой связи можно говорить о формировании немецкого интеллектуального дискурса, имевшего свои отличительные черты, по сравнению с французским «оригиналом», прежде всего связанные с влиянием протестантизма и особенно пиетизма.

В этой атмосфере происходило формирование личности кёнигсбергского лингвиста и философа Иоганна Георга Гамана (1730–1788) как совершенно особенного типажа интеллектуала-аутсайдера, который выступал как остроумный противник духовных течений эпохи и, не занимая никаких должностей в университетской среде, выделялся среди своих современников особым литературным стилем, своими критическими статьями и небольшими памфлетами. Й. Гаман оказал серьезное влияние на интеллектуальную атмосферу не только Восточной Пруссии, но и всей Германии того времени.

Никто из авторов, серьезно изучавших его деятельность и работы, не ставит под сомнение то огромное влияние, которое Гаман оказал не только на духовную атмосферу своего времени, но и на таких видных мыслителей в философии и языкознании, как И. Кант (1724–1804), И.Г. фон Гердер (1744–1803), С. Кьеркегор (1813–1855), В. Дильтей (1833–1911), М. Бубер (1878–1965), К. Ясперс (1883–1969) и др. Классическим стало в современных публикациях цитирование слов И.В. фон Гёте, считавшего Гамана «самой светлой головой нашего времени» и писавшего о нем в своей автобиографической книге «Поэзия и жизнь». Гёте указывал, что после выхода в печати первой же работы Гамана «чувствовалось, что это глубоко мыслящий, основательный человек, который, точно зная со всей очевидностью мир и литературу, все же оставлял место чему-то тайному, неисследованному и высказывался об этом своим собственным способом» [Goethe 1948: 512].

О Гамане с большим уважением писал К.В.Ф. Шлегель (1772–1829) , сожалевший в 1813 г. о том, что до сих пор не издано собрание его сочинений. Для Шлегеля Гаман – «пожалуй, самый оригинальный, однако, без сомнения, один из наиболее глубоко мыслящих и ученейших писателей, которых подарил Германии восемнадцатый век» [Schlegel 1813: 37]. Однако Гаман, с точки зрения Шлегеля, остался недооцененным современниками: «Ведь известно же, что представляет собой поток немецкой литературы и его причуды; как там все легковесное плавает на поверхности, а лучшее и наиблагороднейшее легко забывается и затягивается в пучину общего бездумья» [Schlegel 1813: 37].

Особым вопросом можно считать отношения между Кантом и Гаманом. Столь же отдельной проблемой является степень непосредственного влияния Гамана на В. фон Гумбольдта (1767–1835). К моменту смерти Гамана Гумбольдту исполнился всего 21 год, лично он не был знаком с Гаманом, а с его взглядами познакомился, благодаря трудам Гердера, прежде всего, – в его работе о происхождении языка, которую знал и использовал для своих уроков его домашний учитель Энгельс. Личное знакомство Гумбольдта с Гердером состоялось, очевидно, при посещении им Веймера в 1789 г., на следующий год после кончины Гамана. Впрочем, имена Гамана и Гердера встречаются уже в ранних трудах Гумбольдта, что свидетельствует о явной самостоятельности Гумбольдта в его «метакритике».

Усилия по изданию работ Гамана предпринимались еще при его жизни, а увенчались впервые успехом в 1821 г., когда по инициативе его друга Ф.Г. Якоби (1743–1819) в Мюнхене началась публикация трудов Гамана под редакцией Рота, завершившаяся изданием восьми томов [Roth 1821–1843]. Это собрание побудило Гегеля написать довольно подробную, но не во всем выдержанную характеристику Гамана в 1828 г., вы-

звавшую протесты даже в рядах учеников самого Гегеля. Но и после этой полемики продолжали публиковаться весьма разные мнения о деятельности и личности Гамана, в частности, показательны уничижительная характеристика Гамана в четвертой части «Истории немецкой поэтической национальной литературы» Г.Г. Гервинуса [Gervinus 1840] и очень обширная биография (а по тону – апология) Гамана в шести томах К.Г. Гильдемайстера [Gildemeister 1857–1873] с приведением множества цитат из его трудов и переписки. В 1887 г. в Берлине были опубликованы письма Гердера к Гаману; это положило начало изучению обширной переписки Гамана с современниками.

С конца XIX в. по 1930-е гг. довольно часто выходили небольшие сборники работ Гамана. В 1936 г. было начато издание избранных трудов Гамана с предисловием к одному из томов самого В. Дильтея [Dilthey 1936]. Й. Надлер издает в 1949–1957 гг. шеститомник избранных трудов Гамана [Nadler 1949–1957]. В 1956–1963 гг. увидел свет семитомник основных работ Гамана с комментариями известных исследователей его творчества Ф. Бланке и Л. Шрайнера [Blanke, Schreiner 1956–1963]. Издавались и отдельные работы Гамана с комментариями.

Издательской деятельности не уступает по уровню и объему традиция исследований творчества Гамана, сложившаяся поначалу в Германии и обхватывающая в настоящее время не только европейские страны, но и США и Японию [Аликаева 2009].

В отечественной науке первым автором, посвятившим свои размышления религиозной философии Гамана, был В.А. Кожевников [Кожевников 1897; см. также Michailov 1992]. В современной науке о языке к Гаману в контексте европейской лингвофилософской парадигмы XVIII века обращались В.Н. Брюшинкин [Bryuschinkin 1992] и О.А. Радченко [Радченко 1997]. Впоследствии большой вклад в изучение творчества Гамана внес В.Х. Гильманов, посвятивший свою диссертацию герменевтике как основному принципу научного творчества Гамана (см., например [Гильманов 1996]), издавший, в том числе, переводы некоторых работ Гамана на русский язык. Проблема отношения Гамана к чувственности его эпохи отражена в работах А.Н. Макарова [Макаров 2004].

С начала двадцатого столетия, как отмечает Й. Каванаго, известный японский исследователь творчества Гамана, «прежде всего бросается в глаза то, что Гаману длительное время приписывали предикаты “вдохновитель”, “пророк” или “проложивший дорогу”» [Kawanago 1993/1994: 46]. Многочисленные монографии нового столетия, статьи, в том числе – на японском, итальянском, русском, испанском и других языках – и рецензии, переиздания его трудов, проходящие с 1976 г. международные коллоквиумы в его честь (десятый состоится в сентябре 2010 г. в Галле, ФРГ) свидетельствуют о том, что последнее слово в метакритическом осмыслении духовного наследия Гамана еще далеко не сказано. Тем не менее, и персоналия Й.Г. Гамана, и сложность и неоднозначность интерпретации его идей, и обширная палитра взглядов на самые разные обстоятельства жизни человека и влияния языка на все сферы человеческой духовности обусловливают непрекращающийся интерес к нему в философии языка нового тысячелетия и требуют продолжения научного поиска в этой весьма непростой области, чрезвычайно существенной для лингвоисториографии, философии языка, всего теоретического языкознания.

Основными областями интересов Гамана были язык, познание и самопознание, природа человеческой личности, отношение человечества к Богу. Поводом для размышлений на ту или иную тему для Гамана часто становились публикации современников, на которые он давал едкие, иной раз пародийные рецензии. В них он обыгрывал терминологию и сам стиль изложения рецензируемого автора и насыщал их тонкими аллюзиями, намеками, риторическими фигурами. Свои работы Гаман нередко подписывал разнообразными, весьма вычурными псевдонимами: Сократ, Аристобул, Провинциал, Швабский священник, Абеляр Вирбиус, Рыцарь Розенкрейцер, Адельгунда, Сивилла, Северный Волхв, Экс-Мандарин Мьен-Ма-Гоам и др. Эти псевдонимы позволяли ему, очевидно, еще более успешно пародировать аргументы своих оппонентов и доводить их до нужного Гаману абсурда. Возможно, тем самым Гаман пытался также

соответствовать вкусам и моде той эпохи, в которой тайны, секретные ордена, опыты Калиостро, загадки месмеризма были объектом крайнего общественного интереса. В заголовках трудов Гамана неслучайно мелькают самые разные сюжетные параллели, взятые им из античной классики, иудаистской литературы, сказаний, либо придуманные им.

В научной литературе можно встретить суждение, что для Гамана каждая публикация представляла собой ристалище, на котором он состязался с читателем, испытывая глубину его интуиции. Такая позиция была избрана Гаманом заведомо и осознанно, поскольку, как он полагал, «писатель, который спешит быть понятым ныне или завтра, рискует быть неверно понятым послезавтра». Именно Гамана можно считать создателем термина «метакритика», который отражает весь стиль его размышлений с опорой на мнение оппонента (во всяком случае, Гердер, которому иногда приписывают авторство этого термина, использовал его впервые в 1799 г., между тем как в манускриптах Гамана он фигурирует как минимум на двадцать лет раньше). Метакритика Гамана сочетала основательную герменевтическую критику (в частности, рационалистических позиций Просвещения) с самокритикой. Отталкиваясь от характерного для XVIII в. противопоставления чувства и разума, Гаман сравнивает первый – с желудком, а второй – с кровяными сосудами, настаивая на их взаимозависимости. Это определяет особое место, которое пристало Гаману в истории философии языка и лингвистики XVIII в.: не быть ни материалистом, ни позитивистом, ни эмпириком, ни идеалистом, ни рационалистом. Единство разума и чувств выступает у Гамана как communicatio idiomatum. Этот термин, который в христианской теологии означал способ соединения божественного и человеческого в Христе, Гаман сопоставляет с «обыденным языком».

Важное качество, отличающее стиль мышления и научного творчества Гамана, – это стремление объединить рассуждения о совершенно разных предметах в единый контекст, который, правда, трудно назвать системой взглядов. Гаман неоднократно подчеркивает калейдоскопичность человеческого мышления и знания, он настаивает на существовании массы противоположностей, противоречий в них, анализирует персонификацию («просопопею»), чтобы разобраться в них. Немаловажную очищающую роль должен играть в этом процессе язык, поскольку именно на нем основаны разум и философия, он способен примирить эстетическое и логическое начала человека. Язык выступает как посредник между Богом и человеком, он обладает «генеалогическим приоритетом» перед разумом и мышлением.

Что же касается ставшей уже общим местом «сложности интерпретации» Гамана, то наиболее точно объяснил ее И.В. фон Гёте (1749–1832): «Если невозможно присоединиться к его глубине, бродить с ним на его высоте, охватить те образы, которые витали у него перед глазами, извлечь смысл даже одной смутной цитаты из бесконечно обширной литературы, то вокруг нас становится еще более мрачно и темно, чем более мы его изучаем, и эта тьма с годами будет все более сгущаться, поскольку его намеки были преимущественно направлены на конкретные господствовавшие в тот момент в жизни и литературе особенности» [Goethe 1948: 515]. Даже то обстоятельство, что Гёте располагал рукописями с собственноручными глоссами Гамана с указанием на источники его цитат, никак не помогало понять до конца смысл его работ. И поэтому каждый раз, открывая «сивиллины листки» Гамана, Гёте полагал, что находит нечто новое, поскольку «присущий каждой цитате смысл многообразно трогает нас и волнует» [Goethe 1948: 515].

Об этом же писал Г.В.Ф. Гегель (1770–1831), который полагал, что труды Гамана не написаны в каком-то своеобразном стиле, а они и есть этот стиль [Hegel 1956: 221]. Более того, «во всем, что вышло из-под пера Гамана, эта личность столь пронзительна и столь превалирует, что читатель практически повсеместно обращает свой взор более на нее, чем на то, что следовало бы считать содержанием» [Hegel 1956: 221].

Однако не менее притягательной для исследователя представляется и сама личность Гамана как выдающегося немецкого философа языка, и это остается заметной темой в европейской лингвоисториографии на протяжении почти двухсот лет. Можно

вполне полагать, что интерес к этому ученому среди философов, лингвистов, теологов, литературоведов Германии практически не прерывался в течение всего периода после его кончины. Гамана причисляют к видным деятелям Контр-Просвещения, считают главным вдохновителем движения Бури и Натиска, лютеранином-пиетистом, другом и одновременно едким критиком Канта, автором зачастую провокационных памфлетов, изобиловавших остроумными замечаниями. Исследователи Гамана считают его жизнь одним из проявлений той таинственности, с которой всегда связывают его имя и творчество. Несмотря на то, что существует несколько довольно подробных жизнеописаний Гамана, а также на то, что сам он оставил автобиографические заметки об одном из периодов своей жизни, многие обстоятельства ее до сих пор неясны и продолжают волновать исследователей. Учитывая это обстоятельство, приходится ограничиться в нашем случае весьма кратким биографическим экскурсом.

Иоганн Георг Гаман родился 27 августа 1730 г. в Кёнигсберге. Он был первенцем в семье цирюльника и лекаря Иоганна Кристофа Гамана (1697–1766) и акушерки Марии (?) Магдалены Элизабет (урожденной Нуппенау, родом из Любека). Его дед по отцовской линии – Иоганн Кристоф Гаман (1638–1699), был священником в Лужице. У него, кроме отца Гамана, был еще старший сын – полный тезка Гамана – Иоганн Георг Гаман (1697–1733) – гамбургский юрист, учитель, литератор, автор духовных песнопений, поэтического лексикона и продолжатель «Азиатской ванизы» Циглера. Родители переехали в Кёнигсберг, практически не имея никаких средств, и приложили немало усилий, чтобы купить домик с небольшим садом между ручьем Катцбах и рекой Преголей.

Отец постепенно приобрел репутацию искусного хирурга, хворавшая мать посвятила себя воспитанию сыновей, которое было довольно строгим. На обучение детей супруги тратили достаточно средств, однако в результате Гамана довольно бессистемно обучали греческому, латыни, французскому, итальянскому, музыке и рисованию. Эту бессистемность Гаман впоследствии считал причиной того, что он находится «в большом затруднении», когда пытается «упорядочить свои мысли устно и письменно и выразить их с легкостью» [Nadler 1949–1957, II: 14].

В конце концов, отец перевел Гамана в публичную гимназию, по окончании которой в 1746 г. Гаман записывается в Кёнигсбергский университет имени Альберта для изучения теологии, математики и философии (которой он учился у известного философа М. Кнутцена (1713–1751)). Этот период совпал с первыми годами распространения Просвещения, ростом интереса к французской литературе в германских государствах. Исключением была лишь Пруссия, которая, «кажется, пребывала в глубоком забытьи» (Гаман). Из этого состояния Гаман и его друзья попытались пробудить Кёнигсберг. Друзьями его в университете становятся Иоганн Кристоф Беренс (1729–1792) и Иоганн Готтхельф Линднер (1729–1776), с ними он с 1750 г. начинает издавать еженедельник «Дафна». Примерно в то же время он пишет первые подражательные стихи, которые позднее опубликует в «Крестовых походах одного филолога» [Roth 1821–1843, II: 319–328].

Гаман проявляет склонность к критическому анализу научных работ, определившему впоследствии все его творчество, и пишет на латыни краткую рецензию магистерской диссертации одного из своих друзей. Как отмечает Гаман, именно эта склонность к критике, наряду с интересом к древностям, «отвратили меня от всех серьезных наук: с тех пор меня влекло к так называемым прекрасным и изящным наукам, поэзии, романам, филологии, французским писателям и их дару сочинять, рисовать, изображать и привлекать силу своего воображения» [Nadler 1949–1957, II: 21]. Это объясняет, почему Гаман, бросив изучение теологии и перейдя на юридический факультет, в гораздо большей степени интересуется филологией, языками, математикой и естественными науками.

Не окончив университет, Гаман некоторое время живет в достаточно стесненных условиях в доме отца, что только усиливает его желание путешествовать – желание, которое можно считать визитной карточкой XVIII в. Стремление путешествовать и обо-

гащать свои знания, ощущения, знакомиться с известными мыслителями, интересными и выдающимися персонами определяли образ жизни весьма многих молодых людей в Германии того времени и первой половины XIX столетия. Вторым важным мотивом дальнейшей судьбы Гамана можно, вслед за Дильтеем, считать «сильнейший педагогический порыв», не оставлявший Гамана всю его жизнь. А третьим – желание свободы и возможность «быть хозяином своих денег» [Nadler 1949–1957, II: 21].

С 1752 по 1756 гг. он трудится в качестве домашнего воспитателя в двух богатых семействах, используя это время для чтения трудов по философии и экономике, английской и французской литературы, трудов Б. Спинозы (1632–1677) и Д. Локка (1632–1704). Именно в этот период он приобретает свои поистине энциклопедические познания, выписывает всевозможные библиографические справочники, научные энциклопедии, периодические издания с разнообразными рецензиями. По заказу Беренса он переводит с французского языка нашумевший трактат Дангеля по торговой политике, снабжая перевод собственными комментариями, касавшимися и взаимосвязи моральных предпосылок и этнического духа.

Этот перевод побуждает Беренса настойчиво предлагать Гаману место в его торговой фирме. В качестве первого поручения ему вверяется важная коммерческая миссия в Лондоне, куда он отправляется 1 октября 1756 г. По пути в Лондон Гаман делает множество остановок и приобретает весьма важных знакомых, в их числе – известного философа Моисея Мендельсона (1729–1786) и швейцарского математика, физика и философа Иоганна Георга Зульцера (1720–1779). Наконец, в апреле 1757 г. Гаман прибывает в Англию. Из автобиографии Гамана совершенно неясно, в чем заключалась его миссия, однако она окончилась полным провалом. Тем не менее, Гаман остается в Лондоне и, ведя довольно беззаботную жизнь, тратит все порученные ему средства. Единственное занятие, доступное ему в этот момент, – чтение, и именно в лондонский период Гаман заинтересовался философией Д. Юма, английской физикотеологией, учением о деизме и его критикой, с восторгом читал теологические работы Р. Бойля. Гаман ищет в его мыслях доказательство того, что между Библией и природой существует лишь различие в степени истинности, но в целом Библия воспринимается им не как сборник преданий, а как подлинная история создания мира.

Он перечитывает несколько раз Библию, анализирует и пропускает через себя, свой жизненный опыт, содержание ее как «божественную риторику» (rhetorica sacra), а самого Господа он называет в этой связи писателем. Это производит решительный поворот в жизни Гамана в сторону христианства, который в значительной степени отражен в его манускриптах того периода: «Библейских наблюдениях одного христианина», начатых 19 марта 1758 г., «Мыслях о моей биографии» (начаты 21 апреля 1758 г.) и «Крохах» (начаты 16 мая 1758 г.).

Он возвращается в своих библейских рассуждениях к пиетистским традициям своей семьи, глубоко переживает описанные в Библии события и ситуации. Одним из важных понятий в его размышлениях становится «нисхождение» Господа (Herunterlassung): каждое явление действительности Гаман воспринимает как акт низведения Господом себя до уровня человека (на примере событий, связанных с жизнью Христа).

Получив от отца средства для возвращения домой, в июне 1758 г. Гаман не без приключений покидает Лондон, приезжает в Ригу, а затем возвращается в Кёнигсберг. В доме отца Гаман продолжает изучение Библии, трудов Мартина Лютера, мировой литературы, занимается писательским трудом. Однако с этого момента наступает период разобщения с друзьями. Летом 1759 г. Беренс приезжает в Кёнигсберг, стремясь вернуть Гамана в лагерь сторонников Просвещения. В союзники для этого он привлекает самого И. Канта, и вдвоем они посещают Гамана, вызывая у него в ответ только возмущение тем, насколько его друзья не понимают его состояния и образа мыслей. В качестве ответа на эти попытки Гаман публикует свою первую серьезную работу – «Сократические достопримечательности» (1759 г.), по форме – письмо-посвящение Канту и Беренсу с апологией собственного созерцательного бытия.

Фигура Сократа избирается Гаманом не случайно – именно Сократ как символ рационального скептицизма был в то время героем просветительской интеллигенции. Для Гамана же Сократ – фигура пророка, предшественника Христа, жизнь и идеи Сократа он соединяет в этой связи с христианством. Он проводит аналогию между Сократом и Иисусом, Св. Павлом и самим собой.

С этого момента и до 1762 г. он издает целый ряд небольших по объему, но чрезвычайно важных работ, в том числе – «Краткий очерк эстетики». В 1762 г. некоторые из этих работ публикуются в сборнике «Крестовые походы одного филолога», а затем в свет выходят «Писатель и художественный критик» и «Читатель и художественный критик», в которых Гаман производит метакритический анализ работ, вышедших в Германии на волне критики «Новой Элоизы» Ж.Ж. Руссо (1712–1778). Он исследует и лингвистические проблемы (в частности, происхождение языка) в «Опыте об академическом вопросе» и «Смешанных замечаниях о соединении слов во французском языке».

Гаман сотрудничает с кёнигсбергскими газетами, публикует критические заметки, которые начиная с 1758 г. принесли ему славу и имя и обратили на него внимание философов и интеллектуалов в Берлине, Веймере, в Швейцарии, создали основу для его связи с Г.Э. Лессингом (1729–1781) и Ф.Г. Клопштоком (1724–1803). Он изучает древнегреческий, древнееврейский и арабский, труды Мартина Лютера (1483–1546) и Иоганна Альбрехта Бенгеля (1687–1752), известного протестантского философа-пиетиста. Одновременно он активно вовлекается в современные ему литературные и философские дискуссии, публикуя полемические работы, в частности, рецензию на труд М. Мендельсона, метакритику крайне критично настроенных рецензентов своих работ («Облака»). В 1761 г. он вступает в полемику между представителями различных партий в Просвещении, обрушиваясь (особенно в «Моисеевых эссе», написанных по-французски) на короля Фридриха Второго, Вольтера и сторонников французских энциклопедистов в Германии за подражание чужим философским и политическим образцам. Гаман редактирует первые тридцать выпусков «Кёнигсбергской ученой и политической газеты» (1764–1767), затем вплоть до 1780 г. пишет отдельные рецензии и статьи для нее [Roth 1821–1843, VII: 92].

В тот же период завязывается и его дружба с И.Г. Гердером, которому Гаман дает частные уроки английского языка и литературы. Однако отношения между ними складывались довольно неровно.

Нуждаясь в каком-либо источнике для существования, в 1767 г. благодаря ходатайствам Канта Гаман получает должность переводчика в прусском таможенном управлении. Он становится, таким образом, государственным служащим Фридриха Великого, к личности которого он не испытывает никаких симпатий. Однако финансовое положение Гамана было практически постоянно крайне отчаянным.

Расстроившиеся было в результате философских и литературных расхождений отношения с Гердером налаживаются в 1772 г. В этот период он вообще наиболее активно отвечает на публикации Гердера: в ответ на конкурсное сочинение Гердера «Об истоках языка» Гаман публикует «Последнее волеизъявление Рыцаря Розенкрейцера по поводу божественного и человеческого происхождения языка» с дополнением «Прусскому Соломону» (это привлекло ко всей работе внимание цензуры в связи с намеками на Фридриха Второго), а после выхода гердерова «Древнейшего свидетельства рода человеческого» он пишет рецензию на нее. Рассуждения Гердера в его сочинении о происхождении языка Гаман рассматривает как инсценировку, как «действо в театральном разуме». Этому действу Гаман противопоставляет свое видение процесса создания языка как проявления аналогии между божественным и человеческим началом.

В 1777 г. Гаман получает повышение – должность заведующего городским пакгаузом. Эта должность была ему весьма по сердцу, так как он мог сидеть в своей «ложе» или своем «телонии», как он именовал свою контору, и предаваться чтению. В этот момент близки к нему поэт и журналист Матиас Клаудиус (1740–1815) и швейцарский поэт Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801). Однако в целом влияние Гамана на духов-

ную ситуацию в Германии сходит на нет в течение 1770-х гг. Тем не менее, именно в это время Гаман пишет ряд важных трудов по философии языка, в частности, «Апологию буквы Н» (особенно ценимую Кантом).

В 1782 г. он получает письмо от Фридриха Генриха Якоби (1743–1819), что стало началом весьма оживленной шестилетней переписки, в которой Гаман высказал весьма важные философские и теологические идеи. Практически одновременно Гаману пишет молодой почитатель его работ Франц Каспар Буххольц из Вестфалии, пригласивший его погостить в Мюнстер. Гаман устанавливает контакты с мюнстерским католическим кружком Франца фон Фюрстенберга (1729–1810) и княгини Амалии Голицыной (1748–1806). Он публикует «Обнажение и преображение. Открытое письмо известному Никому», тесно связанное по содержанию с «Голгофой». Считая себя своего рода целителем философии, в конце жизни Гаман собирался опубликовать собрание своих сочинений под названием «Целебные водные процедуры», одновременно намекая на профессию своего отца, а каждый том должен был носить название «Лохань». Но этот проект так и не был реализован.

Как только Гаман завершает «Открытое письмо», по настоянию своих новых друзей, приглашавших его приехать в Мюнстер, он выходит на пенсию и в июне 1787 г. отправляется со своим сыном Михаэлем и другом, и лечащим врачом Линднером в давно запланированное путешествие в Вестфалию. Однако пребывание в Вестфалии оказалось губительным для его здоровья, и Гаман, невзирая на уговоры врачей, решает вернуться в Кёнигсберг. 21 июня 1788 г. в намеченный день отъезда он умирает.

Удивительная и полная событий биография «Северного мага» Й.Г. Гамана – чрезвычайно оригинального и парадоксального мыслителя – позволяет представить себе масштаб этой удивительной личности, которая притягивала к себе множество ярких и талантливых современников. Знание деталей жизни, восстановление как можно более точного портрета И.Й. Гамана должны стать первым шагом к постижению особенностей лингвофилософской концепции этого замечательного ученого.

Для понимания полемики Гамана со сторонниками Просвещения крайне важна дихотомия «человека во Христе» и «естественного человека» (просвещенца), поскольку только религия способна, по мысли Гамана, раскрыть человеку ценность его души, причину и бесконечность того счастья, которое ожидает его по ту сторону бытия. Христианство является собственно предметом большинства работ Гамана и составляет основу подтекста остальных. Можно считать эту особенность генеральной чертой всего научного наследия Гамана. Понимание языка как таинственного моста между божественным и бесконечно далеким от него человеческим можно считать лейтмотивом рассуждений Гамана. Господь общается с человеком великими символами природы, истории, человек же выражает свою чувственную жизнь символами языка. Язык представляется Гаману как communicatio idiomatum духовного и материального, как посредник между созерцанием и понятием, звуком и мыслью, субъектом и внешним миром, между индивидуальным и совокупным духом.

Проблема взаимовлияния языка и разума является для Гамана отражением фундаментальной особенности человеческого познания: связи и отношения между способностью нашей души к познанию (Erkenntnisvermögen) и способности тела к выражению (Bezeichnungsvermögen). Проблема влияния языка на мышление подробно освещена Гаманом в его «Опыте Аристобула об академическом вопросе» (1760), а также – в «Химерных идеях Абеляра Вирбия о десятой части писем касательно новейшей литературы» (1761).

Эти работы навеяны конкурсным сочинением гёттингенского ориенталиста и теолога Иоганна Давида Михаэлиса (1717–1791) на тему, заданную Прусской королевской академией наук и литературы в 1759 году: «Каково взаимное влияние языка на мнения и мнений на язык?» Результат этого конкурса (шесть лучших сочинений) был опубликован и вызвал критическую отповедь Гамана, прежде всего, считавшего главным недостатком конкурса неясность в трактовке термина «влияние» (Einfluss). Столь же неоднозначными он считает и термин «Meinung» (opinion), который «то отожде-

ствляется с истиной, то противопоставляется ей», и термин «Sprache», который вообще «имеет весьма много смыслов» [Simon 1967: 89]. Тем самым Гаман фиксирует основной недостаток задания: его можно понять совершенно по-разному, интерпретировать множеством способов. Однако эта проблема для него есть лишь отражение фундаментальной особенности (читай: ограниченности) человеческого познания: «Связь и отношение между способностью нашей души к познанию и способностью тела к выражению – это достаточно распространенное наблюдение, о характере и границах которого, однако, написано еще мало. Поэтому между всеми языками человеческими обязательно существуют сходства, основанные на гомоморфности нашей натуры, и сходства, необходимые в малых сферах общества» [Simon 1967: 89–90]. Здесь Гаман вводит важную терминологическую пару и образ языка как тела души, которые будут определять его рассуждения вплоть до «Метакритики». Кроме того, в данном различении Гаман впервые акцентирует внимание философии языка на том факте, что «сходства» между языками затмевают различия между ними; более того, «сходства, необходимые в малых сферах общества», на самом деле фиксируют границы внутри одного языка, существующие между различными группами («сектами», как говорит Гаман) и определяющиеся их жаргонами и другими субъязыками. Он ставит в этой связи задачу изучать не только язык «народа» или его «общества, секты», но и язык конкретного человека, сравнивать «несколько языков и один единственный в различном сочетании времени, места и предмета» [Simon 1967: 90]. Это изучение поставляет исследователю «океан наблюдений».

Гаман подробно анализирует термин «влияние», который воспринимался бы последователями Лейбница как «гармония», а «академистами» вообще не воспринимался бы как научный термин, ибо они не торопились бы извлекать вывод о взаимовлиянии вещей из их простой связи друг с другом. Гаману же термин этот нравился в прямом его смысле, даже, несмотря на то, что «единый язык более чем часто имеет место при противоположных мнениях и наоборот». Ему импонирует именно семантика воздействия, которая иллюстрируется им на примере автора, способного по воле «счастливого случая» своим «негласным влиянием» изменить мнения и язык сначала «ученого цеха», а затем – и большинства [Simon 1967: 90]. Тем самым Гаман определяет «влияние» как взаимное воздействие знака и значения, чувственного слова и смысла, а не взаимовлияние языка как чего-то внешнего и мысли.

Язык, с точки зрения Гамана, является выражением духовного состояния народа и его истории. Основные черты языка конкретного этноса корреспондируют с направлением его образа мышления (Denkungsart), проявляющегося в природе, форме, законах и обычаях его речи. Особенности конкретного языка он суммирует термином «гений конкретного языка» (Genius einer Sprache). О гении немецкого языка он рассуждает в целом ряде работ, среди которых – «Пестрые замечания о сочетании слов во французском языке, смешанные с патриотической свободой, писанные высокоученейшим немецким французом» (1761), «Новая апология буквы *h*, или чрезвычайные наблюдения об орфографии немецкого языка Х.Г. Учителя» (1773), «Сомнения и озарения касательно одного сообщения “Всеобщей немецкой библиотеки” кузену Набалу» (1776), «Две лепты к новейшей немецкой литературе» (1780).

«Пестрые замечания» открываются ставшей уже классической аналогией: Гаман сравнивает язык с деньгами, ибо «деньги и язык суть два предмета, исследование коих столь глубоко и абстрактно, сколь применение их всеобще. Оба находятся в более близком сродстве, чем можно было бы предположить. Теория одного объясняет теорию другого; они кажутся поэтому проистекающими из сообщественных причин. Богатство всякого человеческого познания основано на обмене словами» [Simon 1967: 97]. Аналогия эта подкрепляется историческими примерами: в древности красноречие имело, по мнению Гамана, столь же большое значение для государственных дел, сколько финансовое дело – для ума и счастья во времена самого Гамана. Поэтому даже Юлий Цезарь счел бы необходимым стать искусным монетчиком, будь он жив поныне, что соответствовало бы его стремлению быть искусным грамматиком в свое время.

Приводя этот пример, Гаман добавляет, правда, иронический комментарий касательно качества грамматических трудов Цезаря, явно уступающего качеству его походных записок, что позволяет перекинуть «методический мостик» и к современности, в которой «невежество ученых касательно глубин языка открывает двери бесконечному количеству злоупотреблений» [Там же: 98]. Примером подобных злоупотреблений он считает неверное преподавание латыни в школах, при котором намеренно игнорируется богатство инверсионных латинских конструкций, а школьникам прививается только прямой порядок слов.

Сопоставляя французский и немецкий языки, Гаман, конечно же, отдает пальму первенства своему родному, поскольку «немецкий язык по своей природе способен к таковым инверсиям более иных языков, и их смелость способствует росту репутации нашего поэтического слога» [Там же: 98]. Разбирая вариации одной и той же фразы *Он дал мне книгу*, Гаман совершенно точно описывает то, что лишь в двадцатом веке назовут тема-рематическим членением предложения, и отмечает, что инверсия «подчинена суждению разума и слуха». Большая гибкость немецкого синтаксиса объясняется Гаманом «свойствами грамматической этимологии», морфологической подвижностью частей речи (прежде всего, имен существительных и глаголов), между тем как французский язык обладает гораздо более скромной «этимологией языкового искусства» [Там же: 99]. Под последней он, очевидно, разумеет морфологическое богатство языков, многообразие флексий и категорий; французскому языку, к примеру, не свойственны многообразные падежные окончания (в конце девятнадцатого века сказали бы: французский язык более аналитичен).

То, что Гаман имеет в виду именно аналитизм (тему, исключительно актуальную ныне в грамматической теории), подчеркивает сравнение французских предлогов с идентичными по семантике английскими. И это сравнение служит основанием для желания Гамана подчеркнуть предпочтительность синтетизма, его большую пространственно-структурную гибкость и подвижность и, тем самым, большую пригодность для выражения самых разнообразных логических и эмоциональных нюансов. В то же время он полагает, что латинское склонение отразилось на французской грамматической системе «посредством неверного применения», а рассмотрение категории артикля французскими грамматистами он считает «поверхностным» [Simon 1967: 100]. Любопытно, что и аналитические конструкции (на примере артикля) он подвергает внимательному анализу, полагая, что «истинное использование артикля преимущественно логическое и служит для того, чтобы придать значению слова свое ограничение или особенное направление» [Там же: 101]. Французские же философы и грамматисты (Гаман приводит здесь П.Л. де Мопертюи (1698–1759) в качестве яркого примера) не сумели вникнуть в особую природу разделения имен на назывные и определительные (т.е. имена существительные и имена прилагательные и прочие определения), объясняющую причины того, что при определительных словах (Beiwörter) не может быть артикля. Учение о границе между этими двумя классами слов «заслуживало бы верхней строчки среди онтологических задач» [Там же: 101]. Проекции этих размышлений видятся в учении А. Марти (1847–1914) об аутосемантиках и синсемантиках, хотя Гаман здесь более точен.

Однако сравнения между языками, устанавливаемые Гаманом, не приводят его к более далеко идущим выводам о качествах этих языков и, тем более, к какой-либо пирамиде языков мира (как это будет довольно неудачно представлено гораздо позднее у В. фон Гумбольдта). Мысль о том, что всяческие «недостатки» языков следует объяснять состоянием науки о них, качеством научных исследований и рассуждений ученых мужей, еще раз появляется в конце работы. Здесь Гаман вновь прибегает к аналогии: Руссо, говоря о французской музыке, пытался в своем послании обосновать тезис о том, что фонетические свойства французского языка не позволили французскому народу внести какой-либо вклад в музыкальное искусство [Simon 1967: 103]. Мнение Гамана: «Недостатки, кои навешивают на языки, проистекают всегда из неумения конкретного автора или композитора выбирать свою материю и способ обращения с нею»

[Там же]. Нельзя судить о способности немецкого народа к музицированию, привлекая в качестве матери сравнения «церковную музыку наших колонистов». Нельзя судить о способности французского народа к созданию эпических произведений, опираясь на «песни из подворотни» [Там же].

Основное противоречие, устанавливаемое Гаманом, состоит между «чистотой языка» (Reinigkeit) и его богатством; стремление к «связанной правильности» приводит к потере языком своей силы и «мужественности» (Mannheit). Корень же этого противоречия видится в отсутствии должного количества ученых мужей, кои «безошибочно понимали бы, что в их родном языке чисто и благооформленно» [Simon 1967: 104]. И Гаману остается только изумляться тому обстоятельству, что в огромном Париже, где ежегодно должно было бы появляться сорок подобных ученых мужей, такой ученый является раз в столетия.

Исследование сущности родного языка Гаман раскрывает на конкретном примере. В своей работе «Новая апология буквы *h*» (1773 г.) он обращает свой критический взгляд на труды философа и теолога Кристана Тобиаса Дамма (1699–1778). Одной из идей Дамма была реформа немецкой орфографии во избавление от ненужных графем, в частности, от непроизносимой в середине и в конце слов буквы *h*, использование которой «следует отменить как бесполезную, необоснованную, представляющуюся в глазах всех иностранцев варварскую и оскорбляющую нашу нацию привычку» [Mann 1937: 337]. Дамм делает, правда, еще более далеко идущие выводы относительно тех, кто, невзирая ни на что, продолжает «рабски» использовать эту букву: означенные лица «охотно изменяют и несправедливы также и к великим откровениям и тайнам всеобщей, здравой и практической человеческой религии» [Там же].

Критикуя Дамма, Гаман демонстрирует причину подобного стремления: Дамм исходит из идеала «упорядоченного» разума, свободного от предрассудков. Гаман же рассматривает язык как живой организм, сочетающий в себе логичное и алогичное, чувственное и рациональное. Он отстаивает этот статус языка, не подлежащий диктату рационалистов от философии, полагая, что проект Дамма и сходные с ним идеи Просвещения вполне соответствуют «духу своего просвещенного столетия» [Mann 1937: 349].

Рассматривая аргументы Дамма, Гаман вначале касается непроизносимости согласного *h* в середине и конце слова. Следуя логике «здравого смысла», Гаман признает правоту автора лишь в том, что исключение непроизносимых букв облегчило бы детям освоение орфографии, но предлагает автору в таком случае провести еще несколько реформ: 1) упразднить удвоение согласных в конце слов (*ll*, *tt*, *ss*, *mm*, *nn*), произнести которые в обычной речи нет никакой возможности, заменив второй согласный в случае необходимости на *h* как знак аспирации [Mann 1937: 341]; 2) убрать и в работе самого автора все *h* в таких словах, как *ihr*, *ihn*, *thun*, *führ*, при этом Гаман выбирает такие случаи, которые в результате подобной реформы приведут к омографии личных местоимений, глаголов и предлогов; однако в результате подобной операции «судьбу нашего родного языка легко предугадать»: «Какие расколы! Какое вавилонское смешение языков! Какое смешение букв! Все многообразие диалектов и говоров и их шиболетов (типичных особенностей) пролилось бы на книги каждой провинции, и какая дамба (Damm – игра слов, где Гаман намекает на фамилию своего оппонента) смогла бы устоять против этого орфографического всемирного потопа?» [Mann 1937: 342]. Главным итогом такой реформы для самих сторонников Просвещения стало бы, как иронизирует Гаман, то обстоятельство, что «всякие общественные узы литературы, связующие народы Германии, через несколько лет прервались бы к огромному ущербу для истинной, всеобщей практической религии, ее распространения и обещанного ею мира» [Там же].

Относительно второго, более серьезного выпада в сторону пишущих все непроизносимые буквы, Гаман замечает противоречие в принципиальной позиции Дамма: если язык и орфография «основаны на использовании их разумными лицами всей нации», то непонятно, как могла сложиться подобная орфография до выхода работы Дамма?

Что же до иностранцев, которым немецкая орфография кажется «варварской», то Дамм имеет в виду, как подозревает Гаман, французов и англичан, у которых с орфографической простотой и логикой далеко не все в порядке [Mann 1937: 347].

Историю с этим орфографическим проектом Гаман вновь использует как трибуну для обличения «просвещенного столетия»: сторонники Просвещения поклоняются идолу разума, да так, что с ними ни в какое сравнение не идут «грубейшее язычество» и «самый оголтелый папизм». Для Гамана же «именно дух – это то, что наполняет жизнью; буква – это плоть, а ваши словари – сено» [Там же: 353].

Тема реформирования немецкой орфографии определяет и один из поздних трудов Гамана – «Две лепты к новейшей немецкой литературе» (1780). В первой лепте Гаман констатирует, что «любовь к отечеству естественным образом основана на его parties honteuses (забытых, заброшенных частях), я имею в виду родной язык (Muttersprache) и мать-церковь» [Roth 1824, VI: 25]. Эта взаимосвязь прослеживается им как невозможность разума без языка, религии без разума, а без всех них стали бы немыслимыми дух и узы общества. Поэтому Гаман призывает не слишком торопиться с «устранением явных ошибок» в языке. Свобода, стремящаяся всему неопределенному непременно придать некую определенность, а все ненужное и излишнее – отсечь, вырождается в механизм.

Гаман проводит параллели между «душевным настроем, который, согласно мнению многих, определяется положением тела», и «отличительными чертами языка», которые корреспондируют с направлением образа мыслей конкретного народа, так что «всякий народ проявляет оное посредством природы, формы, законов и обычаев своей речи в той же степени, в какой посредством внешнего образования и театральным действом общественных поступков» [Simon 1967: 90]. Правда, эту мысль не стоит воспринимать как немедленное признание идиоэтничности языков, поскольку Гаман сразу же поясняет, что он имеет в виду: «Ионический диалект сравнивали с манерой ионийцев одеваться, а строгость в соблюдении законов, которая так ослепляла иудеев в пору божественного искушения, бросается в глаза и в их языке» [Там же]. Гаман устанавливает тем самым излишне прямолинейную взаимосвязь между языком и этническим характером, полагая, что у любого проявления этноса есть некий общий источник. Этот источник – направление образа мышления (Richtung der Denkungsart) – объясняет, по мнению Гамана, причину богатства языковых средств в одной сфере и бедности в другой в рамках одного и того же языка, «всех проистекающих из такого неравного соотношения явлений, которые причисляются то к достоинствам, то к недостаткам» [Там же]. Ту же прямолинейность обнаруживали многие последователи В. фон Гумбольдта во второй половине девятнадцатого и первой половине двадцатого столетий (к примеру, М. Дойчбайн в оценке этнических особенностей англичан, выводимых из богатства лексикона в области обозначения денежных операций).

Описанные особенности конкретного языка он и обозначает термином «гений конкретного языка» (Genius einer Sprache), выступающим как его «натура» (Naturell). Существенно, что Гаман не причисляет к этой натуре грамматику и красноречие. Правда, объясняет он это обстоятельство весьма необычно: ссылаясь на неудачу «двух ученых» авторов грамматик (по-видимому, Готтшеда и Михаэлиса), которые оказались неспособны выявить «гений языка» из-за своих философских догм («философической миопии и филологического рыночного ора») [Simon 1967: 91]. Несколько ниже он, впрочем, отмечает еще одну особенность грамматики: ее искусственный характер и зависимость от конкретного автора, который «знает, как внушить своим слушателям правдоподобие тех или иных модных истин» [Там же: 93]. Это еще один пример влияния, которое может оказать «мнение» на язык.

Между тем Гамана занимает вопрос о том, чем объясняется особое «направление образа мышления» у различных народов, и он усматривает первую его причину в «чувственных впечатлениях и связанных с ними ощущениях» (как здесь не вспомнить «психологию народов», сложившуюся через сто лет после Гамана!). «Гармония чувственных инструментов» видится ему как «пружина человеческой речи», выступающей

здесь в образе особого часового механизма. Природа награждает языки и уста людей «незаметными для нас модификациями», подобно тому, как она одаряет их определенным цветом или разрезом глаз. Исключительно интересно то обстоятельство, что Гаман, как и гораздо позднее Штейнталь, прибегает в своих аргументах к языку глухонемых. Правда, этот пример помогает ему «пролить свет на природу древнейших языков». Значение языка здесь весьма велико, ибо «даже намек на звук достаточен для того, чтобы устанавливать самые искусные различия» [Simon 1967: 91]. Любопытно брошенное здесь же вскользь замечание Гамана о том, что животным язык не так был нужен потому, что их органы чувств были гораздо более развиты, чем у человека. Разнообразие в формирование языков могли внести более или менее сильная потребность в новых языковых средствах, различия в ритме и ударении.

Вторым фактором, формирующим своеобразие языка, Гаман считает «модные истины, предрассудки относительно внешней важности и репутации, циркулирующие в данном народе»; эти предрассудки составляют «искусственный и случайный образ мыслей оного и одновременно оказывают особое влияние на его язык» [Там же: 92]. Примерами таких предрассудков Гаман считает внешнюю важность математической учености и репутацию французских и английских писателей в Германии. Это позволяет Гаману фиксировать различия между двумя образами мышления, присущими народам: «неподвижным», «древнейшим», когда некий народ мыслит исключительно формально-логически, «математическим ученым образом», и «подвижным», «новейшим», когда некий народ порождает неологизмы и новые языковые фигуры или заимствует их. Счастьем для немецкого языка (и народа) полагает Гаман то, что обе эти «мании» находились в равновесии.

Третьим влияющим на язык фактором является для Гамана многоликость языка, охватывающего самые разные сферы от правописания до «шедевров поэтического искусства и тончайшей философии, вкуса и критики»; характер языка сказывается здесь на самых разных обстоятельствах – выборе слов, формировании речевых оборотов. Язык выступает в концепции Гамана не только как средство «сообщать наши мысли», но и как средство «понимать мысли других» [Там же: 93]. Этот последний момент имеет для него, очевидно, не менее важное значение, чем первый, поскольку он фиксирует важность и сложность интерпретации мыслей другого человека, которая, в силу критического характера всей философии Гамана, не может не быть фрагментарной. Однако главное заключается в том, что лишь из изучения обеих указанных проблем возможно, по его мысли, извлечь учение, способное объяснить явления взаимозависимости языка от его «меняющегося» использования.

Здесь Гаман придает своим рассуждениям политическое измерение, поскольку знание этого взаимоотношения он считает основой для законности и государственного управления. Язык в этом смысле воспринимается Гаманом и как откровение, чувственное выражение внутреннего устроения общества, и как явление, определяющее черты народа.

Проблема происхождения языка относится к третьей, весьма важной сфере интересов Гамана. Эту проблему поначалу косвенно затрагивают его литературоведческие труды: «Краткий очерк эстетики. Рапсодия в каббалистической прозе» (1762), «Писатель и художественный критик» (1762), «Малый опыт регистра о единственной букве Р» (1762), «Читатель и художественный критик по диспропорции в перспективе» (1762).

Гаман находит, что именно поэзия является праязыком рода человеческого подобно тому, как садоводство предшествовало земледелию, живопись – письму, пение – декламации, притчи – логическим заключениям, обмен – торговле. Важность и приоритет поэзии обоснованы приоритетом образности в мышлении древнего человека, так что «чувства и страсти говорят только образами (Bilder) и понимают только их» и «в образах заключено все богатство человеческого познания и довольства жизнью» [Simon 1967: 107]. Самый акт сотворения мира рисуется Гаману как акт не только порождения природы, но и «наслаждения природой», соединившихся в словах «Да будет

свет!». Господь, этот «историограф сотворения мира», был и первым субъектом образного мышления, так что Гаман даже говорит о «чувственном явлении его величия», увенчавшемся сотворением человека. Господь предстает тем самым не только как историк, но и как изысканный, талантливейший литератор, если только к нему приложимы эти описания.

Древняя поэзия наделяется Гаманом всеми атрибутами природы по аналогии с первым питанием (растительным), первым напитком (вином) и первой одеждой человека («рапсодией из фиговых листков»). Но она стала и реализацией желания Господа («Говори, дабы я узрел тебя»); сам акт творения стал «речью к творению посредством самого творения» [Simon 1967: 108]. В результате же человечеству достались «рассеянные члены творца», которые ученому следует собирать, философу – комментировать, а скромный удел поэта – «подражать им» [Там же].

Все описанные атрибуты речи, ее взаимосвязь с Промыслом творца объясняют, почему «говорить есть переводить с языка ангельского на язык человеческий», где язык ангельский, вышний – мыслительный, а язык человеческий – словесный. Говорить – значит переводить вещи в имена, образы в знаки, а знаки эти могут уже, в свою очередь, быть поэтическими или кириологическими, историческими либо символическими, иероглифическими; филологическими или характерными. То, что экстериоризованную речь Гаман считает лишь бледным подобием мыслительных процессов, становится понятным из его сравнения речевого процесса с «изнанкой обоев» или рассматриванием солнечного затмения через сосуд с водой [Simon 1967: 109].

На фоне этих рассуждений становится понятной реакция Гамана на выход в свет «Сочинения о происхождении языка» Й.Г. Гердера, которое являлось ответом на конкурсное задание Прусской академии наук и получило первую премию. Гаман отвечает на работу Гердера целой серией статей: «Две рецензии… касательно “Происхождения языка”» (1772), «Последнее волеизъявление рыцаря Розенкрейцера о божественном и человеческом происхождении языка. Переведено спешно с первоисточника с карикатурами приспешником иерофанта» (1772), «Филологические озарения и сомнения касательно конкурсного академического сочинения» (1772). В обсуждении этой проблемы наиболее отчетливо проявились контуры философии языка Й.Г. Гамана, повлиявшей в результате этой полемики на формирование взглядов В. фон Гумбольдта (как исторически первая версия идиоэтнизма) и – позднее – немецких романтиков.

По мнению Гамана, Гердер отнесся к своему заданию с «неповиновением», поскольку не выдвинул новой гипотезы в ответ на вопрос Академии: «Предположим, что люди полагались бы только на свои естественные способности, смогли бы они изобрести язык? И какими средствами они сами достигли бы такого изобретения?». Гаману, как и всем его современникам, был ясен контекст этого задания: Академия являлась основным «гнездом» Просвещения в Германии, ее деятельность контролировал сам король Фридрих Второй. По этой причине за невинной формулировкой частного случая в жизни человека на самом деле скрывалась гораздо более фундаментальная задача – доказать изобретение языка человеком в пику логосической теории.

В интерпретации Гердера и Гамана эта проблема звучит так: «Был ли первый, древнейший, исконный язык сообщен людям тем же способом, каким до сих пор происходит размножение языков» [Simon 1967: 132]. В этой связи Гердер лишь попытался устранить божественную гипотезу происхождения языка, которая, как он считал, «будучи рассмотренной со всех сторон, лишь затуманивала и позорила ум человеческий, и при этом давно» [Там же].

Гаман отвергает отправную точку Гердера – неспособность предыдущей традиции объяснить происхождение языка, исходя из возможностей человеческого разума, приведшую к появлению божественной гипотезы. Гердер же полагает, что он способен дать именно это объяснение. Он объясняет происхождение и развитие языка в тесной связи с человеческой душой, самим развитием человека, так что без развития языка род человеческий не способен был бы оставаться «природным родом» [Simon 1967: 130]. Более того, даже в Святом Писании (истории сотворения природы) Гердер усматривает

доказательство человеческого разума как источника языка (по крайней мере, названий животных). Гердер полагает также, что божественная гипотеза унижает Создателя, поскольку в языке слишком много «низменнейших, самых несовершенных антропоморфизмов»; напротив, человеческая гипотеза восхваляет мудрость Творца, сотворившего столь совершенную душу человека, что она оказалась способной создать язык. В этом смысле происхождение языка «становится достойным образом божественным, будучи человеческим» [Simon 1967: 130].

Но Гердер идет дальше простой констатации преимущества человеческого объяснения перед божественным: он указывает на то, что божественная гипотеза «ни на что не годна и крайне вредна», «разрушает человеческую душу, ничего не объясняет и делает все, психологию и науки, необъяснимым» [Там же]. Ведь если знания люди получили из рук Господа вместе с языком, то человеку не дано никогда эти знания постигнуть. Гердер отстаивает в этой связи человеческую гипотезу, приводя данные из области психологии, сведения о различных языках и социальной жизни. Гаману все эти доказательства кажутся фикцией, в которую ее создатель (Гердер), естественно, верит.

Задача Гамана же заключается в защите именно «высшей гипотезы», ее «индивидуальности, величия, мудрости, красоты, плодотворности и великолепия», и эта задача – отомстить за нападки на нее – кажется ему «самой желанной Дульсинеей» [Simon 1967: 131]. Отвечая Гердеру, Гаман полагает, что при ответе на вопрос конкурса следует ориентироваться на аналогию с существующими природными процессами, а не изобретать нечто небывалое. Значит, первый, самый древний и исконный язык не мог быть передан людям иначе, чем способом, существующим поныне. Ныне же, резюмирует Гаман, существуют лишь три способа: при помощи инстинкта, путем изобретения и посредством обучения. Опираясь на примеры детей с врожденной глухотой, детей, выросших в отдалении от общества, Гаман отвергает возможность создания языка на основе человеческого инстинкта или изобретения, ибо «изобретение и разум предполагают уже наличие языка и немыслимы без него, как искусство счета без цифр» [Там же: 133]. Остается лишь путь передачи языка путем обучения! Но со стороны кого? Гаман, конечно же, рассуждает об этом: «Человеческое обучение отпадает само собой; мистическое – двусмысленно, нефилософское – не эстетично и обладает 97 недостатками… Остается, таким образом, по необходимости и на доброе счастье не что иное, как обучение со стороны животных» [Там же: 134]. Принимая для видимости сторону этого объяснения происхождения языка, Гаман иронизирует над таким вариантом «обучения», вопрошая: «Не стоит ли нам разве возблагодарить скептицизм хитрого животного за ростки всякого познания добра и зла, даже за само философское древо энциклопедии?» [Там же]. Оставляя «ключ от загадки пока при себе», Гаман не видит смысла в том, чтобы «сравнивать физиогномии человеческих языков с голосами животных для определения происхождения живых языков». Окончательный вывод Гамана, совершенно развенчивающего в рецензии своего «земляка печального образа»: «Вышний мир превосходит всякий разум» [Simon 1967: 136].

В работе «Последнее волеизъявление рыцаря Розенкрейцера о божественном и человеческом происхождении языка. Переведено спешно с первоисточника с карикатурами приспешником иерофанта» (1772) Гаман продолжает свои размышления о проблеме происхождения языка логическими рассуждениями, отталкиваясь от своего основного тезиса: «Если предпосылкой является то, что Бог есть источник всех воздействий в большом и малом, как на небе, так и на земле, то каждый сочтенный волосок на нашей голове … божественен… Дух моисеевых законов простирается поэтому далеко за пределы отвратительнейших выделений человеческого трупа. Следовательно, все божественно» [Simon 1967: 139]. Однако же, «все божественное в то же время и человечно», так что человек «не способен ни творить, ни страдать иначе, как по аналогии своей природы»; эту тесную взаимосвязь Бога и человека Гаман называет «communicatio божественного и человеческого idiomatum». Эта взаимосвязь рассматривается Гаманом как «основной закон и главный ключ ко всякому нашему познанию» [Там же]; тем самым Гаман подхватывает брошенную в рецензии на труд Гердера фразу об «оставленном

пока при себе ключе» и поясняет свою принципиальную позицию по вопросу о происхождении языка.

Эту позицию он разъясняет еще более конкретно во втором абзаце своего «Волеизъявления»: «Поскольку языковые инструменты являются, по меньшей мере, подарком матери-природы… и поскольку в соответствии с высшей философской вероятностью Создатель этих искусных (künstlichen) механизмов желал и должен был желать также их использования, то и происхождение языка является божественным» [Там же]. Однако любое влияние высшего существа посредством нашего языка не может не осуществляться по аналогии с человеческой природой, что означает, что «происхождение языка и в еще меньшей степени его развитие не могут быть какими-то иными, кроме человеческих» [Там же]. В этой теснейшей связи заключается отличие точки зрения Гамана от мнения сторонников Просвещения, желавших исключить один из компонентов познания (божественный) и придать другому (человеческому) исключительный характер. Одновременно в этом же отличие и точки зрения Гамана от сходной, на первый взгляд, с его мнением позиции Гердера, стремившегося «возвысить» божественное начало, ограничив его вклад в человеческую жизнь актом творения тела и души, а развитие собственно духовного в человеке отнести к сфере действия одного только разума. Гаман усматривает в Создателе не «гончара пластических форм», а «отца огненных умов и дышащих сил» [Simon 1967: 140].

Гаман подхватывает также мысль одного итальянского естествоиспытателя о том, что прямохождение на двух ногах не есть результат инстинкта человека, а унаследовано и носит искусственный характер. Такую же характеристику Гаман дает и процессу принятия пищи и питью, ибо дети, независимо от их происхождения и достатка их семей, не научились бы есть ложкой самостоятельно, если бы «их няньки и матери не мазали бы им кашей вокруг ртов и не ожидали бы действия известного всем секрета пищеварения» [Simon 1967: 141]. Гаман обращает и в целом внимание философов на то, что не существует никакой физической связи между причиной и следствием, средством и намерением; эта связь «духовная и театральная». Так, человек не способен научиться рисовать кистью, не пройдя какого-либо обучения.

Перечисленные Гаманом примеры призваны убедить читателя в том, нельзя «рассматривать язык, это искусство проворное, непостоянное, демоническое (как писал Монтень вслед за Платоном), как самостоятельное изобретение человеческого искусства и мудрости» [Там же: 143]. Однако он не желает далее «пускаться в рукопашную с выдумками» рационалистов, поскольку они являются результатом «затмения в зрачке sensus communis». Он обращается к ситуации, в которой оказались первые люди. Господь создавал и этих людей, и все вокруг них своим словом, поэтому «каждое явление природы было словом – знаком, образом и залогом нового, тайного, невысказываемого, но тем более тесного объединения, сообщения и сообщества (Gemeinschaft) божественной энергии и идей. Все, что слышал человек в самом начале, видел своими глазами, ощупывал своими руками, было живым словом; ибо Бог был этим словом» [Там же: 144]. Такая предпосылка превращала источник языка в легкое, простое и естественное явление.

Проблема взаимосвязи и отличия человека и животного потребовала, очевидно, своего более детального рассмотрения, поэтому в том же году Гаман создает «Филологические озарения и сомнения касательно конкурсного академического сочинения» (1772). Здесь Гаман определяет отличия человека от животного, полагая, что механизмы человеческой жизни суть иная степень общего с животными механизма, а стиль жизни – и есть основной отличительный признак человека. Со ссылкой на Аристотеля Гаман заключает, что «истинный характер нашей натуры заключается в судебном и властительном достоинстве политического зверя» [Там же: 149]. Это достоинство не является, однако, каким-то преимуществом или заслугой человека, поскольку дано ему Господом. Данность всего свыше объясняет, почему Гаман неоднократно подчеркивает тот факт, что не инстинкт и не разум (sensus communis) являются определяющими началами человека.

Тем не менее, Гаман подчеркивает существенную важность свободы – свободы быть злым или добрым, определяющей в конечном итоге самое познание добра и зла. Без свободы невозможно подражание, на котором основаны обучение и изобретение, его сознание, внимание, способность к абстракции, поскольку «человек есть от природы величайший пантомим среди всех животных» [Simon 1967: 150]. Свобода отличает в результате человека, охватывающего всеобщее и бесконечное в своем кругозоре, от животного, все силы и порывы которого определяются инстинктом и носят поэтому индивидуальный и ограниченный характер. Процесс познания рисуется Гаману как взаимодействие чувств и разума: «Предположительно, чувства относятся к разуму как желудок к сосудам, кои выделяют из крови тонкие и высокие соки, без круговорота и влияния которых сам желудок не смог бы управлять своим ведомством. Таким образом, нет ничего такого в нашем разуме, что до этого не побывало бы в наших чувствах... Stamina и menstrua нашего разума суть посему в собственном смысле откровения и передаваемые знания (Überlieferungen), которые мы перенимаем в наше владение, превращаем в наши соки и силы и тем самым становимся достойными нашего предназначения – частью поведать миру, частью передать далее критическое и архонтское достоинство политического зверя» [Там же: 151]. Рождающийся на свет человек включается в процесс познания, будучи «пустым сосудом», но «именно этот недостаток делает его тем способнее к восприятию природы посредством опыта и к сообществу своего рода посредством передаваемых знаний» [Там же: 152]. Гаман настаивает на терминологической паре – откровение (Offenbarung), т. е. чувственное восприятие окружающего мира, и передача знания (Überlieferung), которую он еще описывает и как «человеческие свидетельства». Отношения между этими двумя началами, «внутренним» и «внешним» человеком, телом и душой, отличает «таинство брака», единение. Человек учится использовать эти свои стороны потому, что он «может, вынужден и так любит учиться» [Там же: 153].

Гаман экстраполирует это объяснение и на проблему происхождения языка: «Истоки языка столь же естественны и человечны, сколь и истоки всех наших действий, навыков и искусств. Но, несмотря на тот факт, что каждый ученик участвует в процессе своего обучения по мере своих склонностей, способностей и возможностей, учение в собственном смысле столь же мало представляет собой изобретение, сколь и простое возвращение в память» [Simon 1967: 153]. Тем самым Гаман пытается вновь «воскурить критические смолы против модного духа» своего столетия.

Он вновь анализирует доводы и мотивы Й.Г. Гердера, «платонического апологета человеческого происхождения языка», находя их «на деле более сверхестественными, священными и поэтичными», чем история Сотворения мира. Против «платонического доказательства человеческих истоков языка» Гаман выдвигает, однако, определенные сомнения.

Так, Гердер полагает, что недостаток силы и животных инстинктов компенсируется у человека именно языком, точнее, способностью к специфической для рода человеческого направленности сил и их «умеренного использования» исключительно для достижения основной цели – «осмысленностью» (Besonnenheit). Она, по мнению Гердера, способна обеспечить человеку большее пространство для его позитивной силы, более тонкую организацию и большую свободу. Гаман усматривает противоречие между тем, что осмысленность, которая по определению присуща человеческой натуре, позволила ему изобрести язык в тот момент, когда впервые в нем свободно проявилась. Значит, человек проходит своего рода стадии в своем развитии – до первого проявления «осмысленности» и после него. Гаман полагает, что тем самым Гердер пытается доказать сразу две противоположные идеи: то, что человек не есть животное, и то, что он все же животное. Такой «неоплатонический» человек «может и должен» изобрести язык, поскольку «животное не может» этого, а Бог «не имеет права» [Simon 1967: 155].

«Позитивная часть» платонического доказательства (человек – есть все же животное) означает, что человек думаст и говорит под действием инстинкта, что «поло-

жительная способность думать, говорить врождена ему и является непосредственно природной», что стоит поместить человека, «протопласта языка», в присущее ему и так состояние «осмысленности», чтобы изобрести то, что ему и так присуще [Там же: 157].

Об особой роли языка в познании Гаман рассуждает в своей «отложенной» полемике с И. Кантом – его «Метакритика о пуризме разума» (1784) увидела свет лишь в 1800 г.

«Очищение философии» Кантом, которое представляется Гаману весьма неудачным, было предпринято для того, чтобы сделать разум независимым от всякой традиции и веры в него, и далее – от опыта и его «ежедневной индукции». В результате такого очищения от языка остается лишь «неопределенное нечто», «талисман и четки трансцендентального суеверия в entia rationis, их пустые мехи» [Roth 1825, VII: 8]. Между тем ответ на вопрос о том, как вообще возможно мышление, «способность мысленно выходить за пределы опыта, мыслить справа и слева от него, до него и без него, с ним и о нем», возможен лишь в одной версии: благодаря «генеалогическому приоритету» языка. Гаман дает превосходное обоснование этой мысли, указывая: «Не только вся способность мыслить основана на языке, …но язык есть и средоточие непонимания разумом себя самого, отчасти из-за постоянного совпадения величайших и мельчайших понятий, их полноты и пустоты в идеальных предложениях, отчасти же – из-за бесконечности речи» [Там же: 9]. Отсюда проистекает двойственный характер букв и звуков, которые, с одной стороны, как «чистые априорные формы» не имеют ничего общего с сущностью обозначаемых ими понятий, а с другой – «истинно эстетические элементы всякого познания и разума», поскольку древнейший язык был, с точки зрения Гамана, «музыкой», а древнейший шрифт – «живописью и рисунком» [Roth 1825, VII: 10]. В этом смысле древнейший язык отражал категории времени (ритм устной речи) и пространства (экономия места), и эти категории не могли не отразиться на мышлении, став, если не «врожденными идеями» (ideae innatae), то, по крайней мере, – «матрицами всякого созерцательного познания» [Там же]. Гаман настаивает именно на слиянии категорий чувственного восприятия и рационального познания, полагая, что посредством первого предметы нам «даны», а посредством второго они «мыслятся»; тем самым он определяет чувственное (Sinnlichkeit) и рациональное (Verstand) как «два ствола человеческого познания» [Там же]. Разделение этих двух стволов одного корня он воспринимает как «насильственное, неоправданное, своевольное». Гаман предлагает поэтому другую картину – познание как единый ствол с двумя корнями – в воздухе (чувственное восприятие) и в земле (разум).

По аналогии с этим и слова он рассматривает как феномены, имеющие две способности – выступать как элементы чувственного восприятия и созерцания (благодаря своей форме), и как элементы разума и понятийной сферы (благодаря «духу их использования» и значению) [Roth 1825, VII: 13]. Здесь Гаман анализирует два софизма «критического идеализма»: 1) возможно ли из созерцания буквенного состава слова выделить его понятийное содержание? 2) возможно ли извлечь из понятия разума «материю его имени»? Касательно первого вопроса он отмечает различия между языковыми формами, способными в одном случае выступать элементами шарады, ребуса и тем самым открыть путь к интерпретации их смысла, но в другом – никак не быть связанными с понятийным содержанием. Что же касается второго вопроса, то он отвечает на него отрицательно, хотя любой «Гомер чистого разума» оставляет возможность такой «априорно-апостериорной» связи, некоего философского языка. Именно эту возможность «вывести форму эмпирического созерцания без предмета или знака из чистого и пустого качества нашего внешнего и внутреннего умонастроения» Гаман считает краеугольным камнем критического идеализма, который он не приемлет.

Для Гамана Кант («прусский Юм») – автор системы заблуждений, его трансцендентальный идеализм – чистейшей воды формализм, не имеющий будущего. Тем не менее, он не публикует свою метакритику, чтобы, очевидно, не обидеть старого друга. Для такой работы у Гамана была уже подготовлена почва, поскольку Кант отдавал ему

все присланные в его адрес труды по его философии, и сама судьба критической философии оказалась для Гамана более интересной, чем для Канта.

Свою критику Гаман обращает, прежде всего, против игнорирования Кантом языка и зависимости от него нашего мышления. Вся наша способность мыслить основана не на категориях мышления, формах созерцания и спонтанности понятий, а на традиции, сохраняемой и передаваемой из поколения в поколение языком. Вопрошая о том, на что способны рассудок и разум априори (т. е. вне всякой зависимости от опыта), Кант ставит перед собой бессмысленную, с точки зрения Гамана, задачу.

В целом лингвистические и философские работы Гамана представляют собой во многом описание собственных сложных отношений Гамана и современного ему читателя-просвещенца. Фигура мыслителя – не только интеллектуальный, жаждущий своего декодирования автор, это и герой, противостоящий заблуждениям своей эпохи. Гаман призывает искать истоки силы мыслителя в его предназначении, биографии, личности и его повседневных привычках. Этому призыву пытается соответствовать и нарративная лингвоисториография.

Нарративное исследование творчества Гамана предстает перед нами как снятие бесчисленных покровов с портретной галереи лингвистов и лингвофилософов прошлого, открывающее перспективу более «персонального» взгляда на научные события и в то же время подкрепляющее фундамент нового объективизма в теории языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аликаева 2009 – *Л.С. Аликаева.* Немецкий лингвофилософский дискурс XVIII столетия (Й.Г. Гаман): Дис. … канд. филол. наук. Нальчик, 2009.

Алпатов 2004 – *В.М. Алпатов.* История одного мифа: Марр и марризм. М., 2004.

Гильманов 1996 – *В.Х. Гильманов.* Герменевтические принципы в творчестве И.Г. Гамана // XXVII научная конф. профессорско-преподавательского состава: Тезисы докл. Калининград, 1996.

Кожевников 1897 - *В.А. Кожевников.* Философия чувства и веры в ее отношении к литературе и рационализму XVIII века и к критической философии. Ч. 1. М., 1897.

Макаров 2004 – *А.Н. Макаров.* Гаман и чувство во второй половине XVIII в. // В.Н. Оношко (отв. ред.). Вопросы романо-германской филологии: Сб. науч. трудов. Вып. 3. Киров, 2004.

Радченко 1997 – *О.А. Радченко.* Язык как миросозидание. Лингвофилософские основы неогумбольдтианства. Т. 1–2. М., 1997.

Радченко 2000 – *О.А. Радченко.* Нарративная лингвоисториография: поиски нового объективизма // Язык: теория, история, типология. М., 2000.

Соломеин 2003 – *А.Ю. Соломеин.* Французская национальная гуманитарная традиция: специфика и генезис // Теоретический журнал Credo New. 2003. № 3.

Blanke, Schreiner 1956–1963 – *F. Blanke, L. Schreiner* (Hrsg.). Hamanns Hauptschriften erklärt. Bd. 1–7. Gütersloh, 1956–1963.

Bryuschinkin 1996 – *V. Bryuschinkin.* Zur Logik der Kultur. Kant, Hamann und russische Slawophile über Aufklärung // G. Bernhard (Hrsg.) Johann Georg Hamann, Autor und Autorschaft // Acta des Sechsten Internationalen Hamann-Kolloquiums im Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1992. Frankfurt-am-Main, 1996.

Dilthey 1936 – *W. Dilthey.* Johann Georg Hamann // W. Dilthey. Gesammelte Schriften. Bd. XI: Jugendaufsätze und Erinnerungen. Leipzig; Berlin, 1936.

Gervinus 1835–1842 – *G.G. Gervinus.* Geschichte der poetischen National-Literatur der Deutschen. Bd. 1–5. Leipzig, 1835–1842.

Gildemeister 1853–1873 – *C.H. Gildemeister.* Johann Georg Hamanns, des Magus in Norden, Leben und Schriften. Bd. 1–6. Gotha, 1853–1873.

Goethe 1948 – *J.W. von Goethe.* Dichtung und Wahrheit // Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Bd. 10. Hamburg, 1948 ff.

Hegel 1956 – *G.W.F. Hegel.* Hamanns Schriften // G.W.F. Hegel. Sämtliche Werke. Bd. XI: Berliner Schriften. Hamburg, 1956.

Kawanago 1993/1994 – *Kawanago Yoshikatsu.* Kritik und Bewahrung. «Metakritik» als philologisch-hermeneutische Haltung gegenüber der Tradition // Language / Information / Text, The University

of Tokyo, Graduate division of international and interdisciplinary studies, language and information sciences. V. 1. 1993/1994.
Mann 1937 – *O. Mann* (Hrsg.). Hamann, Magus des Nordens' Hauptschriften. Leipzig, 1937.
Michailov 1996 – *A. Michailov.* Vladimir Koževnikov und sein Hamann-Buch aus dem Jahre 1897. Eine Episode aus der russischen Hamann-Rezeption // G. Bernhard (Hrsg.) Johann Georg Hamann, Autor und Autorschaft: Acta des Sechsten Internationalen Hamann-Kolloquiums im Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1992. Frankfurt-am-Main, 1996.
Nadler 1949–1957 – *J. Nadler* (Hrsg.). Johann Georg Hamann: Sämtliche Werke. Bd. 1–6. Wien: 1949–1957.
Roth Fr. 1821–1843 – *Fr. Roth, G.A. Wiener* (Hrsg.). Hamanns Schriften und Briefe. Bd. 1–9. 1821–1843.
Schlegel 1813 – *F. Schlegel.* Hamann als Philosoph // Deutsches Museum III. Hf. 1. Wien, 1813.
Simon 1967 – *J. Simon* (Hrsg.). Johann Georg Hamann. Schriften zur Sprache. Frankfurt-am-Main Suhrkamp, 1967.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2011

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 2011 г. А.И. ФАЛИЛЕЕВ

ДРЕВНЕИРЛАНДСКИЙ ЯЗЫК: НЕДАВНИЕ ПУБЛИКАЦИИ

В обзоре критически рассматриваются некоторые издания последнего времени, посвященные древнеирландскому языку.

Первая декада XXI столетия оказалась весьма продуктивной для древнеирландских штудий. Всего за пять – десять последних лет появилось немало работ, значительно пересматривающих лингвистический материал древнеирландских памятников как в синхронной, так и в диахронической перспективе. В значительной степени этот период в истории исследования древнеирландского языка связан с предыдущим десятилетием, за время которого появились такие важнейшие работы, как опубликованная в 1994 г. на современном ирландском «История ирландского языка» [SnaG 1996], исследование раннего ирландского глагола К. Мак Кона (второе издание – [McCone 1997]) или объемистый труд П. Де Бернардо Штемпель по исторической именной морфологии древнеирландского [De Bernardo Stempel 1999]. В начале нового столетия результаты этих и многих других исследований были развиты, что привело к появлению новых важнейших работ, например, монографии К. Мак Кона о (предыстории) древнеирландского глагольного комплекса [McCone 2006], и/или скорректированы, что отражено, например, в кандидатской диссертации С.В. Иванова, посвященной относительному предложению в древнеирландском [Иванов 2005]. Объем (и новизна) работ, в которых рассматриваются различные аспекты древнеирландского и вышедших в первое десятилетие XXI в., настолько велик и разнообразен, что, как представляется, соответствующие фрагменты коллективной монографии 1996 г., содержащей анализ современной литературы по ирландистике [Progress 1996], уже нуждаются в некотором пересмотре. Появление специальной работы, посвященной анализу новых взглядов на старые, в общем-то, проблемы, могло быть интересным не столько для кельтологов, сколько для специалистов по общему языкознанию и индоевропеистов. В настоящем же обзоре я хочу остановиться специально на ряде публикаций последних пяти лет, которые имеют откровенно педагогическую направленность, что вызвано, прежде всего, возрастающим интересом к преподаванию древнеирландского языка в российской высшей школе, а также на новых изданиях собственно памятников древнеирландского.

Еще совсем недавно в распоряжении преподавателей древнеирландского языка имелся ограниченный ряд дидактических пособий, который, впрочем, не утратил своего педагогического значения и на сегодняшний день. Так, учебник Г. Квина [Quin 1975], в котором древнеирландские данные представлены последовательно по мере возрастания сложности материала, в качестве упражнений использует достаточно искусственные переводы с английского на древнеирландский и наоборот. Дидактическое пособие

Дж. Строна [Strahan, Bergin 1949] содержит компиляцию реальных древнеирландских глосс и собрание парадигм; древнеирландские фрагменты с комментарием мы находим в учебниках Ю. Покорного и Р. Турнейзена [Pokorny 1923; Thurneysen 1949]. Все эти работы, кстати, неоднократно переиздававшиеся, в совокупности с монументальной грамматикой древнеирландского языка того же Турнейзена [GOI 1946], использовались – и, несомненно, будут использоваться – для преподавания этого языка во всем мире. В первом же десятилетии XXI в. появилось сразу несколько важнейших работ, которые значительно изменили привычный дидактический инвентарь. Речь идет, прежде всего, о пособии Д. Штифтера «Древнеирландский язык для начинающих» [Stifter 2006a] и книге К. Мак Кона [McCone 2005]. Важность появления этих двух книг трудно переоценить, и их публикация была уже весьма положительно оценена академическим сообществом. Им было посвящено значительное количество рецензий, во многих из которых досконально разбираются особенности как материала, использованного авторами, так и особенностей его подачи. Так как специалистам по кельтологии эти рецензии, несомненно, известны (особенно следует отметить мнения, высказанные по поводу этих изданий такими учеными, как Г.Р. Айзак, С. Родуей и П. МакКвиллан[1]), ниже можно остановиться на их макропроблематике, оставив некоторые (подчас и немаловажные) детали в стороне.

Учебник Д. Штифтера, удостоенный в 2006 г. Приза имени Майкла Дуркана за лучшую книгу по ирландистике, примечателен сразу в нескольких отношениях. Изданный в формате А-4, он может быть плодотворно использован как для изучения древнеирландского языка на занятиях с преподавателем, так и для лингвистически более или менее подготовленной аудитории – в качестве своеобразного самоучителя древнеирландского. Книга подразделена на 58 уроков, в которых последовательно и осторожно вводится новый грамматический материал от простого к сложному, начиная с произношения и именной морфологии, который постепенно дополняется сложнейшими элементами древнеирландской грамматики. Каждый урок содержит соответствующий теме набор упражнений, и еще больше упражнений, закрепляющих полученные знания, появляется после каждых двух – трех уроков. Книга снабжена ключом для проверки упражнений, словарем, библиографией, списком для дополнительного чтения, удобными таблицами, в которых сведены некоторые парадигмы и другие грамматические материалы, и индексом. Насколько это возможно, для упражнений используются реальные древнеирландские тексты различного жанра и их фрагменты. Нет сомнения в том, что использование учебника Д. Штифтера в преподавании или в автодидактических целях решает поставленную автором задачу – действительно, перед нами полный и удачно скомпонованный курс древнеирландского, отвечающий требованиям XXI века, который может быть удачно использован как изучающими древнеирландский язык на синхронном уровне, так и индоевропеистами. Перевод этой книги на русский язык, за неимением сопоставимых пособий, составленных отечественными ирландистами (краткий курс древнеирландского языка Т.А. Михайловой нацелен на несколько иную аудиторию и ставит своей главной задачей «сделать ирландский язык близким, отчасти – понятным и совсем не таким "страшным", каким его часто изображают» [Михайлова 2008: iii]), станет несомненным событием как для преподавателей, так и для весьма широкого круга возможных читателей – медиевистов, специалистов по общему языкознанию, индоевропеистов, да и просто всех, изучающих историю Ирландии и ее культуру.

Перевод учебника Д. Штифтера, как представляется, не должен быть механическим – впору говорить скорее о новом русском издании книги. Здесь кратко можно отметить лишь несколько аспектов, которые, как кажется, необходимо учесть при подготовке этого издания. В первую очередь это касается нахождения необходимого баланса между синхронией и диахронией. Хотя учебник нацелен именно на синхронное изучение языка (при этом, впрочем, следует учесть и то, что в рукописях последующе-

[1] Соответственно в «Journal of Celtic linguistics», 12, 2008, «Cambrian medieval Celtic studies», 56, 2008 и «Éigse», 36, 2008.

го периода мы находим значительные фрагменты древнеирландского материала, подчас фундаментально модернизированного), различные комментарии по (пред)истории древнеирландского разбросаны по страницам этого труда. К примеру, Штифтер приводит протокельтские (и протоиндосвропейские) реконструкции при изучении отдельных парадигм, что, конечно, весьма полезно для изучающих древнеирландский язык индоевропеистов. Представляется, что эта составляющая учебника может быть значительно усилена. Понятно, что значительные фрагменты предыстории древнеирландской языковой системы остаются дискуссионными и приводимые в этой связи реконструкции могут значительно отличаться. Было бы, конечно, неоправданным нагружать текст учебника этими, нередко весьма противоречивыми, попытками объяснить собственно данные древнеирландского языка, однако избранный автором формат уже позволяет поместить основные гипотезы и ссылки на их авторов в комментарии, что несколько увеличит объем публикации, но сделает учебник по-настоящему последовательным. С другой стороны, приводимые автором реконструкции на уровне архаического ирландского (в англоязычной литературе – primitive Irish, см. также ниже) или «островного кельтского» (концепт, не разделяемый частью современных исследователей), как представляется, необязательно должны учитываться в новом русском издании. Также некоторой коррекции потребуют вводные уроки, посвященные предыстории древнеирландского – на сегодняшний день имеется значительное количество новых схем взаимоотношений отдельных кельтских языков (Г.Р. Айзак, П. Симс-Уильямс, П. Де Бернардо Штемпель), которые стоило бы учесть, а, к примеру, весьма пунктирной диаграммой разделения индоевропейских языков на группы кентум и сатэм можно было бы вообще пренебречь.

Второй аспект, которого необходимо коснуться, связан с терминологией. То, что Штифтер использует классификацию древнеирландского глагола К. Мак Кона [McCone 1997], а не Р. Турнейзена (или Дж. Строна), связано с личными предпочтениями автора; в любом случае конкорданс существующих трех классификаций автором приведен, так что читатель вполне сможет самостоятельно разобраться с этой проблемой. Более значительные вопросы вызывает подход Штифтера к представлению древнеирландской именной системы. Рецензенты этой книги уже обращали внимание на тот факт, что в представленных в учебнике парадигмах падежи следуют в порядке «номинатив (– вокатив) – генитив» и т. д., а не в более традиционном для «островной» ирландистики: «номинатив (– вокатив) – аккузатив». Кажется, что в этом случае у русскоязычного читателя, знакомого с «континентальным» каноном описания индоевропейских языков, вопросов возникнуть не должно, и, в принципе, знание номинатива и генитива данного слова (а также и его грамматического рода) позволяет соотнести его с определенным типом склонения. Гораздо больше вопросов вызывает использование Штифтером понятия «предложного» падежа (prepositional case) вместо традиционного «дательного» (ср. также [Stifter 2009: 71]). Конечно, в логике Штифтеру нельзя отказать – дательный падеж в древнеирландском является синкретическим по происхождению и в нем совпали функции четырех падежей, реконструируемых для прото-кельтского и индоевропейского, и только в некоторых поэтических и юридических текстах, чей архаический характер очевиден, формы в дативе появляются без предшествующего предлога. Впрочем, беспредложные формы датива встречаются регулярно и в собственно древнеирландском (например, датив аппозиции), дательный падеж синкретичен во многих и.-е. языках, в русскоязычной лингвистической традиции замена термина «дательный» на «предложный» не сможет не вызвать значительной и совсем ненужной путаницы. И, наконец, еще одно маленькое замечание. В предисловии к своей книге Д. Штифтер, с грустью отмечая упадок в изучении латинского языка в средней школе, ставит перед собой задачу создать самодостаточный (self-explanatory) учебник, который не содержит отсылки на данные классических языков. Печаль Штифтера понятна и в целом разделяема, однако приведение автором древнеирландских глосс без латинского контекста, в котором они существуют, представляется неоправданным разрывом с традицией.

Вторая книга, о которой пойдет речь в предлагаемом обзоре, принадлежит перу профессора Мэйнутского университета К. Мак Кона [McCone 2005]. Мак Кон ставит перед собой задачи, частично пересекающиеся с целями Штифтера, и (хорошо) лингвистически подготовленный читатель действительно может использовать эту книгу в качестве учебника. Древнеирландский материал иллюстрирует каждое рассматриваемое грамматическое явление (причем подача материала также производится по принципу от простого к сложному), и благодаря древнеирландско-английскому глоссарию, занимающему более пятидесяти страниц монографии и содержащему немалоинтересные отдельные комментарии, этот материал может быть усвоен. Однако основная цель этой публикации, как отмечает автор, это предложить современному читателю то, что в русскоязычной традиции скорее называется теоретической грамматикой древнеирландского языка и что К. Мак Кон сам называет a reference grammar. Автор резонно отмечает, что использование монументальной грамматики древнеирландского языка [GOI 1946] Р. Турнейзена (которая в любом случае остается the standard reference grammar) достаточно сложно для начинающих и что существующие на сегодняшний день пособия не могут восполнить этот дидактический пробел. Согласно Мак Кону, эту книгу следует использовать вместе с отмеченными выше учебниками, курсами и грамматикой древнеирландского языка. Иными словами – это скорее книга для преподавателя, чем для студента, и не может возникнуть даже тени сомнения в том, что она станет настольной у каждого ирландиста и кельтолога, а также заинтересует значительный круг читателей, профессионально занимающихся и иными дисциплинами.

Монография Мак Кона состоит из 12 глав. В первой главе объясняются цели и задачи, которые автор ставит перед собой, кратко описываются основные источники древнеирландского и рассматриваются вопросы орфографии и произношения. Последующая глава – объемом менее 20 страниц – посвящена древнеирландским существительным, прилагательным и артиклю, за которой следует раздел, посвященный копуле, субстантивному глаголу и порядку слов (с. 39–51), и глава, в которой рассматриваются местоимения, предлоги и числительные (с. 53–66). Как того и следовало бы ожидать, основная часть книги (с. 67–164) посвящена древнеирландскому глаголу. Подход, применяемый автором к описанию грамматической системы древнеирландского языка, является подчеркнуто синхронным, хотя, по понятным причинам, элементы диахронии постоянно присутствуют и на страницах этой книги. Впрочем, в ней мы не находим приведенных, скажем, латинских или древнеиндийских параллелей, равно как и аналогов из других кельтских языков, что соответствует целям, поставленным автором. Несмотря на это, учебник может быть весьма полезным и для индоевропеистов, в том числе и благодаря его логичной структуре, точности и изысканности в описании грамматических явлений, равно как и значительному по объему и разнообразному по жанрам языковому материалу, используемому автором.

Как можно было ожидать, К. Мак Кон использует свою собственную глагольную классификацию (ср. [McCone 1997]) и таблицу соответствий между выделяемым им глагольными классами (слабые – сильные глаголы с хиатусом) и системами, представленных в трудах Турнейзена и Строна, можно найти на с. 165. Попутно можно отметить, что в отечественной ирландистике (как и в мировой) классификации Мак Кона и Турнейзена могут легко уживаться и в пределах одной публикации, а использование именно этой модели в учебнике было практически предопределено. Следует, впрочем, напомнить и о том, что ряд современных исследователей не принимают предложенную Мак Коном схему, в том числе и по причинам педагогическим. В любом случае, более настораживает новая классификация, используемая Мак Коном при описании именной системы. Вместо привычных типов склонений, основанных на исторических типах основ (*o*-основы, *ā*-основы и т.д.), в книге Мак Кона мы находим более синхронную схему, основанную (с небольшими модификациями) на модели, принятой в преподавании современного ирландского языка. Так, для существительных I класса, соответствующих субстантивам, принадлежащим к *o*-основам в традиционном описании, в качестве основных черт склонения отмечаются наличие палатализации в звательном

и родительном падежах единственного числа и в номинативе множественного, а также появление *и* перед финальным согласным в дативе единственного числа, и после него – в аккузативе множественного числа. Так как грамматика Мак Кона – грамматика синхронная, подобный отказ от, в сущности, диахронического традиционного описания именной системы не удивителен, но, однако, вряд ли оправдан. Конечно, подобная классификация дидактически была бы вполне уместна для аудитории, практически (и теоретически) хорошо знакомой с современным ирландским языком, но, к счастью, эта книга рассчитана на несравненно большее количество читателей. Для тех же, кто приходит в ирландистику из иных лингвистических дисциплин, как кажется, традиционное представление парадигм было бы педагогически более выигрышным, а для индоевропеистов – концептуально необходимым. Примечательно, что сам автор (с. 24) приводит парадигмы имен существительных, принадлежащих (в его терминологии) к классам I и IVa (равно как II и IVb) вместе – действительно, склонения *o*- и *jo*-основ (равно как и *ā*-/*jā*-основ) логичнее рассматривать именно так.

Впрочем, появление этой новой именной классификации на страницах книги не делает грамматику Мак Кона недоступной для более традиционно ориентированного читателя – схема, приведенная на с. 23–24 соотносит эти классы с историческими типами склонения. В целом же можно отметить, что грамматика древнеирландского языка К. Мак Кона адекватно заполнила существовавшую нишу в современной ирландистике, и преподавание этого языка в высшей школе, в том числе и российской, получило весьма существенное подспорье. Следует также учесть, что в эту монографию, посвященную древнеирландскому языку, мэйнутский профессор включил почти пятидесятистраничное «Введение в среднеирландский», которое составляет двенадцатую главу этого труда (с. 173–217). Причины тому вполне очевидны – достаточно вспомнить, что значительное количество древнеирландского языкового материла может соседствовать в рукописях со среднеирландским. В этом разделе, имеющем ярко выраженную диахроническую составляющую, автор прослеживает историю грамматических изменений от древнеирландского языкового состояния, иллюстрируя эту историю достаточно обильным материалом и новыми упражнениями, что дает возможность читателю, изучившему древнеирландский, довольно быстро освоиться в среднеирландской языковой среде. В отсутствии современной полной грамматики среднеирландского языка (см. соответствующий раздел в [SnaG 1996]), работы над которой в настоящее время ведутся, эта глава книги Мак Кона имеет самостоятельное значение.

Нет сомнения, что обе эти книги, взаимно дополняя друг друга, заполнили существовавшую лакуну в (университетском) преподавании древнеирландского языка. Однако кроме собственно педагогического значения оба эти издания интересны и тем, что их авторы являются известными специалистами-кельтологами и их интерпретация отдельных фрагментов грамматической системы древнеирландского несомненно будет интересна не только для студентов, но и для зрелых исследователей. Для иллюстрации этого положения можно обратиться к анализу формы претерита 3 л. ед. ч. *ro-ír* ‘дал’, которой уделялось место и на страницах журнала «Вопросы языкознания».

Напомним, что *-ír* (наст. вр. *ernaid*) относится к сравнительно небольшой группе глаголов, для которой характерны долгогласные *ī*-претериты и которая, согласно Турнейзену [GOI 1946: 435], подразделяется на две подгруппы – *ír* и другие глаголы. В справочнике Мак Кона бессуффиксальный претерит *-ír* упоминается среди претеритов с компенсаторным удлинением или дифтонгизацией, причем отмечается уникальность этой формы – глаголы с корнем на *-r* образуют *t*-претерит, ср. *sernaid* : *-sert*, [McCone 2005: 89]. Д. Штифтер в своем учебнике следует более развернутой схеме и рассматривает эту форму среди *ī*-претеритов в разделе долгогласных претеритов, причем подразделения внутри этой группы в деталях иногда существенно отличаются от модели, предложенной в [GOI 1946: 430, 435]; ср. также удобную обобщающую схему в [Stifter 2006a: 358]. В эту же группу он помещает глаголы *fichid* ‘сражаться’ (прет. 3 л. ед. ч. *fích*), *in-fét* ‘рассказывать’ (*in-fíd*) и сложные формы с участием **fenaid*, например, *ar-fí* ‘он окружил оградой’ [Stifter 2006a: 216]. Согласно Штифтеру, *ī*-претериты обра-

зуются от нескольких сильных глаголов, в корне которых имелось краткое *i*. Исследователь отмечает, что «on the surface it looks as if they simply replaced the vowel of the present stem by/ī/ to form the preterite stem» (ср. [Stifter 2009: 100]) и что в эту систему были вовлечены глаголы, не имеющие этимологического *i* в корне: *midithir* 'судить' и, возможно, *sichid* 'объявлять'. Штифтер кратко комментирует механизм образования долгогласных претеритов, являющихся исторически редуплицированными перфектами со значительными фонетическими изменениями, включая потерю ленированных фрикативов и компенсаторное удлинение, и, вполне ожидаемо, аналогичный пассаж мы находим и в книге Мак Кона [McCone 2005: 89]. Впрочем, по крайней мере, для меня, краткое *i* в форме *ernaid* кажется уж совсем не очевидным. Традиционный же до недавних пор анализ предыстории *-ir* < **pe-porh*$_3$*-e*, то есть как отражения и.-е. редуплицированного перфекта (ср. [О' Шей 2009: 176 и сл.]), был раскритикован Ш. Шумахером [Schumacher 2004: 509–510] по фонетическим причинам, и соображения фонетического порядка заставили А.С. Николаева [Николаев 2007] начать поиск иных ее объяснений. Согласно Николаеву, *-ir* следует возводить к и.-е. **pērh*$_3$*-t-* (ср. в этой связи *-ir* < **pēr-* в словаре Покорного [Pokorny 1959: 817], оставленное, впрочем, без комментария). Исследователь предлагает несколько интерпретаций этой формы [Николаев 2007: 27–29]. Сопоставление ее с бессуфиксальным претеритом *do·cer* 'упал', восходящим к и.-е. корневому аористу от корня **k'erh*$_2$- 'ломать', может показаться многообещающим, но так как «реконструкция аористов с корневым аблаутом **ē/e* для праязыка остается под вопросом» [попутно можно отметить, что упрек А.С. Николаева (сноска 42 на с. 43) Ш. Шумахеру [Schumacher 2004: 399–400] относительно того, что последний при анализе формы *-cer* не учитывает так называемый «закон Джозефа», беспочвен, так как эта реконструкция была внесена в список объясняемых исключений из правила – вместе с **g*^{u}*enā* > *ben* 'жена' – самим Л. Джозефом [Joseph 1982: 55]], автор этой статьи предлагает иное решение указанной проблемы. Следуя теории Дж. Джезанова[2], А.С. Николаев [Николаев 2007: 28] интерпретирует **pērh*$_3$*-t-* как имперфект от «нартенового» презенса **pērh*$_3$*-ti-*, однако сам факт наличия этих презенсов скептически воспринимается рядом исследователей, а и.-е. имперфекты, как отмечалось, не использовались в построении древнеирландской системы претерита. Более того, Г.Р. Айзак недавно показал, что фонетические претензии к цепочке *-ir* < **pe-porh*$_3$- несостоятельны [Isaac 2007: 15–20]; таким образом, пока контрдоводы к аргументации Г.Р. Айзака не предъявлены, традиционный анализ предыстории др.-ирл. *-ir* удовлетворяет требованиям исторической грамматики древнеирландского языка.

Настоящий обзор был бы не полным, если в нем не была бы учтена работа Д. Штифтера 2009 г. [Stifter 2009]. Эта статья, по объему сопоставимая с монографиями, выпускаемыми, к примеру, издательством Lincom в серии «Языки мира», была опубликована во втором издании монументального труда «Кельтские языки». Оно существенно отличается от первого издания, вышедшего в 1993 г., и не только по новизне используемого материала и методов его исследования – в нем редакторы выделили обобщающие работы по раннему ирландскому и древне- и средневаллийскому, в то время как в первом издании эти стадии истории соответствующих языков рассматривались совместно с последующими. Выбранная стратегия представляется весьма удачной – действительно, раннеирландские данные вполне целесообразно рассматривать вместе, скажем, с галльскими или кельтиберскими, и сам Штифтер [Stifter 2009: 60] точно формулирует одну из тех причин: «древнеирландский является практически прототипичным языком, чье грамматическое поведение не может быть адекватно описано синхронными пра-

[2] Мне не удалось ознакомиться с работой J.H. Jasanoff. Aorists from imperfects // Report of the Cambridge University. 2005, на которую ссылается А.С. Николаев: это издание отсутствует в библиотеках Великобритании, включая собственно библиотеку Кембриджского университета. Также я не могу комментировать положение, согласно которому «нельзя считать доказанным, что древнеирландский *t*-претерит продолжает и.-е. сигматический аорист» [Николаев 2007: 26], высказанное на лекциях Джезанова. В связи с историей изучения древнеирландского *t*-претерита см. также недавнюю работу [Stifter 2006b].

вилами». При этом статья в соответствии с редакторскими установками имеет эксплицитно синхронную направленность (с. 59), и автор был вынужден свести диахроническую составляющую к минимуму. Термин «раннеирландский язык», поставленный в заглавие этой работы, охватывает значительный период истории языка – до конца среднеирландского (XII в.), однако разным этапам уделяется неравномерное внимание. Так, Primitive Irish (собственно, язык огамических памятников, см. в этой связи известную монографию А.А. Королева [Королев 1984]) рассматривается на трех страницах (с. 56–59), а среднеирландский – на четырех (с. 110–113). Основная же часть этой работы посвящена собственно древнеирландскому языку. Так как ответственность за выбранный формат целиком и полностью лежит на редакторах (ср. иное построение статьи в предыдущем издании книги [Mac Eoín 1993]), я позволю опустить (немаловажные) дезидераты и сконцентрироваться на представлении Д. Штифтером данных древнеирландского.

Штифтер начинает свое описание древнеирландского с фонологии (с. 60–67), где кратко рассматривает звуковую систему и важнейшие аспекты древнеирландской морфофонемики и затем переходит к древнеирландской орфографии (с. 67–70). Далее следует раздел, посвященный именной морфологии (с. 70–84). Можно отметить, что в этой работе, в отличие от [Stifter 2006a], автор придерживается «островных» канонов представления парадигмы (термин «prepositional case» используется как и в его книге 2006 г.) и нередко приводит в них, наряду с «классическими» формами, и формы архаические. Так, в представленной на с. 75 парадигме склонения др.-ирл. *ben* ‘женщина’ наряду с аккузативом ед. ч. *mnaí* в скобках дается и более ранняя форма *bein* (ср. [Eska 2010: 61]). Глагольной морфологии посвящены с. 84–104, и Штифтер удачно начинает этот раздел с обсуждения понятия «глагольный комплекс» (ср. [McCone 1997: 1–19]), не менее удачно приводит список основных глагольных категорий (который, несомненно, может быть значительно расширен) и (насколько это возможно) подробно останавливается на формообразовании, следуя модели Мак Кона и приведя таблицу соответствий со системой Турнейзена на с. 96. Синтаксису древнеирландского посвящены в общей сложности пять страниц (с. 104–109), что явно непропорционально количеству существующих важных исследований, а словообразование – как именное, так и глагольное – рассматривается практически на одной странице этой работы, причем глагольному (префиксации и суффиксации) посвящен один параграф, содержащий восемь строк. Работу завершает библиография (с. 113–116), в которой, к примеру, я не обнаружил ссылки на работы по глагольной префиксации (ср., например [Russell 1988]) или на уже упомянутое выше исследование Г.Р. Айзака [Isaac 2007]. Подытоживая, можно сказать, что от этой работы остается двоякое ощущение. Очевидно, что читатель, заинтересованный, к примеру, вопросами древнеирландского словообразования, будет ею разочарован, тем более, что издатель этого тома заявляет о том, что книга «describes in depth all the Celtic languages». В то же время компетентность и профессионализм автора, как мы могли убедиться, не вызывает никакого сомнения и, кажется, совсем незначительное увеличение объема публикации было бы весьма уместным. Однако эта претензия, конечно, адресована не автору, а редакторам книги, издатель которой полагает, что она является «бесценным пособием» («invaluable tool») для «студентов и преподавателей языкознания, которых особенно интересуют типология, языковые универсалии и уникальное социолингвистическое положение кельтских языков», как сказано на последней странице ее обложки.

За последние пять лет появилось также немало изданий (и переизданий) древнеирландских текстов, опубликованных в различных кельтологических журналах. На сегодняшний день имеется немало и сетевых публикаций. Кроме того, в распоряжении исследователей появилось несколько монографий, посвященных научному изданию этих текстов (или групп текстов). Нет сомнения, что целый ряд из этих работ будет интересен не только узким специалистам по ирландистике.

Книга Р. Мак Лохлин «Ранняя ирландская сатира» [McLaughlin 2008] уже своим названием не сможет не заинтересовать российского читателя – сатиры, инвективы и

заговоры, древние и средневековые, традиционно привлекают внимание отечественных филологов. Сразу следует, впрочем, отметить, что этот изданный Дублинским институтом передовых исследований труд скорее должен разочаровать исследователей, профессионально не занимающихся кельтологией. Дело в том, что автор (по не вполне понятным для меня причинам) в анализе богатейшего ирландского материала не выходит за рамки собственно ирландистики. На страницах этого произведения мы крайне редко находим ссылки на (средневековые) валлийские или латинские параллели, а данные географически и хронологически более отдаленных традиций полностью игнорируются. Для специалистов же по ранней ирландской литературе и древне- и среднеирландскому языку работа Мак Лохлин представляет значительный интерес.

Книга ирландской исследовательницы состоит из четырех частей и снабжена подробными индексами. Первая часть (с. 1–40) является вводной: в ней, к сожалению, предельно кратко рассматриваются такие важные и разнообразные проблемы, как юридический аспект сатиры или тематика средневековых ирландских сатир в целом. Впрочем, краткость изложения материала в этом отделе может быть и преднамеренной – проблема раннеирландских сатир уже значительное время привлекает внимание исследователей, а за последнее десятилетие появилось немало работ, посвященных их разным аспектам (достаточно вспомнить в этой связи о большой статье Л. Бряннаха, опубликованной в 2006 г. в журнале «Ériu»). Понятно и то, что Мак Лохлин не ставит своей задачей создание некоторого универсального компендия, посвященного этому предмету – по образу и подобию некоторых других книг, уже выпущенных Дублинским институтом передовых исследований. Ее цель – публикация трактата, посвященного сатирам, одной связанной с ним так называемой гептады и антологии раннеирландских сатир и инвектив. Хотя все из этих текстов хорошо известны ирландистам, издание Мак Лохлин является значительным шагом вперед – при работе над этим материалом исследовательница использует не одну-две рукописи, как было сделано предыдущими издателями, а весь корпус соответствующих списков, внимательно отмечая разночтения и тщательно работая с вариантами в поисках лучшего понимания текста.

Вторая глава книги (с. 41–84) представляет собой издание трактата о сатире, сохранившегося в рукописях XIV–XV вв., но который восходит к древнеирландскому периоду. В отличие от существующего издания этого текста К. Мерони, опубликованного в 1950 г., издание Мак Лохлин нацелено на реконструкцию древнеирландского оригинала[3]. В третьей главе (с. 85–103) исследовательница публикует древнеирландскую гептаду о сатире, а самый большой раздел книги (с. 104–262) представляет собой антологию средневековых ирландских сатир и инвектив. Следует отметить, что в связи со своим жанром до наших дней дошло ограниченное количество сатир, несопоставимое, к примеру, с фрагментами хвалебной поэзии. В свою антологию Мак Лохлин включила поэтические тексты, выполняющие функции иллюстраций в средневековом ирландском трактате, посвященном метрике, который был издан Р. Турнейзеном в 1891 г. под названием «Mittelirische Verslehren III» и изучением которого занимались такие корифеи кельтологии, как К. Майер и Дж. Мерфи. Трактат сохранился целиком в двух рукописях конца XIV в., и еще несколько манускриптов содержат неполные версии. Ирландская исследовательница тщательно анализирует взаимосвязь этих вариантов и выстраивает соответствующую стемму (с. 114); значительное внимание (с. 114–128) обращается на орфографические, фонологические и грамматические особенности текста, а также ряд экстралингвистических факторов, которые позволяют датировать это произведение более поздним периодом, нежели предполагал Турнейзен, при том, что трактат «не является однородным текстом, а скорее состоит из собрания изолированных метрических иллюстраций» [McLaughlin 2008: 119]. Издание Мак Лохлин дано в

[3] Следует отметить в этой связи, что методология издания раннеирландских текстов оказалась недавно в центре дискуссии, достаточно неожиданно разгоревшейся на страницах такого авторитетнейшего издания, как «Cambrian medieval Celtic studies»; см. выпуски 55, 2008, с. 75–82 и 57, 2009, с. 51–79.

нормализированной орфографии, разночтения по рукописям всецело учитываются; в итоге в нашем распоряжении оказывается корпус из 86 стихотворений, сопровождающийся важными филологическими и лингвистическими комментариями. В него входят собственно сатиры (и проклятия) и инвективы, подразделенные автором (с. 2–3) по ряду формальных признаков на четыре подгруппы. Примечательно, что исследовательница включает в свое собрание сатир и стихотворение (номер 25), которое, согласно К. Майеру, относится к «поэмам о дружбе», что еще раз напоминает о достаточно тонкой границе между жанрами ранней ирландской поэзии. Кроме того, что эта антология будет весьма полезна для литературоведов (и фольклористов), ее значение для собственно ирландских лингвистических штудий трудно переоценить – комментарий к ней включает значительное количество собственно грамматических наблюдений, а сам текст содержит единственные или самые ранние аттестации целой группы слов, как например, *cenn* 'шкура' (ср. др.-валл. *ceenn* в *oceenn* gl. *mirice* и др.-брет. *cennenn* gl. *membrane*), номинатив которого, согласно автору (с. 243), впервые обнаруживается в стихотворении 64.

Следующая монография [Eska 2010], которую следует отметить в этом обзоре, посвящена изданию древнеирландского трактата о супружеских отношениях и основана на диссертации, защищенной Ч. Эска в Гарвардском университете. Этот текст также давно и хорошо знаком исследователям – его издавали такие корифеи кельтологии, как Р. Турнейзен, Д. Бинчи, и – совсем недавно – он оказался в центре внимания такого известного ирландиста, как Д. О'Корронь. Однако уже сам объем публикации – почти 400 страниц (можно отметить, что в «Corpus iuris Hibernici» Бинчи этот трактат занимает достаточно скромное место: 502.7–519.35) – предполагает особую скрупулезность при подготовке этого труда, и это действительно так. Эска провела большую палеографическую и собственно текстологическую работу, и в нашем распоряжении появилось то, что можно было бы назвать «стандартным» изданием «Cáin Lánamna», учитывающим поздние копии, глоссы и комментарии. То, что эта книга будет пользоваться заслуженным вниманием российских ученых, у меня не вызывает никакого сомнения. Отечественная ирландистика, как известно, всецело использует данные раннеирландской юридической литературы и в собственно лингвистических штудиях, и в качестве материала для исторических построений, см. в этой связи известные работы А.А. Королева, С.В. Шкунаева и Т.А. Михайловой. С другой стороны, национальные средневековые юридические традиции продолжают оставаться в центре внимания историков и историков права, и появление этого издания будет небезынтересно и этому кругу специалистов.

Основную часть этой монографии (с. 78–341) составляет непосредственно издание текстов, снабженных английскими переводами. В большинстве случаев Эска принимает чтения, предложенные классиками ирландистики, занимавшимися этим трактатом, а иногда предлагает и свои собственные интерпретации. Изданию текста предпослан небольшой вводный раздел, с моей точки зрения, достаточно не однородный. Так как книга была издана в серии «Medieval law and its practice», ориентированной, скорее, на медиевистов, а не ирландистов, автору пришлось включить в эту часть раздел, посвященный структуре ирландского общества (с. 3–27) и рассматривающий общие вопросы. За ним следуют весьма информативно насыщенные главы, посвященные рукописям (с. 35–54) и анализу их взаимоотношений (с. 55–59), весьма пунктирный раздел о христианском влиянии на рассматриваемый фрагмент средневековой ирландской юриспруденции (с. 27–30) и, как кажется, несколько превышающий необходимый объем синопсис трактата (с. 67–75). Эска (как и Д. О'Корронь) полагает, что текст, известный по спискам, самые ранние из которых датируются XIV в., следует датировать приблизительно 700 годом (с. 61–62), и посвящает несколько страниц (с. 63–65) принятым ею методам редактирования текста. Основной трактат публикуется ею в нормализированной древнеирландской орфографии (орфографические варианты в рукописях, естественно, приводятся), но глоссы и юридические комментарии абсолютно обоснованно публикуются в том виде, в каком они находятся в манускриптах.

Издание всего этого комплекса текстов построено весьма удачно, и приводимый параллельно английский перевод самого трактата и сопутствующих глосс, равно как и оригинал, снабжены подстрочными комментариями. В ряде случаев, как представляется, эта часть работы могла бы быть существенно расширена. Это касается, прежде всего, собственно грамматического комментария (в разделе, посвященном датировке текста, Эска весьма, увы, кратко останавливается на архаических грамматических чертах), но также и лексического, и, если угодно, «реального». Следует также учесть, что она, похоже, достаточно скептически относится к практике реконструкции «общекельтских институтов» на основании данных средневековых валлийских и ирландских законов, достаточно популярной всего несколько десятилетий назад. По крайней мере, приведенный автором краткий анализ аналогичных фрагментов средневаллийской (и англосаксонской) традиции (с. 30–34) эксплицитно на это не направлен. Соответственно и в комментариях к трактату неирландские ассоциации и/или параллели отсутствуют, что становится уже, похоже, общим местом в современной ирландистике. Представляется, что книга бы только выиграла от несколько бóльшего внимания и к самой ирландской традиции. К примеру, несколько большее внимание к поздним глоссам могло бы привести к немалоинтересным результатам. Конечно, Эска приводит комментарии по поводу многих глосс [Eska 2010: 228–231], однако, в ряде мест они могли бы быть существенно расширены, например, в случае с интереснейшей глоссой к *ar* ‘пахота’ (с. 162) – здесь, похоже, даже следует задуматься о том, к какому слову дается эта глосса, и в любом случае выход за рамки собственно ирландской традиции был бы оправданным. Впрочем, краткость комментария, возможно, была вызвана общими соображениями объема публикации.

Таким образом, нет никаких сомнений, что исследования древнеирландского материала, опубликованные на протяжении последних пяти лет, дали немало весьма важных результатов, которые представляют интерес не только для профессиональных кельтологов, но и для широкого круга филологов, лингвистов, литературоведов и медиевистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Иванов 2005 – *С.В. Иванов*. Клефтовые и относительные конструкции в древнеирландском языке (на материале Вюрцбургских глосс): Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПб., 2005.

Королев 1984 – *А.А. Королев*. Древнейшие памятники ирландского языка, М., 1984.

Михайлова 2008 – *Т.А. Михайлова*. Древнеирландский язык. М., 2008.

Николаев 2007 – *А.С. Николаев*. Бессуфиксальный претерит *ro·ír* и другие древнеирландские претериты с долгим *-í-* в корне // ВЯ. 2007. № 2.

О’Шей 2009 – *Н.А. О’Шей*. Темные формы древнеирландского бессуфиксального претерита // Материалы Второго коллоквиума международного общества «Кельто-Славика». М., 2009.

De Bernardo Stempel 1999 – *P. De Bernardo Stempel*. Wortbildung des älteren Irischen: Stammbildung und Derivation. Tübingen, 1999.

Eska 2010 – *C.M. Eska*. *Cáin Lánamna*: An Old Irish tract on marriage and divorce law. Leiden; Boston, 2010.

GOI 1946 – *R. Thurneysen*. A grammar of Old Irish. Dublin, 1946.

Isaac 2007– *G.R. Isaac*. Studies in Celtic sound changes and their chronology. Innsbruck, 2007.

Joseph 1982 – *L. Joseph*. The treatment of **CRH* and the origin of *CaRa-* in Celtic // Ériu. 1982. V. 33.

Mac Eoín 1993 – *G. Mac Eoín*. Irish // M. Ball, J. Fife (eds.). The Celtic languages. London, 1993.

McLaughlin 2008 – *R. McLaughlin*. Early Irish satire. Dublin, 2008.

McCone 1997 – *K. McCone*. The early Irish verb. Revised second edition. Maynooth, 1997.

McCone 2005 – *K. McCone*. A First Old Irish grammar and reader with an introduction to Middle Irish. Maynooth, 2005.

McCone 2006 – *K. McCone*. The origins and development of the insular Celtic verbal complex. Maynooth, 2006.

Pokorny 1923 – *J. Pokorny*. A historical reader of Old Irish. Halle, 1923.

Pokorny 1959 – *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Bern, 1959.

Progress – Progress in Medieval Irish studies / Ed. by K. McCone, K. Simms. Maynooth, 1996.
Quin 1975 – *E.G. Quin*. Old-Irish workbook. Dublin, 1975.
Russell 1988 – *P. Russell*. The Celtic preverb **uss* and related matters // Ériu. 1988. V. 39.
Schumacher 2004 – *S. Schumacher* et al. Die keltischen Primärverben. Innsbruck, 2004.
SnaG 1996 – Stair na Gaeilge in Ómós do Phádraig Ó Fiannachtac / Ed. by K. McCone, D. McManus, C. Ó Háinle, N. Williams, L. Breatnach. Maynooth, 1994 (reprinted 1996).
Stifter 2006a – *D. Stifter*. Sengoídelc: Old Irish for beginners. Syracuse, 2006.
Stifter 2006b – *D. Stifter*. A note on the research history of the insular Celtic *t*-preterite // Keltische Forschungen. 2006. Bd. 1.
Stifter 2009 – *D. Stifter*. Early Irish // M.J. Ball, N. Müller (eds.). The Celtic languages. Second edition. London; New York, 2009.
Strachan, Bergin 1949 – *J. Strachan*, *O. Bergin*. Old-Irish paradigms and selections from the Old-Irish glosses. Dublin, 1949.
Thurneysen 1949 – *R. Thurneysen*. Old Irish reader. Dublin, 1949.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 1 2011

РЕЦЕНЗИИ

***Я.Г. Тестелец* (отв. ред.). Аспекты полисинтетизма: очерки по грамматике адыгейского языка.** М.: РГГУ, 2009. 715 с.

Рецензируемый сборник основывается на полевых материалах, собранных во время нескольких экспедиций 2003–2006 гг. в селении Хакуринохабль Шовгенского района Республики Адыгея, в которых участвовали студенты и аспиранты МГУ и РГГУ, а также аспиранты и сотрудники ряда других институтов РАН Москвы и Санкт-Петербурга.

Часть статей сборника разрабатывает традиционные адыговедческие темы, интерпретируемые в современном типологически ориентированном ключе, а именно: морфонологические чередования, выражение посессивности, употребление глагольных времен, категории залога и актантной деривации, семантика превербов, функции падежей, синтаксис нефинитных форм глагола. Ранее не подвергались систематическому описанию глагольная акциональность, синтаксическое выражение элементов информационной структуры, множественная релятивизация, стратегии выражения совпадающих актантов в полипредикативных конструкциях. Особо отметим карту «Адыгейский язык в Российской Федерации», выполненную Ю.Б. Коряковым. Несмотря на разнообразие тем, авторам удалось прийти к согласию по большинству теоретических вопросов[1], что делает данный сборник наиболее последовательным источником сведений об адыгейском языке, превосходящим в ряде отношений известную грамматику [Рогава, Ксрашева 1966].

В Хакуринохабле распространен темиргоевский диалект, лежащий в основе литературного адыгейского языка [Höhlig 1997: 39–41], и лишь в части семей, преимущественно представителями старшего поколения, употребляется абадзехский диалект, который долгое время сохранялся только в рассматриваемом районе, а также в ряде турецких провинций [Коряков 2006]. Наиболее системные отличия рассматриваемого говора от литературного языка относятся к сфере фонетики: например, литературное [е] после ларингальных согласных заменяется на [а] (*ha* 'собака' ~ литер. *he*).

Основную часть сборника предваряет краткий очерк адыгейской грамматики, выполненный П.М. Аркадьевым, Ю.А. Ландером, А.Б. Летучим, Н.Р. Сумбатовой и Я.Г. Тестельцом. Здесь компактно рассматривается большинство проблем, развитых далее в отдельных статьях. Очерк содержит множество ценных примеров и значительно превосходит по информативности аналогичные попытки сжатого описания адыгейской грамматики (см., например [Кумахов 2001]).

Остановимся подробно на содержании отдельных работ.

Статья П.М. Аркадьева и Я.Г. Тестельца посвящена трем морфонологическим чередованиям адыгейского языка (впрочем, наблюдающимся во всех адыгских языках), представляющим особую сложность для анализа: диссимилятивным чередованиям /с/ ~ /а/, /е/ ~ /ə/ и преобразованиям в префиксальных морфемах, содержащих фонему /j/. Предлагаемая интерпретация в общих чертах следует правилам, предложенным Р. Смеетсом [Smeets 1984], однако она более точна и базируется на другом диалектном материале.

В наиболее общем виде условия диссимилятивного чередования /е/ ~ /а/ формулируются так: вместо последовательности /СеСе/ выступает последовательность /СаСе/ или непосредственно на конце словоформы, или перед морфемами из определенного набора (здесь С –любой согласный или группа согласных); однако условия применения этого правила оказываются достаточно сложными. Сложность эта связана прежде всего с тем, что границы

[1] Это проявилось и в названии сборника: ведущей типологической характеристикой адыгейского языка авторы считают его полисинтетический строй, при котором почти все грамматические явления морфологически выражаются в глаголе.

области чередования, как правило, не совпадают с границами словоформы; причины этого несовпадения не всегда ясны, хотя, как правило, имеют диахроническое объяснение.

Не менее сложными оказываются и правила чередования в префиксах, содержащих фонему /j/; эти правила затрагивают префиксы агенса единственного числа *jə-*, посессора *jə-*, версии косвенного объекта *je-* и их комбинации с префиксом множественного числа *a-*, а также локативный преверб *jə-*. В результате действия правил в префиксальной части словоформы обычно появляется фонема /r/, что и позволяет авторам (может быть, не вполне в соответствии с традиционным пониманием этого термина в исторической фонологии) называть эту группу чередований «ротацизмом».

Статья И.М. Горбуновой посвящена посессивным конструкциям – теме, достаточно часто привлекавшей внимание адыговедов [Рогава, Керашева 1966; Кумахов 1971; Рогава 1980 и др.]. Адыгейский язык различает две модели выражения посессивности – «отторжимую» (или «отчуждаемую») и «неотторжимую». На морфологическом уровне отличие заключается в том, что неотторжимая принадлежность выражается только согласовательным маркером, в то время как отторжимая требует появления дополнительного посессивного префикса *-jə-*:

s-jə-š
1SG.PR-POSS-лошадь
'моя лошадь'
(отторжимая модель)
sɔ-g_w
1SG.PR-сердце
'мое сердце'
(неотторжимая модель)

Выбор техники маркирования посессивности зависит от семантического класса существительного. Класс «неотторжимых» имен содержит достаточно малочисленную группу существительных, являющихся одноместными предикатами с обязательной валентностью на посессора (типа *šə* 'брат', *g_wə* 'сердце', *λaq$_w$e* 'нога'). «Отторжимый» класс образуют все прочие имена.

Классы этих имен отчасти могут быть предсказаны исходя из общетипологической «иерархии неотторжимости», предложенной Дж. Николз: части тела и термины родства > часть / целое > пространственные отношения > культурно значимые предметы обладания > остальное [Nichols 1988: 572]. В дополнении к этому, неотторжимая модель морфологически более простая и, видимо, более архаичная, чем отторжимая [Nichols 1986; Кумахов 1989]. Однако для адыгейского языка чисто семантический характер распределения этих двух конструкций часто нарушается, и «отторжимая» модель имеет тенденцию расширять сферу употребления за счет «неотторжимой».

В работе выделяется несколько семантических классов, для которых актуальны различные модели выражения посессивности. Среди этих классов: части тела, покровы тела, физические дефекты и физиологические выделения, внутренние органы, термины родства, части неодушевленных предметов. Однако релевантность этой классификации для описания правил выбора моделей, на наш взгляд, остается невысокой. Дело в том, что практически все эти классы допускают обе модели, а предпочтение той или иной, видимо, определяется конкретной лексемой, а не семантическим классом как таковым; иными словами, правила выбора в конечном счете имеют лексический, а не семантический характер. Так, *ləpcə* 'мышца' выбирает только отторжимую модель, а *č'e* 'селезенка' – только неотторжимую, хотя обе эти лексемы относятся в интерпретации автора к одному классу (и примеры такого рода далеко не единичны).

Работа Н.В. Сердобольской и Ю.Л. Кузнецовой посвящена двойному падежному маркированию в адыгейском языке. Адыгейская форма эргатива способна в определенных контекстах также присоединять дополнительный показатель инструменталиса (*wetəč'ə-čẹ́* 'топор-INS' ~ *wetəč'ə-**m**-čẹ́* 'топор-ERG-INS'). В большинстве случаев различие в употреблении этих форм объясняется референциальным статусом словоформы, т.к. по общим правилам показатель эргатива в адыгейском языке может опускаться при неопределенных и нереферентных именах. Исходя из этого, в ряде работ по адыгейской грамматике предлагается различать определенное (с эргативом) и неопределенное (без эргатива) склонение (ср., например [Зекох 2002]). Кроме того, на употребление показателя эргатива имеются и более формальные ограничения: он обязателен при наличии показателя множественного числа и, наоборот, невозможен при собственных именах, личных местоимениях, именах с посессивным показателем и числительных.

При этом оказывается, что формы «определенного» и «неопределенного» склонения дифференцированы по функциям сильнее, чем этого требует референциальный статус словоформы. Так, оба варианта оформления равноправны и опираются исключительно на референциальный статус при выражении причины, образа действия, средства, временного интервала, обменного эквивалента, цены и срока. Однако вариант с двойным маркированием предпочтителен для аллативного значения (движение в сторону ориентира, но не не-

посредственно к нему) и строго обязателен для значений адэлатива (удаление от ориентира), стимула эмоции, источника звука, темы и точки приложения силы, независимо от референциального статуса ИГ.

В менее ясной части работы авторы рассматривают генезис адыгейского инструменталиса, который, кроме выражения инструмента, объединяет в себе пространственные значения адэлатива, аллатива и пролатива (движение через ориентир). Утверждается, что инструментальное значение не является базовым для соответствующего адыгейского падежа, т. к. выражение аллатива и еще нескольких значений, вообще говоря, типичным инструментальным падежам не свойственно. Авторы, опираясь на работу [Ганенков 2002], в качестве основного значения предлагают считать пролативное, все типичные значения зоны которого (маршрут, проход, участок движения) в адыгейском выражаются инструменталисом; при этом существенно, что показатели пролатива в языках мира часто развивают дополнительное значение инструмента [Там же: 46–54]. Не вполне тривиальным фактом кажется совмещение в адыгейском инструменталисе значений аллатива и адэлатива, кодирующих противоположные направления движения.

Кроме того, авторы предполагают, что значения, допускающие оба способа маркирования, группируются вокруг пролативной зоны, а те, что строго предписывают двойное маркирование, – вокруг адэлатива. Тем самым, в адыгейском языке произошло своего рода грамматическое обособление ряда адэлативных употреблений (которые, как считают авторы, к тому же склонны к определенной референции ИГ). Рассуждения, приводимые в доказательство этих тезисов, выглядят здраво, но слабым местом этой аргументации оказывается отсутствие типологических корреляций с адыгейским адэлативом. При этом авторы оставляют в стороне вопрос о том, насколько действительно выбор типа падежного маркирования зависит от референциального статуса ИГ, а насколько от ее пространственной семантики и окружающего контекста.

П.М. Аркадьев в работе об акциональной классификации глаголов делает попытку применить новейшие теоретические разработки в этой области для описания акциональных свойств ряда адыгейских предикатов. Несмотря на ограниченность выборки (порядка 130 предикатов), автор устанавливает ряд интересных фактов.

Автор опирается на получившую в последнее время распространение (несмотря на ряд серьезных теоретических недостатков, ср. [Плунгян, в печати]) двухкомпонентную теорию вида, которая различает внешнюю (собственно аспект, или viewpoint aspect) и внутреннюю (акциональность, или lexical aspect) аспектуальность [Smith 1997; Sasse 2002 и др.]; очевидным образом, термин «lexical aspect» удачным признать нельзя. При выделении акциональных классов используется несколько модифицированная схема из работы [Татевосов 2005], при которой для отнесения глагола к тому или иному классу требуется построение исчисления возможных значений двух параметров – универсального акционального значения (онтологический тип ситуации) и универсального аспектуального значения (определяемого в этой процедуре по контекстам настоящего и прошедшего времени). Таким образом, для каждого класса устанавливается акциональная характеристика, т. е. пара множеств акциональных значений для актуально-длительного значения настоящего времени и для перфективного претерита. Это позволяет выделить следующие универсальные классы[2]: стативный <S; S>, процессуальный <P; P>, (сильный) предельный <P; ES>, слабый предельный <P; ES, P>, моментальный <–; ES>, сильный инцептивно-стативный <S; ES>, слабый инцептивно-стативный <S; ES, S>, сильный ингрессивно-процессуальный <P; EP>, слабый ингрессивно-процессуальный <P; EP, P>, (слабый) мультипликативный <M; Q, M>.

Характерной чертой адыгейского языка является слабое различие между глаголами и именами: лексемы, которые семантически «естественно» было бы относить к одному или другому классу, в принципе, могут обладать одним и тем же набором служебных морфем и, соответственно, выступать в предикативной функции[3]. Еще одна трудность касается противопоставления динамических и стативных глаголов, проводимого на морфологическом уровне (динамические глаголы образуют полную глагольную парадигму), хотя это противопоставление далеко не всегда мотивировано семантически: например, семантически стативные глаголы *jeʒen* ‘ждать’ и *wəzən* ‘болеть’ являются «динамическими» по своим морфосинтаксическим свойствам. Обе эти трудности учитываются при анализе выборки.

В итоге в адыгейском языке вовсе не обнаруживается слабых ингрессивно-процессуаль-

[2] S – состояние (*спит*), P – процесс (*летит*), M – мультипликативный процесс (*кашляет*), ES – вхождение в состояние (*заснул*), EP – вхождение в процесс (*полетел*), Q – квант мультипликативного процесса (*кашлянул*).

[3] О различных способах «развести» эти категории см. с. 30–37 наст. изд.

ных глаголов <P; EP, P>, а слабые инцептивно-стативный <S; ES, S> и мультипликативный <M; Q, M> классы содержат исчезающе малое число примеров.

Интересно влияние акционального класса на интерпретацию нефинитных форм с префиксом *zere-* и суффиксом *-ew*, возглавляющих зависимую предикацию с таксисным значением (события P_1 и P_2 следуют непосредственно друг за другом). Оказывается, что предикаты стативного и процессуального классов допускают значение одновременности ситуаций, в то время как глаголы сильных инцептивно-стативного и ингрессивно-процессуального классов требуют значения следования.

Далее рассматривается ряд явлений а с п е к т у а л ь н о й к о м п о з и ц и и, т. е. аспектуально релевантного взаимодействия предиката и его аргументов и/или модифицирующих его обстоятельств. Среди явлений первого порядка отмечается, что акциональная характеристика инкрементального предиката практически не зависит от кумулятивности или квантованности аргумента. Кумулятивная интерпретация множественных аргументов (т. е. в виде нерасчленимого множества) в адыгейском практически отсутствует: формы мн. ч. по умолчанию воспринимаются как определенные, т. е. квантованные (ср. с наблюдениями в статье Н.В. Сердобольской и Ю.Л. Кузнецовой), кумулятивное же восприятие может диктоваться только прагматикой:

mə?erəsə-xe-r	$\hat{s}_w$ə-ʁə-x
яблоко-PL.ABS	гнить-PST-PL
‘яблоки сгнили (все || *часть)’	

Ценен и анализ сочетаемости адыгейских глагольных форм с обстоятельствами времени. Присутствие в предложении обстоятельства длительности приводит к непредельному (процессуальному или стативному) прочтению, а обстоятельства срока – к предельному (вхождение в состояние; редко – в процесс). Такая свободная сочетаемость приводит к ряду теоретических проблем: напомним, что при разбиении предикатов на акциональные классы именно сочетаемость с обстоятельствами времени изначально использовалась в качестве диагностического критерия [Vendler 1967], что отчасти верно для английского языка, однако решительно сопротивляется адыгейскому материалу.

Отчасти перекликается с рассмотренной тематикой статья Н.А. Коротковой «“Прошлое” и “сверхпрошлое” в адыгейском языке».

Автор уточняет представления о системе форм прошедшего времени в адыгейском языке, сформулированные в [Рогава, Керашева 1966]. Противопоставление претерита на *-ʁə* и имперфекта на *-š'təʁə* носит видовой характер и соответствует частотной оппозиции перфектив ~ имперфектив в других языках мира. При отсутствии контекстных модификаторов претерит обозначает, в зависимости от акционального класса предиката, либо переход от одного состояния или процесса к другому, либо квант мультипликативного процесса. Имперфект же имеет два основных значения: дуратив и хабитуалис. Кроме того, морф *-š'tə-*, входящий в состав показателя имперфекта, сам по себе многозначен: так, в зависимости от морфологического контекста, он способен обозначать будущее время (будущее I и II в традиционной терминологии) или предположительное наклонение (событие с высокой степенью вероятности). При этом для имперфекта предполагается грамматическая омонимия, т. к., во-первых, значение имперфекта не выводится из комбинации иррealиса и прошедшего времени, а, во-вторых, показатель имперфекта не может разрываться никакими другими показателями. Диахронически показатели имперфекта, с одной стороны, и предположительного наклонения / будущего времени, с другой, восходят к глаголу *š'ətən* ‘стоять’, но его грамматикализация, видимо, проходила двумя «волнами» с различными результатами. Подтверждением этому отчасти служит то, что они по-разному ведут себя в отношении морфонологического чередования *e ~ a*.

В адыгейском языке выделяют два «давнопрошедших» времени с показателями *-ʁaʁe* и *-š'tə-ʁaʁe* соответственно. Традиционная грамматика не членит эти показатели на составляющие, что, кажется, не вполне оправдано. Удвоение аффикса прошедшего времени *-ʁe ~ -ʁa* представляет собой случай употребления показателя р е т р о с п е к т и в н о г о с д в и г а, который, присоединяясь к словоформе с выраженным временным или аспектуальным значением, отодвигает ее значение назад по временной оси (ср. [Плунгян 2001]). Морфема *-ʁaʁe* представляет собой типичный показатель семантической зоны «сверхпрошлого» (в терминологии В.А. Плунгяна), кодируя таксисное значение, значение «прекращенного прошлого» (в некоторый момент в прошлом Р имело место, в момент речи не имеет), «аннулированного результата» (в некоторый момент в прошлом Р имело место и имел место его результат; в момент речи результат Р отменен другим действием), контрфактивного условия в прошлом (вместе с дополнительным маркером *-me*; в протасисе тех условных конструкций, обе части которых не соответствуют действительности) и экспериентивное значение (в момент речи важно наличие у субъекта ситуации определенного опыта). Вторая форма

плюсквамперфекта имеет более узкую семантику и используется только в аподосисе контрфактивных условных конструкций.

Важно, что в обоих типах плюсквамперфекта последовательность *-ʁаʁе* может разрываться некоторыми другими суффиксами (например, терминативным *-хе*), а это напоминает о том, что показатель ретроспективного сдвига *-ʁе* появляется в составе словоформы с уже выраженным аспектуально-темпоральным значением. Этот факт, как справедливо отмечается в статье, противоречит порядковой модели описания адыгейской словоформы [Smeets 1984; наст. сб.: 40–51], однако объяснение этого противоречия автором не дается.

Иная фундаментальная зона глагольных значений – модальность – рассматривается в статье Ю.Л. Кузнецовой, где довольно подробно анализируются все грамматически выраженные модальные значения адыгейского глагола, которые относятся, в основном, к ирреальной зоне, отличаясь высокой разветвленностью и специфицированностью значений. Среди наклонений, выражающих различные типы желания, различают императив, оптатив, дезидератив (практически не употребляющийся) и юссив (объединенные автором в «повелительные» наклонения). Несколько более сложна ситуация с условными наклонениями, маркирующими предикат зависимой клаузы: классические грамматики адыгейского выделяют четыре формы условного наклонения, но в изученном говоре обнаруживается только три (с показателями *-те*, *zə-…-č̣ė*, *-č̣ė*). Первая из этих форм, согласно приводимым данным, может использоваться в любой условной ситуации; вторая – в случае реального условия (т.е. истинность условия находится в пресуппозиции). Выделяется три сослагательных наклонения (*-š'tə-ʁə*. *š'tə-ʁa-ʁə*, *-n-jə*, *-n-ʁ-jə*), еще четыре, фиксируемых в [Рогава, Керашева 1966], не обнаруживаются в рассматриваемом говоре. Выбор конкретной формы осуществляется за счет двух групп параметров: желательности ситуации (желаемая vs. нейтральная) и степени ее реальности (реальная vs. ирреальная vs. контрфактивная).

Кроме того, в адыгейском встречается довольно редкое в языках мира ф р у с т р а т и в н о е наклонение, обозначающее ситуацию, при которой действие не имело желаемых последствий[4]. В этом смысле фрустратив принадлежит к уже упоминавшейся выше семантической зоне антирезультатива (см. подробнее [Плунгян 2001]). Фрустратив (да и антирезультатив в целом) относится к малоизученной области глагольной семантики, и поэтому посвященный ему обширный фрагмент крайне интересен. В статье также дается краткий обзор различных видов уступительных и предположительных наклонений. Последние крайне редки типологически и на адыгейском материале выделяются, насколько можно судить, впервые. Их дистрибуция зависит от степени вероятности события – о ж и д а е м ы е события (в свою очередь, в е р о я т н ы е или м а л о в е р о я т н ы е) противопоставлены н е о ж и д а н н ы м, и каждому из этих типов соответствует собственный глагольный показатель.

Крайне интересны две статьи А.Б. Летучего, посвященные различным типам актантной деривации: первая – бенефактиву и малефактиву, вторая – каузативу и декаузативу. Бенефактивная и малефактивная «версии» добавляют к валентной структуре глагола непрямой объект, маркированный эргативом, и не меняют оформления остальных актантов[5] (синтаксические свойства адыгейской версии в статье разбираются очень подробно). Аффикс бенефактива *fe-* обладает крайне разветвленной семантикой, выражая значения собственно бенефактива, адресата, конечной точки движения и цели, проспективного посессора[6], стимула ощущения, субъекта оценки, субъекта потенциальной ситуации и др. Каждое из этих значений детально анализируется.

Круг значений малефактивного префикса *ṣ̂ʷe-* у́же, хотя их сочетание также не является типологически тривиальным: к ним относятся непосредственно малефактив, положение объекта на конце ориентира, субъект неумышленного действия и субъект оценки, экспериенцер. Кроме анализа конкретных употреблений, автор предлагает убедительный диахронический сценарий расширения круга значений для обеих граммем.

Каузатив относится к повышающим деривациям, а декаузатив – к понижающим. Каузативный префикс *ʁе-* обладает крайне широкой дистрибуцией и способен сочетаться почти со всеми глаголами и деривационными маркера-

[4] Маркируется это наклонение двояко: при помощи показателя *-č̣ė* и при помощи показателя оптатива *ere-* вместе с маркерами прошедшего времени, хотя в последнем случае, кажется, предпочтительнее было бы говорить о фрустративных значениях оптатива.

[5] Отметим досадную опечатку в глоссах к примеру (2) на с. 331. Увы, опечатки, несколько затемняющие смысл изложения, встречаются и в других местах статьи.

[6] Глаголы этой версии обозначают действие, предполагающее передачу пациенса бенефицианту, но при отсутствии самой передачи (с. 340–341). Ср. русские контексты типа *Я купил тебе подарок*.

ми (реципрока, рефлексива, антипассива и др.). Кроме собственно каузативного значения он может обозначать гортатив (побуждение к совместному действию говорящего и адресата), а также приводить к ряду чисто синтаксических преобразований с утратой семантики каузации. Декаузатив же в адыгейском маркируется префиксом *zə-*; этот показатель полисемичен и чаще всего обозначает реципрок и рефлексив. Отдельно анализируется сочетаемость показателей каузатива и декаузатива с лабильными глаголами.

Семантике локативных употреблений аффиксов *pə-* и *ŝ̱ʷe-* посвящена работа Ю.В. Мазуровой. Оба рассматриваемых аффикса кодируют локализацию объекта на конце ориентира и в некоторых контекстах взаимозаменяемы. Грамматикализация этой пространственной ситуации, вообще говоря, не очень распространена в языках мира. Автор выделяет прототипическое значение каждого из синонимичных показателей. Так, для показателя *ŝ̱ʷe-* важно, что объект вертикально ориентирован, имеет острый конец; для *pə-* же размер объекта не определен, но локализируемый объект «прикреплен» непосредственно к концу ориентира. Эти прототипические схемы допускают ряд отступлений. Интересно, что префикс *pə-* происходит, по всей вероятности, от существительного *pe* 'нос', а *ŝ̱ʷe-* – от общеадыгского обозначения шеи, утерянного в адыгейском языке, но сохраненного кабардинским.

В работе Н.В. Сердобольской выдвигается ряд аргументов за единую интерпретацию форм второго будущего, инфинитива, масдара и супина, рассматриваемых традиционной грамматикой изолированно, но маркированных одним и тем же показателем *-n*, восходящим, видимо, к общеадыгскому показателю инфинитива. Для системы адыгейских нефинитных форм используется градуальная интерпретация проявления финитных свойств [Givón 1990], осложненная ослабленным противопоставлением глагольных и именных форм в адыгейском.

Второе будущее в адыгейском языке выражает ряд модальных значений, среди которых значения внешней возможности и внешней необходимости, эпистемической возможности и собственно будущего времени, которое, как показано во многих типологических работах (ср., в частности [Bybee et al. 1994; van der Auwera, Plungian 1998]), по существу также может рассматриваться как модальное значение.

К омонимичным формам с показателем *-n* относятся масдар, инфинитив и супин. Инфинитив и масдар довольно слабо отличаются друг от друга и от второго будущего по морфосинтаксическим критериям и занимают достаточно высокое место на шкале финитности. Фактически самое существенное отличие между этими формами и вторым будущим заключается в отсутствии временно́й соотнесенности обозначаемой ситуации. Супин выражает тот же круг значений и, в свою очередь, формально отличается от масдара наличием адвербиального суффикса *-ew* и, естественно, синтаксической позицией. Тем самым, предлагается единая трактовка всех перечисленных форм как выражающих граммему потенциалиса, обозначающую ситуацию, либо не локализованную темпорально, либо относящуюся к будущему и принадлежащую «ментальному миру говорящего (или субъекта главной предикации)» (с. 493).

Материалы, завершающие сборник, посвящены преимущественно синтаксической проблематике. Так, в работе Н.В. Сердобольской и А.В. Мотлохова исследуется семантика конструкций с сентенциальными актантами (КСА), т. е. конструкций, в которых зависимая предикация замещает одну из валентностей главного предиката. В адыгейском КСА кодируются при помощи различных нефинитных глагольных форм. При этом факт, событие и пропозиция выражаются разными способами. Первые два случая – фактивной формой и инструментальным падежом соответственно. Для пропозиции же картина сложнее. При пропозиции с нейтральным истинностным значением выбирается обстоятельственный падеж (на *-ew*), при ирреальной или ложной пропозиции – инструментальный падеж, а в случае ситуации в будущем или ситуации с родовым референциальным статусом (типа *мне нравится читать*) – потенциалис (в том смысле, как он был определен выше). Важное отличие от языков «европейского стандарта» заключается также в том, что для адыгейского не существенна кореферентность субъекта зависимой клаузы субъекту (или объекту) главной.

Коммуникативная структура адыгейского предложения рассмотрена в работе Н.Р. Сумбатовой. Противопоставление имен и глаголов, вообще слабо выраженное в адыгейском, поддерживается существованием в предложении «прототипических» именных и глагольных позиций: например, имена могут выступать в аргументной позиции без специального маркирования, а глаголы – только при наличии показателей абсолютива или эргатива. Нечто подобное наблюдается и в релятивных конструкциях: например, если одна из двух неоформленных групп – вершина конструкции, а другая – атрибут, то вершиной может быть только группа с именным корнем. Данные обстоятельства позволяют автору различать нейтральные

и маркированные с точки зрения коммуникативной структуры предложения. Так, для нейтральных предложений допустимы все структуры, в которых в фокус попадает вершинный предикат, аргумент же, заполняющий абсолютивную валентность главного предиката, может быть как оформлен падежным маркером, так и неоформлен. Для маркированных предложений допускается лишь помещение в фокус выраженного именем предиката, а вся остальная часть (топик) выносится в абсолютивную группу:

[svet a-rə] [a qeʁaʁə-r
Света тот-PRED тот цветок-ABS
zə-f-jə-š'efə-ʁe-r]
REL.IO-BEN-3SG.A-купить-PST-ABS
'Он купил эти цветы [именно] для Светы'.

Еще более специальная проблематика множественной релятивизации рассматривается в статье Ю.А. Ландера. Адыгейский различает две стратегии релятивизации: немаркированную, при которой абсолютивный актант релятивизируется из зависимой клаузы, а мишень специально не маркируется, и пронominальную (для неабсолютивных актантов), при которой на месте личного префикса, соответствующего мишени, появляется релятивный показатель zə-:

se s-ʔəʁ txələ-r
я 1SG.A-держать книга-ABS
'книга, которую я держу'
vs.

apč'ə-r zə-q_wətа-ʁə čåle-r
стекло-ABS REL.A-разбить-PST парень-ABS
'мальчик, разбивший стекло'

Адыгейская множественная релятивизация основана на кореферентности нескольких ролей (в отличие, например, от европейских языков, где в относительной конструкции используется только одна мишень)

zə-dež' Ṗaste
REL.PP-K пасте
z-e-z-ʁe-švə-ž'ə-ʁe-r
REL.IO-OBL-1SG.A-CAUS-есть-RE-PST-ABS
'тот, кого$_i$ я накормил пасте у него$_i$ дома'
(букв.: 'тот, которого я накормил пасте дома у которого')

При этом множественная релятивизация оказывается невозможна, если одной из мишеней является абсолютивный актант, что интерпретируется как запрет на совмещение двух стратегий релятивизации в одной конструкции.

Релятивизация из зависимых, подчас глубоко вложенных клауз, затрудненная в других языках, также обнаруживает крайнее распространение в адыгейском. Однако этот тип релятивизации должен сопровождаться релятивизацией какого-либо кореферентного актанта матричной клаузы, причем для необязательных актантов глагола предусмотрен специальный механизм вставки. Предполагается, что релятивизация из зависимой клаузы происходит циклически: релятивизация начинается с зависимой клаузы и постепенно «поднимается» к матричной. Такая картина наблюдается (правда, редко) и в ряде других языков мира, например, в малагасийском.

Завершает сборник работа Я.Г. Тестельца, посвященная невыраженным актантам в полипредикативных конструкциях (подчинительного типа). Опущение одной из двух или более совпадающих именных групп в главной и зависимой клаузах в адыгейском не подчиняется практически никаким формальным ограничениям. Материал рассматривается с позиций грамматики составляющих: получается, что адыгейский нарушает так называемый «принцип С», который предполагает, что полная ИГ не может иметь в качестве антецедента подлежащее клаузы, в которую она входит. Нарушение принципа С обнаруживается также в ряде других полисинтетических языков (например, в языках на-дене), но только в адыгейском это условие нарушается и при так называемом «семантическом связывании», при котором постулируется обязательное наличие командующего антецедента (имеется в виду генеративное С-командование, оно же структурный приоритет)[7]:

[a čåle-m mašjəne
тот парень-ERG машина
q-ə-š'efə-n-ew]
DIR-3SG.A-покупать-POT-ADV
faj rwəslan faj-ep
хочет Руслан хотеть-NEG
'Этот парень хочет купить машину, а Руслан не хочет'.

[7] Заметим, впрочем, что во многих исследованиях функционального направления вообще отрицается статус «принципа С» как универсального формально-синтаксического ограничения, и его действие объясняется скорее дискурсивно-прагматическими факторами (ср., например, любопытную дискуссию по этому поводу в первом номере журнала «Cognitive linguistics» за 2009 г.).

Это предложение может получать две интерпретации:

a. '...Руслан не хочет, чтобы парень купил машину'.

b. '...Руслан не хочет сам покупать машину'.

В работе предлагаются различные попытки объяснения этой типологической особенности.

Оценивая сборник в целом, следует подчеркнуть, что он является крайне важным источником сведений об адыгейском языке для широкого круга типологов; это особенно существенно ввиду типологической уникальности ряда фрагментов адыгейской грамматики. Однако жаль, что среди рассмотренных проблем не нашлось места интерпретации адыгейской акцентной системы, которая также демонстрирует ряд нетривиальных особенностей и явно достойна стать предметом отдельного тщательного изучения[8]. В остальном же книгу можно считать почти исчерпывающим справочником по адыгейской грамматике, во многих отношениях более полным и современным, чем традиционное – и наиболее известное – грамматическое описание [Рогава, Керашева 1966]. Следует, конечно, иметь в виду, что, в отличие от последнего, предлагаемое описание почти не ориентировано на корпус аутентичных адыгейских текстов (как и в целом на дискурсивные или корпусные методики и, шире, методики «исключенного наблюдения»): основной массив примеров в книге представляет собой искусственные изолированные высказывания, полученные с помощью прямого опроса двуязычных информантов. Как хорошо известно, опора на такой материал имеет свои недостатки и ограничения. Можно надеяться, что будущее полное описание адыгейского языка сумеет продемонстрировать эффективное сочетание обеих методик.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ганенков 2002 – *Д.С. Ганенков*. Типология падежных значений: семантическая зона пролатива // Исследования по теории грамматики. Вып. 2. Грамматикализация пространственных значений в языках мира. М., 2002.

Дыбо 2000 – *В.А. Дыбо*. Морфологизированные парадигматические акцентные системы: Типология и генезис. Т. I. М., 2000.

Зекох 2002 – *У.С. Зекох*. Адыгейская грамматика. Майкоп, 2002.

Коряков 2006 – *Ю.Б. Коряков*. Атлас кавказских языков. М., 2006.

Кумахов 1971 – *М.А. Кумахов*. Словоизменение адыгских языков. М., 1971.

Кумахов 1989 – *М.А. Кумахов*. Сравнительно-историческая грамматика адыгских (черкесских) языков. М., 1989.

Кумахов 2001 – *М.А. Кумахов*. Адыгейский язык // М.Е. Алексеева (ред.). Кавказские языки. М., 2001.

Плунгян 2001 – *В.А. Плунгян*. Антирезультатив: до и после результата // Исследования по теории грамматики. Вып. 1. Грамматические категории. М., 2001.

Плунгян, в печати – *В.А. Плунгян*. Введение в грамматическую семантику. М., в печати.

Рогава 1980 – *Г.В. Рогава*. Категория органической и вещественной принадлежности в адыгейском языке. Тбилиси, 1980.

Рогава, Керашева 1966 – *Г.В. Рогава, З.И. Керашева*. Грамматика адыгейского языка. Майкоп; Краснодар, 1966.

Татевосов 2005 – *С.Г. Татевосов*. Акциональность: типология и теория // ВЯ. 2005. № 1.

Bybee et al. 1994 – *J.L. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca*. The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.

Givón 1990 – *T. Givón*. Syntax: A functional-typological introduction. V. 2. Amsterdam; Philadelphia, 1990.

Höhlig 1997 – *M. Höhlig*. Kontaktbedingter Sprachwandel in der adygeischen Umgangssprache im Kaukasus und in der Türkei. München, 1997.

Nichols 1986 – *J. Nichols*. Head-marking and dependent-marking grammar // Language. V. 62. 1986.

Nichols 1988 – *J. Nichols*. On alienable and inalienable possession // W. Shipley (ed.). In honor of Mary Haas: From the Haas festival conference on Native American linguistics. Berlin, 1988.

Sasse 2002 – *H.-J. Sasse*. Recent activity in the theory of aspect: Accomplishments, achievements, or just non-progressive state? // Linguistic typology. 2002. V. 6. № 2.

Smeets 1984 – *R. Smeets*. Studies in West Circassian phonology and morphology. Leiden, 1984.

Smith 1997 – *C. Smith*. The parameter of aspect. Dordrecht, 1997.

van der Auwera, Plungian 1998 – *J. van der Auwera, V.A. Plungian*. Modality's semantic map // Linguistic typology. 1998. V. 2. № 1.

Vendler 1967 – *Z. Vendler*. Verbs and times // Linguistics in philosophy. Ithaca (NY), 2001.

[8] Изучению близкородственной абхазской акцентной системы была посвящена работа В.А. Дыбо [Дыбо 2000: 660–674].

К.М. Корчагин

R.M.W. Dixon. **Basic linguistic theory.** V. 1–2. Oxford: Oxford university press, 2010. V. 1: Methodology. xvi + 381 p. V. 2: Grammatical topics. xvii + 489 p.

Развитие любой области знаний, в частности лингвистики, предполагает постоянную перекличку между теорией и эмпирикой: появление новых данных приводит к формулировке новых понятий и теоретических предположений, а они, в свою очередь, становятся инструментом при сборе новых эмпирических данных. Ситуация в лингвистике, однако, во многом осложняется тем, что разработкой теоретического аппарата и накоплением эмпирического материала зачастую занимаются разные специалисты. В результате, с одной стороны, известно множество теорий, по сути дела никогда не применявшихся при описании целостных языковых систем, а с другой, появляющиеся описания конкретных языков часто уже в момент публикации оказываются безнадежно устарелыми и не содержат информации, необходимой для решения теоретических и типологических задач.

Таким образом, одна из актуальнейших задач лингвистики состоит в том, чтобы сократить разрыв между теорией языка и описаниями конкретных грамматических систем. Именно на решение этой задачи в первую очередь нацелен рецензируемый труд Р. Диксона. Заглавие книги содержит слово «теория», однако теория эта целиком вырастает из опыта создания грамматических описаний конкретных языков и эксплицитно нацелена на применение при создании новых грамматик, прежде всего, для тех языков, которые ранее не описывались или описывались лишь фрагментарно. При этом фигура автора заведомо вселяет веру в успех мероприятия: за сорок с лишним лет лингвистической деятельности Диксон написал (работая в полевых условиях и в большинстве случаев практически «с чистого листа») грамматики целого ряда языков, значительно различающихся по генетической и ареальной принадлежности, и одновременно внес фундаментальный вклад в теоретическое осмысление едва ли не всех ключевых тем лингвистической типологии.

Следовательно, предлагаемая книга мыслится как уникальное по охвату обобщение всего этого колоссального опыта полевого лингвиста и лингвиста-теоретика в одном лице. Впрочем, здесь следует сразу заметить, что название книги («Базовая лингвистическая теория») все же несколько шире, чем ее реальное содержание: дело в том, что, по мнению автора, любой лингвист **должен** (именно это модальное значение многократно выражается Диксоном)[1] заниматься описанием новых языков в полевых условиях, ориентируясь при этом на достижения лингвистической типологии; таким образом, многие области лингвистики, не связанные напрямую с полевыми исследованиями и типологией, не попадают в поле зрения автора, хотя, кажется, названными и смежными с ними областями лингвистика в целом все же не ограничивается.

Рецензируемая книга замыслена как трехтомник. Первые два тома вышли из печати, третий находится в стадии подготовки. Первый том («Methodology») посвящен широкому кругу методологических проблем, которые с неизбежностью встают перед всяким лингвистом, занимающимся описанием мало изученного языка в полевых условиях. Главы второго («Grammatical topics») и планирующегося третьего («Further grammatical topics») тома посвящены отдельным компонентам грамматики, ожидаемым параметрам типологического варьирования и способам интерпретации соответствующих явлений.

Каждому из томов предпосылается указание на то, что, хотя книга, естественно, в основном предназначена для чтения «от начала до конца», отдельные ее главы все же мыслятся как относительно независимые друг от друга. Этой особенностью определяется и довольно специфическая структура книги – это своего рода гипертекст, включающий большое количество перекрестных отсылок, иногда даже значительных повторений. Так, например, многие грамматические рассуждения появляются в практически неизменном виде дважды: сначала в первом томе, где они призваны проиллюстрировать способы решения той или иной методологической или аналитической проблемы, а затем во втором, где они вписываются в контекст общих представлений о конкретном грамматическом феномене.

Первый том состоит из девяти глав. В первой главе («Basics») излагаются взгляды автора на основные задачи лингвистики в целом и на те задачи, которые должен ставить перед собой лингвист, собирающийся создать описание ранее не изученного языка (как уже было сказано, эти два вопроса для автора практически идентичны). Здесь же дается общая характеристика понятия, вынесенного в заглавие книги, – «базовой лингвистической теории».

[1] Ср. «всякий, кто намеревается должным образом научиться лингвистике, **должен** выбрать язык, который (почти) не был описан» (с. 2, выделено мной. – *С.С.*).

Эту теорию автор противопоставляет жестко им критикуемым «формальным» теориям языка по ряду признаков.

Во-первых, эта теория мыслится как продолжение того представления о структуре языка, которое со времен античных и древнеиндийских грамматистов и до настоящего времени находило отражение в практике **написания грамматик конкретных языков**. Основой понятийного аппарата этой теории должны быть те базовые единицы, относительно реального наполнения которых среди лингвистического сообщества ожидается определенный консенсус («слово», «слог», «существительное», «предложение» и т.д.).

Во-вторых, утверждается, что «сторонники базовой лингвистической теории» воспринимают языкознание как **естественнонаучную** дисциплину.

В-третьих, базовая лингвистическая теория мыслится исключительно как теория, направленная на изучение **целостных** языковых систем; таким образом, для этой теории оказывается неприемлемым анализ какой-то подсистемы языка (фонологической, грамматической, лексической, а тем более какого-то компонента такой подсистемы) без учета ее роли в общей структуре языка. Отмечается, что этот важный теоретический принцип неизбежен для всякого лингвиста, пишущего грамматику нового языка, но не является очевидным для лингвистов, которых Диксон относит к «формальному» лагерю. Приводится несколько поучительных примеров того, что адекватная интерпретация того или иного грамматического компонента оказывается невозможной без учета фонологических закономерностей конкретного языка или его лексической организации и наоборот.

Следует, впрочем, отметить, что именно в первой главе заложена едва ли не основная сложность, ожидающая читателя при знакомстве с книгой. Как можно видеть, перечисленные идеологические установки носят, вообще говоря, весьма общий характер; думается, что они могут разделяться широкой частью лингвистического сообщества (хотя, безусловно, и не всеми лингвистами). Однако уже в этой главе, а особенно во многих последующих, «базовой лингвистической теории» приписывается большое количество частных постулатов, аналитических решений и предлагаемых терминологических выборов, вообще говоря, из исходной идеологической установки напрямую не вытекающих. Так, например, уже в первой главе вводится противопоставление грамматики и лексикона; это жесткое, по мнению автора, разделение последовательно проводится и во всех последующих частях: так, любая морфема любого языка всегда интерпретируется автором либо как лексическая, либо как грамматическая, без каких-либо полутонов. Насколько такое жесткое разделение выводимо из кратко суммированных выше идеологических установок, остается не вполне понятным.

Естественно, таким образом, возникает вопрос о том, насколько широк охват того, что можно, по мнению автора, считать «базовой лингвистической теорией». Появляется ощущение некоторой ее «двойной идентичности»: с одной стороны, это некий широкий подход к языку, противопоставленный небольшому кругу других возможных платформ (прежде всего, порождающим грамматикам в разных их ипостасях), с другой же стороны, это все же и теория в более узком смысле слова, в какой-то мере оказывающаяся в ряду других предлагавшихся «авторских» теорий (таких, обозначения которых в английском языке обычно включают в качестве последнего слова «grammar»: construction grammar, cognitive grammar и т. д.), пусть и значительно отличающаяся от них.

Во второй главе («Principles to follow») предлагается набор важных правил, которым необходимо следовать при обучении лингвистике, при подготовительной работе по созданию грамматики и непосредственно при ее написании. В частности, здесь говорится о том, что работа над новым языком должна одновременно вестись по всем фронтам (а не последовательно, например, фонология, затем морфология, затем синтаксис), что порядок изложения фактов в тексте грамматики должен выстраиваться с учетом специфики языка (например, показывается, что информацию лучше подавать в таком порядке, который сделает ее понимание максимально полным, что не всегда будет соответствовать традиционным представлениям об уровневой организации языковой системы). Все это сопровождается практическими рекомендациями, при помощи которых исследователь сможет избежать того беспорядка в понимании фактов, которым как будто бы грозит одновременное развитие множества исследовательских линий.

В этой же главе содержатся весьма едкие замечания о «модных» тенденциях в лингвистике и призывы избегать таких соблазнов. Среди прочего, указывается на необходимость скрупулезности как при работе с языковыми данными, так и с лингвистической литературой; приводятся многочисленные примеры лингвистических мифов, возникших из-за неточного цитирования или цитирования «по цепочке» из не вполне надежных источников. Таким образом, показывается, что при работе с литературой необходимо «всегда обращаться к пер-

вичному источнику» всякой информации, не доверяясь вторичным изложениям.

В этой же главе содержится полезный список рекомендуемой литературы, включающий в себя 19 «надежных» грамматик различных языков, а также около 30 важнейших, по мнению автора, теоретических работ (из которых только 10 написаны за последние 30 лет).

Третья глава («Grammar overview»), по сути дела, является предвосхищением последующих двух томов трехтомника: здесь впервые вводятся самые важные грамматические понятия, необходимые при работе с языковым материалом: слово, клауза, части речи, группа (phrase), словоизменение и словообразование, предложение и т.д. Здесь же предварительно обсуждаются основные типы систем кодирования ядерных аргументов (аккузативная, эргативная и др.), типы зависимых клауз, глагольные категории, не связанные с пространственными значениями (в этом разделе обсуждаются категории, которые в англоязычной литературе принято обозначать как «зона Т-А-М», т.е. времени, вида и модальности, однако Диксон избегает этот термин), именных категорий (род, число, определенность), актантных дериваций и т.д. Практически каждый раздел этой главы напрямую перекликается к какой-то из глав второго или планирующегося третьего тома.

В последующих трех главах вновь поднимаются собственно методологические вопросы. В четвертой главе («Analysis, argumentation, and explanation») обрисовывается путь, которым лингвист должен идти от данных к их интерпретации. Одна из основных идей этой главы состоит в том, что каждый язык следует описывать без априорных представлений о том, что **должно** быть обнаружено в его системе. Другими словами, связь между типологическими обобщениями и фактами конкретных языков может быть только индуктивной, никогда дедуктивной. Следствием из этого является, в частности, то, что теоретические понятия, играющие существенную роль в организации одного языка, могут оказаться совершенно неприменимыми или нерелевантными для другого (среди примеров обсуждается противопоставление словоизменения и словообразования).

В этой же главе разбираются случаи, когда одни и те же данные в принципе могут получать несколько различных интерпретаций, и предлагаются способы поведения лингвиста в таких ситуациях. Основная мысль сводится к тому, что, хотя в общем случае предпочтение должно отдаваться «более простой» интерпретации, в целом выбор интерпретации должен быть подчинен той задаче, которая ставится лингвистом; другими словами, утверждается, что далеко не всегда существует одно «верное» решение, а все остальные являются «неверными». Так, на примере двух близкородственных аравакских языков показано, что при установлении в них границ между частями речи возможны разные подходы, при этом один из подходов предпочтителен при синхронном описании отдельной системы, а другой даст лучшие результаты при сопоставлении языков друг с другом.

В этой же главе говорится о возможных типах объяснения в лингвистике, при этом внутрисистемные объяснения противопоставляются различным «внешним» объяснениям устройства языковой структуры (например, связанным с процессами порождения речи, историческим происхождением, контактными влияниями). Отмечается, что каждое из этих объяснений в принципе не исключает других.

Здесь, впрочем, можно заметить, что в аналитических ситуациях, подобных тем, которые разбираются в четвертой главе, сам Диксон в большинстве случаев все же отчетливо отдает предпочтение ровно одной интерпретации, отметая все альтернативные варианты и, главное, отказываясь от мысли о том, что та или иная единица может сочетать в себе признаки нескольких различных структур (и именно этим быть интересной для теории грамматики). Так, например, в Главе 3 (то же полуторастраничное рассуждение дословно повторяется в 18-й главе второго тома) разбирается структура следующих двух английских предложений:

(1) [*John's playing the national anthem*] *pleased Mary*.

(2) [*John's playing of the national anthem*] *pleased Mary*.

После контрастивного анализа этих двух структур по ряду, вообще говоря, обсуждавшихся в литературе параметров (возможность модификации наречием или прилагательным, способ выражения отрицания и т. д.) Диксон приходит к выводу, что в первом случае в квадратные скобки заключена особого рода клауза, а во втором – именная группа (следствием такого решения является и то, что показателям *'s* и *ing* приходится приписать абсолютно различные статусы для двух примеров). Думается, что в подобных ситуациях признание возможной многоликости грамматических структур, постулируемое применительно к другим примерам в четвертой главе, могло бы быть полезным. Действительно, в работах по типологии номинализаций [о которых говорят обычно применительно к примерам типа (1)–(2), хотя сам Диксон понимает этот термин несколько у́же] внимание часто как раз и заостряется на том, что номинализации определенным образом **сочетают** глагольные и именные свойства

(ср. [Koptjevskaja-Tamm 1993]); здесь же возможность такого сочетания даже не упоминается.

Пятая глава («Terminology») на новом витке возвращается к вопросу (частично затрагивавшемуся в третьей главе) об использовании терминов в лингвистических работах. Здесь еще раз последовательно рассматриваются некоторые узловые проблемы языковой структуры (грамматика и лексикон, аффиксы, клитики и слова, морфологический тип языка, ядерные аргументы, составляющие, вершины и зависимые и т.д.) и подчеркивается важность осознанного, мотивированного и единообразного использования терминов при обсуждении различных грамматических явлений. Особое внимание уделяется известной проблеме, заключающейся в том, что в использовании лингвистической терминологии, особенно понятий, не ассоциирующихся с конкретной теорией (именно такими преимущественно и оперирует «базовая лингвистическая теория»), наблюдается значительный разнобой. Таким образом, единица, описываемая, например, как «клитика» в грамматике языка X, может не иметь никаких общих свойств с «клитикой», постулируемой автором грамматики языка Y, из-за различия в используемых (эксплицитно или имплицитно) критериях. Приводятся и многочисленные случаи терминов, которые вообще не имеют устоявшегося значения и используются в разных региональных традициях в значениях, друг с другом никак не связанных («четвертое лицо»). Таким образом, убедительно показывается, что для всякого лингвистического исследования необходимо единообразное использование терминологии и введение ее на внятных и непротиворечивых основаниях. Стóит, впрочем, заметить, что еще в предшествующей главе Диксон пишет: «следует всегда помнить, что терминология это всегда терминология, т. е. просто имена (names)» (с. 204). В частности, рассматриваются случаи, когда тот или иной термин, вообще говоря, является неудачным, однако признается, что им следует пользоваться, так как он является достаточно устоявшимся и минусы попыток его замены будут превосходить возможные плюсы (это говорится, например, о термине «антипассив»).

Однако и здесь приходится заметить, что сдержанное отношение к выбору терминов, согласно которому термин – это в конечном счете всегда несколько условный инструмент описания, а не готовое объяснение, проводится в самой рецензируемой книге далеко не всегда. Напротив, книга буквально испещрена указаниями на то, что тот или иной термин часто используется в литературе «неправильно» и/или что от того или иного термина при работе над грамматикой лучше отказаться, а также призывами к использованию терминов в таких значениях, которые едва ли можно назвать традиционными. Так, например, в книге многократно критикуется использование термина «предложение» в значении «клауза» (или в значении, близком к русскому «простому предложению»); термина «предикат» в «логическом смысле» (в частности, предлагается отказаться от термина «именной предикат» – предлагается считать, что предикатом в связочных предложения является только глагольная связка); термина «морфосинтаксис» в значении морфология и синтаксис; «местоимение» в широком значении (предлагается зарезервировать его для личных местоимений) и т.д. Помимо этого, в разных местах настойчиво предлагается полностью отказаться от таких терминов, как «полисинтетический», «управление», «медиальный залог», «указательное местоимение» и т.д.

В ряде случаев Диксон с той или иной степенью готовности признает, что некоторое «неправильное» использование термина устоялось в лингвистике. В таких случаях педантично почти при каждом упоминании сначала используется «правильный» термин, а затем в скобках приводится прижившееся обозначение, например: «порядок составляющих (**иногда** неправильно называемый ‘порядком слов’)» (выделено мной. – *С.С.*); привычные «предлоги» и «послелоги» многократно предлагается обозначать как «падежные слова» или «падежные клитики» и т.д.

Далее во многих случаях термины вводятся аксиоматически без какого бы то ни было обсуждения стоящей за ними (и часто хорошо изученной) теоретической и типологической проблематики; например, подлежащее определяется как «объединение S и A», т.е. центрального ядерного актанта непереходной клаузы и агенсоподобного ядерного актанта переходной клаузы (с. 229).

Наконец, в довольно многочисленных случаях термины вводятся в таких значениях, которые встречаются в типологической литературе весьма нечасто, однако при этом делается утверждение о том, что это устоявшееся употребление термина; так, например, предлагается зарезервировать термин «mood» за категорией, обслуживающей противопоставление повествовательных, вопросительных и повелительных предложений, а термин «modality» – за категорией, связанной с различными оттенками ирреальности. Под глагольной группой («verb phrase») предлагается понимать синтаксическую единицу, включающую глагол и, потенциально, слова, выражающие грамматические значения, ассоциирующиеся с глаголом

(времени, долженствования, возможности и т.д.), но не какие-либо аргументы глагола.

Наконец, не вполне типично и предлагаемое Диксоном употребление термина «вершина» («head»); в пятой главе перечисляются некоторые критерии вершинности (способность функционировать самостоятельно, без зависимого, в качестве составляющей; способность вызывать согласование; способность определять общие синтаксические свойства всей составляющей) (с. 229). Другие довольно многочисленные критерии, часто обсуждаемые в обширной литературе по синтаксическим зависимостям (см. хотя бы [Zwicky 1985; Corbett et al. 1993]), даже не упоминаются. Подводя итог обсуждению этого термина, Диксон пишет: «...**принятое** употребление термина "вершина" – это применение его к группам. В последнее время вошло в моду иное употребление, согласно которому предикат стали называть вершиной клаузы. Ни один из названных выше критериев вершинности в составе группы здесь не применим» (с. 230, выделено мной. – *С.С.*). Понятно, что при таком подходе «вершины» не обнаруживаются не только в клаузах, но и в том, что в других работах часто называется «предложными группами» (от этого термина, естественно, Диксон также многократно призывает отказаться, как и от терминов «вершинное и зависимостное маркирование»).

Итак, в целом складывается впечатление, что в вопросах терминологии автор «базовой лингвистической теории» выступает прежде всего в ипостаси крупного лингвиста-теоретика, имеющего свое, часто далеко не тривиальное мнение по большинству грамматических вопросов. Стремление к следованию «традиционному» употреблению терминов оказывается в тени множества собственных авторских теоретических представлений. Разумеется, проблема в целом на данный момент для лингвистики неразрешима принципиально хотя бы потому, что в каждой области грамматики обычно сосуществует несколько «традиций», обычно значительно различающихся по конвенциям терминоупотребления. Однако потенциальный читатель рецензируемой книги должен понимать, что в ней в действительности представлена не нейтральная «традиционная» система терминов (и стоящих за ними понятий), а весьма своеобразная авторская концепция грамматики, отражающаяся, в частности, и в терминологическом выборе. Таким образом, призывы к осторожности при ориентации на термины в работах других лингвистов, содержащиеся в пятой главе, в полной мере должны относиться и к чтению самой книги Диксона.

Шестая глава («Doing typology») в какой-то мере продолжает темы, затрагиваемые в предшествующей главе, однако здесь речь идет о необходимости единообразия не на уровне терминоупотребления применительно к отдельно взятому языку, а на уровне межъязыкового сравнения. Показывается, что для такого сравнения необходимо приведение сравниваемых языков к единой понятийной системе, и даются некоторые примеры того, как невыполнение этого требования приводило к неудачным и искаженным типологическим результатам. Далее на примерах из области фонологической, грамматической и лексической типологии показывается, что осмысленная типологическая работа предполагает внимание к самым разным компонентам грамматических систем сопоставляемых языков, а сравнение изолированных единиц, структур и даже подсистем имеет нежелательные последствия.

Здесь же кратко рассматривается вопрос о создании типологических выборок. Основной тезис этого раздела сводится к тому, что при работе с выборками нельзя жертвовать качеством в угоду количеству. В частности, подвергаются критике многие работы, опирающиеся на выборки, в которых представлены языки, для которых, по мнению автора, не были привлечены (или даже не могли быть привлечены по причине отсутствия) надежные источники; к числу таких жестко критикуемых работ относятся, в частности, [Bybee et al. 1994; Haspelmath et al. 2005]. Этим работам противопоставляются исследования, в которых, по мнению автора, работа по созданию выборки велась с должной тщательностью [Dixon 1994; Aikhenvald 2004].

Небольшие по объему седьмая («Phonology») и восьмая («Lexicon») главы носят отчасти вспомогательный характер и содержат основные принципы, которых следует придерживаться автору грамматики при описании фонологической системы и лексикона изучаемого языка соответственно. Седьмая глава носит более практический характер – здесь очень кратко описываются основные возможные системы организации фонем, слогов, просодических противопоставлений, системы ударения и т.д., отмечается, что полное описание языка должно содержать не только инвентарь фонологических единиц, но и правила их сочетаемости, закономерности нейтрализаций противопоставлений и т.п. Восьмая глава больше похожа на другие главы первого тома и в целом носит методологический характер – здесь не столько очерчиваются возможные системы организации лексических противопоставлений, сколько закладываются общие принципы работы с лексиконом. Диксон призывает обращать внимание на детали лексической семантики и учитывать культурную специфику того сообщества, в котором ведется работа (в связи

с этим критикуются лексико-статистические исследования с использованием списков Сводеша). В частности, говорится о том, что работа по созданию грамматики и словаря должна вестись одновременно, при этом эти продукты деятельности лингвиста должны создаваться в рамках единой понятийной системы и содержать взаимные отсылки (отмечается при этом, что существующая практика создания словарей значительно отстает от уровня грамматических описаний, что мешает планомерному развитию лингвистики как науки).

Последняя, девятая, глава первого тома («Field linguistics») содержит основанные на собственном огромном опыте работы автора в полевых условиях рекомендации, касающиеся целей, этических принципов и методов полевой работы. Высказывается идущая вразрез с «мейнстримом» современной полевой лингвистики идея о том, что мотивацией для описания языка должно быть стремление к пониманию устройства лингвистики и интеллектуальная радость от прикосновения к новому неописанному материалу, в то время как желание задокументировать исчезающий язык или способствовать его сохранению должно играть лишь вторичную роль. При этом, впрочем, большое внимание уделено этическим аспектам работы в полевых условиях и тем обязательствам перед языковым сообществом, которые лингвист должен быть готовым взять на себя, решаясь на долгую полевую работу (естественно, написание грамматики без долгого погружения в языковую среду, по мнению автора, невозможно). В этой же главе даются ценные рекомендации по технической организации работы – как, где и когда следует собирать, записывать и разбирать языковой материал (все это рекомендуется делать непосредственно в полевых условиях), а какие компоненты работы могут быть отложены до рабочей обстановки в городе.

Наконец, здесь разбирается вопрос об оптимальном соотношении анализа естественных текстов и работы методом прямого анкетирования при помощи языка-посредника («элицитации»). Диксон настаивает на том, что сбор и внимательный анализ текстов должен быть основой любого планируемого грамматического описания, при этом с самого начала полевой работы. Анкетированию отводится лишь вспомогательная роль, преимущественно на поздних (!) этапах работы.

Как уже было сказано, главы второго (и планируемого третьего) тома рецензируемой книги организованы по принципу компонентов грамматической системы. Насколько можно судить, здесь в гораздо большей степени, чем в первом томе, автор опирается на свои предшествующие работы разных лет, посвященные различным аспектам грамматической структуры. Такая ситуация в значительной мере затрудняет задачу рецензента – большинство глав второго (и, вероятно, в будущем и третьего) тома книги являются конденсированным изложением авторских представлений по каждой из затрагиваемых тем. В связи с этим изложение содержательной канвы второго тома будет поневоле носить эскизный характер, а там, где это возможно, будут даваться отсылки на те теоретические работы Диксона, которые легли в том или ином виде в основу отдельных глав.

Десятая глава («Grammatical word and phonological word») посвящена критериям выделения слова. Основная ее идея сводится к тому, что слово участвует одновременно в двух иерархиях – «фонологической» и «грамматической». Соответственно критерии выделения фонологического слова и грамматического слова принципиально независимы друг от друга. В большинстве языков (и в большинстве случаев в языках «оставшихся в меньшинстве») эти две группы критериев дают одни и те же результаты, но возможны и расхождения между результатами применения критериев двух типов (ср. клитики, являющиеся грамматическими, но не фонологическими словами, с одной стороны, и многие случаи словосложения и редупликации, которые могут образовывать одно грамматическое слово, включающее два фонологических, с другой). Более подробное изложение проблематики содержится в [Dixon, Aikhenvald 2002].

Одиннадцатая глава («Distinguishing noun and verb») содержит обсуждение вопроса о том, является ли универсальным противопоставление существительных и глаголов. Автор настаивает на утвердительном ответе на этот вопрос. В этой главе содержится обсуждение некоторых предлагавшихся в литературе контрпримеров и показывается, что во всех этих языках противопоставление существительных и глаголов менее ярко выражено, чем в привычных европейских языках, однако является, тем не менее, грамматически релевантным.

В следующей, двенадцатой, главе («The adjective class») ставится аналогичный вопрос об универсальности класса прилагательного, при этом снова утверждается, что соответствующая часть речи может быть выделена для всех языков, для которых этот вопрос был рассмотрен достаточно детально. При этом особо подчеркивается, что вывод об универсальности класса прилагательного делается не на основе априорных представлений, а на основе детального анализа фактов конкретных спорных

в этом отношении языков. Демонстрируется, что классы прилагательного в разных языках могут значительно различаться по размеру – от закрытой группы из всего лишь нескольких лексем до полноценной и продуктивной части речи, как в большинстве европейских языков. В связи с известной идеей о существовании прилагательных, похожих на существительные («nouny»), и прилагательных, похожих на глагол («verby»), высказывается предположение, что первые более характерны для языков с зависимостным маркированием, а вторые – для языков с вершинным маркированием (хотя сами эти термины и избегаются, см. выше). Более подробное обсуждение проблематики прилагательного содержится в [Dixon 1977; 2004].

Лейтмотивом тринадцатой главы («Transitivity») является идея о том, что «каждая клауза имеет определенное значение признака переходности / непереходности: существуют переходная, непереходная, а также в ряде случаев расширенная переходная и в редких языках расширенная непереходная (схемы)» (с. 152). В этой главе рассматриваются различные семантические параметры, связанные с синтаксической (не)переходностью, способы кодирования ядерных актантов в различных языках (аккузативные, эргативные, расщепленные). Соответствующие понятия предлагается расширить на типы установления кореферентных отношений между аргументами клауз (но, в отличие от многих других работ, не на другие явления, такие, как образование императивов, рефлексивов, образование супплетивных форм глагола в зависимости от числа одного из ядерных аргументов и т.д.). Также здесь рассматривается вопрос о неканоническом маркировании ядерных актантов переходных и непереходных клауз. Эта глава опирается на ряд предшествующих публикаций [Dixon 1989; 1994; Aikhenvald et al. 2001].

Четырнадцатая глава («Copula clauses and verbless clauses») посвящена семантике тех отношений, которые выражаются в различных языках конструкциями со связкой и/или безглагольными клаузами, а также синтаксической организации этих клауз. На материале многих языков показывается, что подлежащее связочной клаузы обычно похоже по своим свойствам на подлежащее непереходной клаузы (S). В то же время тот участник связочных клауз, который в терминологии Диксона называется «дополнением связки» («copula complement», в русской терминологии этому понятию соответствовало бы понятие «именной части составного именного сказуемого») может обладать признаками, не характерными для других ядерных аргументов. В этой главе развиваются идеи, высказанные в [Dixon 2002b].

В пятнадцатой главе («Pronouns and demonstratives») обрисовывается типология личных местоимений и «демонстративов» («указательных местоимений» в более привычной терминологии). Здесь подробно рассматривается набор возможных противопоставлений в системе личных местоимений (категории лица – особое внимание уделяется его неоднородности – инклюзивности / эксклюзивности, числа, рода). Отмечается, что в самых разных языках единица, обозначающая множество из говорящего и адресата ('я' + 'ты'), может обладать особым грамматическим статусом, на основе чего далее строятся сложные системы личных местоимений, часто демонстрирующие нейтрализации ряда противопоставлений в некоторых фрагментах системы. Далее здесь последовательно рассматривается противопоставление свободных и связанных местоимений (к последним относятся единицы, часто описываемые как согласовательные показатели глагола) и их грамматические различия. Также в этой главе намечаются пути изучения контрастов в системе демонстративов (противопоставляются именные демонстративы типа 'этот' и 'тот', наречные типа 'здесь' и 'там', глагольные – лексемы со значением 'делать так'). Эта глава продолжает исследовательские линии, заложенные в [Dixon 2002a: 243–401; 2003].

Шестнадцатая глава («Possession») посвящена конструкциям, выражающим отношения принадлежности. В первой ее части рассматриваются именные конструкции и вводятся основные параметры типологического и внутриязыкового варьирования в этой области; показано, что эти параметры могут быть связаны со свойствами обладателя, обладаемого и отношениями между ними. Большое внимание уделяется противопоставлениям отчуждаемой и неотчуждаемой принадлежности, при этом показано, что, во-первых, существуют системы, в которых представлены более чем двухчастные противопоставления, связанные с этими признаками, а во-вторых, что двухчастные системы проводят различия между тем, что принято называть неотчуждаемой и отчуждаемой принадлежностью, далеко не единообразно. Во второй части главы кратко характеризуются предикативные структуры, выражающие посессивные отношения (структуры типа *Джон имеет машину*, *у Джона есть машина*, *машина принадлежит Джону* и т.д.).

В семнадцатой главе («Relative clause constructions») намечены некоторые противопоставления, которые нужно иметь в виду при изучении относительных клауз. Типология относительных конструкций выстраивается, прежде всего, с учетом того, где и каким об-

разом в таких структурах выражастся общий аргумент главной и ограничивающей клауз (в главной клаузе, в зависимой, в обсих, ни в одной); другими параметрами типологизации относительных конструкций становятся синтаксическая позиция общего участника в каждой из двух клауз, а также свойства маркера релятивизации (если он вообще имеется; это может быть относительное местоимение, маркер на глаголе в зависимой клаузе, просодическая характеристика и т. д.). Далес в этой же главе рассматриваются некоторые конструкции, которые обладают частью свойств канонических относительных клауз, но не полным их набором. В целом это одна из немногих глав книги, в которых не слишком сильно ощущается индивидуальный вклад автора в изучение проблематики; впрочем, следует заметить, что большой интерес представляет обсуждение критериев (семантических и дискурсивных), позволяющих выделить как особую конструкцию относительные клаузы для тех языков, где потенциальные «кандидаты» на эту роль не обладают специальными маркерами, и соответствующие биклаузальные структуры, на первый взгляд, неотличимы от обычного паратаксиса.

Название последней, в о с е м н а д ц а т о й, главы второго тома («Complement clauses and complementation strategies») сразу же отражает взгляд «базовой лингвистической теории» на один из наиболее интенсивно изучаемых в типологии класс структур; при этом это название с большим трудом поддается переводу на русский язык. Речь идет о конструкциях, при помощи которых действие или состояние, выраженное одним глаголом, соотносится с аргументной позицией в семантической структуре другого (матричного) глагола, как в русских структурах типа *Он пообещал прийти*; *Он пообещал, что придет*. В англоязычной традиции все такие структуры обычно объединяются в единое понятие «complementation», прежде всего, на семантических, функциональных, основаниях. Однако Диксон здесь проводит дальнейшее противопоставление по формальному признаку. Он показывает, что, хотя значение подобных структур можно в принципе передать на любом языке, особые структуры, которые следовало бы трактовать как «Complement clauses» (= «клаузы-дополнения»), представлены далеко не везде; во многих языках их функцию берут на себя иные структуры: сериальные конструкции, относительные конструкции, целевые зависимые клаузы, простое соположение клауз и т.д. Именно для этого последнего случая Диксон и резервирует более общий термин «complementation strategies». В последней главе рецензируемой книги предлагается детальная типология выделенных явлений; большое внимание уделяется при этом семантике матричных предикатов и особенно соотношениям между семантикой матричного предиката и типом полипредикативной структуры. Эта глава является результатом переработки более ранней публикации [Dixon 2006].

Как уже было сказано, рецензируемая монография ориентирована на исследователей и «писателей грамматик» конкретных языков и мыслится, видимо, как настольная книга или путеводитель для таких читателей. В этом смысле стоит отметить ее довольно удобный «интерфейс» и наличие некоторых полезных вспомогательных частей. Так, например, в конце каждой из глав второго тома содержится небольшой (обычно около двух страниц) раздел, названный «What to investigate» («Что изучать»). В этих разделах на основе содержания соответствующей главы ставятся конкретные вопросы, подлежащие изучению в любом языке, для которого планируется грамматическое описание.

Также следует отметить, что, помимо ожидаемых указателей (предметного, указателя языков и авторов), в книге содержится «глоссарий» (при этом он дублируется в обоих томах) основных лингвистических терминов, используемых в книге (естественно, в авторском понимании, что во многом смягчает проблему не всегда привычного терминоупотребления, обсуждавшуюся выше).

Наконец, сто́ит заметить, что автор в самом начале книги критикует распространенную в современной лингвистике тенденцию чрезмерного цитирования работ предшественников. По мнению Диксона, это часто затрудняет чтение и понижает качество работы, так как вырванные из контекста фрагменты текстов, характеризующихся неоднородным качеством и написанных с самых разных теоретических позиций, скорее сбивают читателя с толку, чем помогают в осмыслении содержания. Сам Диксон в своей книге эксплицитно придерживается противоположной установки: цитаты в основном тексте сведены к минимуму, обычно не приводятся даже отсылки к тем работам, из которых заимствуются примеры. Эта вспомогательная информация частично помещается в небольших по объему разделах, озаглавленных «Источники и примечания» и расположенных в конце глав. Каждый из этих разделов начинается с перечисления основных работ по той проблематике, которая обсуждается в соответствующей главе.

Думается, что для книги, которая отчасти должна выполнять роль учебника или практического руководства, сама по себе такая организация отсылок к существующей лите-

ратуре оправданна и соответствует имеющейся традиции. Здесь, однако, таятся две странности.

Первая состоит в том, что раздел рекомендованной литературы по затронутым темам обычно оказывается парадоксально мал, лишь в редких случаях насчитывая более 5–6 работ, из которых большу́ю часть к тому же составляют работы самого Диксона или его ближайших коллег и соавторов. Очень часто из названных работ других авторов половина (а иногда и все они) сопровождается весьма критическими комментариями (говорится, что они являются «поверхностными», «неаккуратными» или «не вполне надежными» источниками информации по теме)[2]. Такая картина еще раз заставляет усомниться в том, что рецензируемый труд отражает «базовую лингвистическую теорию» в том смысле, который Диксон вкладывает в это понятие в самом начале своей книги. Мы еще раз убеждаемся в том, что, скорее, мы имеем дело со стройной и могучей, но при этом очень «авторской» концепцией, которую сам Диксон по многим важным параметрам противопоставляет основной массе работ на те же темы. Если допустить, что в понятие 'basic linguistic theory' в какой-то мере вкладывался смысл «общепринятая лингвистическая теория», то сведение к минимуму информации о других работах предшественников и коллег выглядит не вполне объяснимо. Все же обычно базовое «введение» в любую область знания или практической деятельности ставит своей целью расширение горизонта читателя, а не его замыкание в рамках одной, пусть и чрезвычайно мощной, школы.

Вторая странность состоит в том, что далеко не всегда в рецензируемой книге можно отыскать отсылки к тем примерам и аналитическим решениям, которые отражены в основном тексте. Прежде всего, надо заметить, что Диксон эксплицитно пишет в самом начале, что там, где это только возможно, он использует примеры из тех языков, которыми занимался он сам (сюда можно добавить и те языки, которыми занималась А.Ю. Айхенвальд). Это в принципе понятное стремление: в конце концов, применительно к собственному анализу любой автор по крайней мере может быть уверен в правильности своего понимания этого анализа (если не в истинности самих принятых решений). Однако в книге, разумеется, все же содержатся десятки обсуждений явлений, которые описывались другими лингвистами. И, думается, что хотя бы для реализации одного из основных принципов, заявленных в самом начале книги («всегда обращаться к первичному источнику»), читатель был бы вправе рассчитывать получить сведения о том, какая работа явилась источником этой информации (желательно с точным указанием страниц, на которых содержались приводимые примеры). Однако такая возможность предоставляется читателю далеко не всегда. Так, например, на стр. 167 (Т. 2) говорится, что в русском языке подлежащее связочной клаузы в утвердительных предложениях кодируется так же, как подлежащее клаузы с непереходным глаголом (S), но что при отрицании в некоторых типах связочных предложений оно получает генитивное маркирование (из контекста следует, что оно ведет себя тем самым не так, как S). У носителя русского языка сразу возникает недоумение: действительно, во-первых, скорее всего, могут иметься в виду конструкции типа *Кошки в комнате не было*. Но такие конструкции по критериям, предлагаемым выше самим Диксоном, как будто бы не должны были бы считаться связочными (связочные предложения с именным сказуемым, как известно, генитивизации подлежащего при отрицании не демонстрируют: ср. **Моего дедушки не было инженером*). Во-вторых, как раз подлежащие ряда конструкций с непереходным глаголами при отрицании получают генитивное маркирование (*писем не приходило*). Существенно здесь, однако, даже не то, что приведенный факт может оказаться неточным, а то, что у читателя не оказывается возможности узнать, откуда этот факт взят (указание на источник, возможно, сделало бы картину более понятной).

Склонность воздерживаться, насколько возможно, от прямого цитирования и указания источников, иногда смущает и в ситуациях, когда автор критически исследует альтернативные подходы к разбираемым структурам. Так, на стр. 388 (Т. 2) Диксон пишет, что «предлагалось, что "подъем" аргумента характеризует некоторые клаузы в английском языке; однако, это спорно». Далее рассматривается следующее предложение:

(3) *Mary persuaded John to hit Fred.*

По поводу этого примера убедительно показывается, что интерпретация в терминах подъема неудачна по ряду причин. Однако остается совершенно неизвестным, с кем именно в данном случае спорит Диксон; предлагал ли какой-нибудь автор анализ примера (3) в тер-

[2] Показательно в этом отношении, например, начало раздела с примечаниями к главе, посвященной связкам: здесь упоминается одна более ранняя работа самого Диксона на ту же тему, называется в одном предложении исследование, содержащее «много хорошей информации», а далее следует длинный абзац с критикой еще одного авторитетного исследования.

минах подъема, и если да, то на каких основаниях; думается, что большинство авторов, работающих в соответствующей понятийной системе (тех, кто признает существование конструкций «подъема» в английском языке), скорее анализировали бы именно этот пример в терминах «контроля». В итоге у читателя появляется ощущение, что в данном случае ведется спор с оппонентом, у которого нет ни только права слова (цитаты), но даже и имени. И победа в таком споре оставляет двойственное ощущение.

Рецензируемая книга, безусловно, будет полезна для очень широкого круга языковедов. В основном она рассчитана на лингвистов, занимающихся или планирующих заниматься созданием грамматических описаний мало изученных языков, и именно для этой категории читателей будет представлять огромную ценность в качестве единого целого. Однако отдельные части этого масштабного труда будут важны и для других читателей-лингвистов. Действительно, следование методологическим рекомендациям, суммированным в первом томе, будет способствовать развитию способности грамотно собирать и анализировать почти любой языковой материал и, в конечном счете, созданию профессиональных, аккуратных и надежных исследований в разных областях лингвистики. Второй и третий тома ценны тем, что в них впервые сведены воедино теоретические взгляды Р. Диксона на грамматику естественного языка в целом, до сих пор находившие отражение лишь в статьях, монографиях и сборниках, посвященных отдельным грамматическим проблемам и категориям. Наконец, отдельные главы второго и третьего тома могут использоваться (наряду с другими источниками близкого жанра, например, главами из [Comrie 1981; Shopen 2007]) типологами и специалистами по отдельным языкам при работе над широким кругом теоретических проблем грамматики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Aikhenvald 2004 – *A. Yu. Aikhenvald*. Evidentiality. Oxford, 2004.

Aikhenvald et al. 2001 – *A. Yu. Aikhenvald, R.M.W. Dixon, Masayuki Onishi* (eds.). Non-canonical marking of subjects and objects. Amsterdam, 2001.

Bybee et al. 1994 – *J. Bybee, R. Perkins, W. Pagliuca*. The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago; London, 1994.

Comrie 1981 – *B. Comrie*. Language universals and linguistic typology. Chicago, 1981.

Corbett, Fraser, McGlashan 1993 – *G.G. Corbett, N.M. Fraser, S. McGlashan* (eds.). Heads in grammatical theory. Cambridge, 1993.

Dixon 1977 – *R.M.W. Dixon*. Where have all the adjectives gone? // Studies in language. 1. 1977.

Dixon 1989 – *R.M.W. Dixon*. Subject and object in universal garramar // A. Doug, M. Atkinson, J. Durand, C. Grover, L. Sadler (eds.). Essays on grammatical theory and universal grammar. Oxford, 1989.

Dixon 1994 – *R.M.W. Dixon*. Ergativity. Cambridge, 1994.

Dixon 2002a – *R.M.W. Dixon*. Australian languages: their nature and development. Cambridge, 2002.

Dixon 2002b – *R.M.W. Dixon*. Copula clauses in Australian languages: A typological perspective // Anthropological linguistics. 44. 2002.

Dixon 2003 – *R.M.W. Dixon*. Demonstratives: A cross-linguistic typology // Studies in language. 27. 2003.

Dixon 2004 – *R.M.W. Dixon*. Adjective classes in typological perspective // R.M.W. Dixon, A.Yu. Aikhenvald (eds.). Adjective classes: A cross-linguistic typology. Oxford, 2004.

Dixon 2006 – *R.M.W. Dixon*. Complement clauses and complementation strategies in typological perspective // R.M.W. Dixon, A.Yu. Aikhenvald (eds.). Complementation: A cross-linguistic typology. Oxford, 2006.

Dixon, Aikhenvald 2002 – *R.M.W. Dixon, A.Yu. Aikhenvald* (eds.). Word: A cross-linguistic typology. Cambridge, 2002.

Haspelmath et al. 2005 – *M. Haspelmath, M.S. Dryer, D. Gil, B. Comrie* (eds.). The world atlas of language structures. Oxford, 2005.

Koptjevskaja-Tamm 1993 – *M. Koptjevskaja-Tamm*. Nominalizations. London; New York, 1993.

Shopen 2007 – *T. Shopen* (ed.). Language typology and syntactic description. V. I–III. Cambridge, 2007.

Zwicky 1985 – *A.M. Zwicky*. Heads // Jornal of linguistics. 21. 1985.

С.С. Сай

***B. Hansen, F. de Haan* (eds.). Modals in the languages of Europe.** A reference work. Berlin; New York, 2009. 572 p.

Чтобы понять жанр книги «Modals in the languages of Europe», отечественному читателю проще всего вспомнить типологическую серию под ред. В.С. Храковского: каждая глава в рецензируемой монографии представляет собой очерк модальных слов в одном языке или в группе родственных языков. Помимо индоевропейских языков рассматриваются мальтийский, арабский, прибалтийско-финские, венгерский, берберский, баскский и некоторые тюркские языки. В общем в книге с разной степенью подробности анализируются данные более чем сорока языков. Забегая вперед, заметим, что выбор языков Европы в качестве объекта исследования не оправдался в том смысле, что типология модальных слов не обнаружила выразительных ареальных черт (если за ареал принять Европу). С другой стороны, набор исследуемых языков позволил увидеть контраст между теми языками, которые породили само понятие modals, в первую очередь германскими, и теми, которые не рассматривались с точки зрения этой «европейской» категории. Основным выводом монографии можно считать признание того факта, что класс модальных слов не является универсальным и во многих языках просто отсутствует.

Непростая задача в данном случае – определить объект исследования. Английский термин MODALS позволяет не уточнять часть речи изучаемых слов: в круг исследования закономерно попадают не только глаголы, но и наречия, и прилагательные, а иногда и морфемы. Редакторы сообщают, что рабочим определением модальных слов (modals) считались такие слова, которые выражают не менее чем два типа модальных смыслов, то есть являются многозначными. Этому определению отвечает, например, русское прилагательное *должен*, поскольку сочетает деонтическое и эпистемическое значения (*вы должны это хорошо понимать (~ обязаны) – Книга должна выйти в конце года (~ вероятно выйдет)*), а русское наречие *наверняка* – нет, поскольку имеет только эпистемическое значение. Критерий полифункциональности выбран в качестве определяющего потому, что полифункциональность может рассматриваться как проявление процесса семантического «выцветания» (bleaching), или десемантизации, являющегося одним из свидетельств грамматикализации.

Степень грамматикализации модальных слов является основным объектом исследования монографии, а теория грамматикализации – его теоретической базой. Поэтому сборник может быть интересен не только как источник сведений о модальных словах, но и как пример исследования в парадигме теории грамматикализации. Некоторые статьи, например о романских языках, применяют различные критерии этого процесса настолько последовательно и прозрачно, что могут служить своего рода пособием по практическому использованию теории грамматикализации.

Монография открывается статьей трех авторов, известных исследованиями в области модальности: Т. Мортельманс, К. Бойе и Й. ван дер Ауверы. Среди рассмотренных германских языков (английский, нидерландский, немецкий, датский, исландский) наиболее высокое место на шкале грамматикализации занимают английские модальные слова, к ним приближается голландский. Особенность германских модальных слов состоит в том, что они явным образом представляют собой группу, особую в морфологическом, синтаксическом и семантическом отношениях; можно сказать, что они составляют отдельный грамматический класс. Их типичными свойствами является принадлежность к классу претерито-презентных глаголов и способность сочетаться с так называемым bare infinitive – инфинитивом без частицы *to*. Многие модальные глаголы немецкого и голландского языков выражают немодальные значения – *er kann* – ‘он знает / он может’. Вообще, модальные глаголы одного и того же языка могут иметь разный набор свойств, свидетельствующий о разной степени их грамматикализации – в голландском наиболее грамматикализованными являются *moeten* и *zullen*, в то время как *willen* и *kunnen*, имеющие почти полный набор стандартных форм, некоторые чередования в основе и довольно широкий набор возможностей с точки зрения синтаксических типов актантов, находятся на другом конце шкалы.

В ирландском языке (П. Мак-Куиллан) наряду с глаголами рассматриваются безличные конструкции (ср. русск. *надо уйти*), которые формируются модальными прилагательными или существительным с исходным значением ‘сила’, использующимся в конструкциях со значением необходимости. Ирландские модальные вспомогательные глаголы, как правило, не имеют императива, не образуют отглагольных существительных и имеют одну форму для настоящего и будущего времени.

В весьма ясной и детальной статье о романских языках (Б. Корнили, В. де Мюльдер, Т. Ван Хеке, Д. Вермандере) рассматриваются не все модальные слова, а только те из них, ко-

торые выражают долженствование, в том числе в недонтических значениях (например, эпистемических). В четырех обсуждаемых в статье языках (французский, испанский, итальянский, румынский) обнаружено от семи (в итальянском) до трех (в румынском) модальных лексем. Рассматриваются не только собственно модальные глаголы, но и конструкции типа французской *avoir à* (интересно, что последняя имеется во всех четырех языках). Все формы и конструкции прошли процесс десемантизации, то есть развития более абстрактного модального значения по сравнению с исходным (немодальным) глаголом; у некоторых модальных глаголов развилось эпистемическое значение. Ни одна из рассматриваемых единиц не прошла процесс так называемой фонетической эрозии (по-английски erosion или attrition), ср. англ. *gonna* ← *going to*; впрочем, с уверенностью это можно было бы утверждать, только детально исследовав их фонетические свойства. В качестве одного из критериев перехода в разряд вспомогательных глаголов рассматривается способность некоторых романских модальных глаголов иметь препозитивную местоименную клитику. В современном французском это невозможно, но в испанском и итальянском в ряде случаев является нормой. Авторы делают вывод, что романские модальные единицы не формируют единой парадигмы – с точки зрения всех примененных критериев они ведут себя неодинаково, и предлагают следующее объяснение: модальные глаголы не имеют грамматической мотивации, подобной временным или видовым вспомогательным глаголам или морфемам, они в значительной степени зависят от намерений говорящего и его выбора. Кажется, что такое предположение помещает нас в замкнутый круг: мы пытаемся объяснить степень грамматикализации языкового явления его грамматической / неграмматической природой. Если бы такая логическая цепочка работала, то, видимо, в языках мира не могло бы в принципе возникнуть модальных морфем. Между тем они существуют даже в индоевропейских языках Европы (например, латышский дебитив).

В главе про греческий (Анастасиос Цангалидис) в ряду модальных средств рассматриваются не только модальные глаголы и частицы, но и, несколько неожиданно, формы наклонения (императив vs. неимператив). Конечно, косвенные наклонения являются средством выражения модальности, но в других главах книги они исключены из рассмотрения. Греческие частицы обычно тоже относят к перифрастическим средствам формирования наклонений (аналогично русской частице *бы/б*): они не сочетаются с императивом, и это позволяет считать их принадлежащими к той же парадигме. Греческим частицам *θa*, *na* и *as* посвящена богатая литература; статья изобилует отсылками к работам предшественников, что несколько затрудняет чтение. Автор утверждает, что сочетаемость этих частиц с глагольными формами и семантические эффекты, которые возникают в результате этих сочетаний, аналогичны тем, которые наблюдаются у модальных глаголов. В качестве модальных глаголов рассматриваются два: *prepi* 'быть должным' и *boro/bori* 'мочь'. Эти глаголы отличаются от обычных тем, что они не имеют лично-числового согласования. Они полифункциональны, каждый из них выражает несколько типов модальности.

Славянские языки (Д. Бестерс-Дилгер, А. Дробнякович, Б. Ханзен) отличаются большим морфологическим разнообразием модальных слов (только в русском они представлены тремя частями речи – глаголами, наречиями и прилагательными; в некоторых языках регулярно используются и существительные). Тем самым, в отличие от английских модальных слов, славянские не имеют специфических для них черт общего морфологического маркирования. В то же время они, как правило, грамматически отличаются от других слов соответствующих частей речи – так, глаголы обычно не имеют императивов, могут быть лишены видовой характеристики. На с. 178 приведен полный список модальных единиц в 12 славянских языках (включая старославянский). По непонятной причине в этом списке нет русского *нужно* (но есть *надо* – кажется, сегодня они являются почти полными синонимами и оба весьма частотны). В статье различаются три типа синтаксического кодирования аргументов в модальных конструкциях: номинативный (*мы можем*), дативный (*нам можно*) и с опущенным аргументом (*можно*). Все конструкции анализируются в соответствии с двумя признаками: тип кодирования аргумента и тип согласования, состоящий из двух признаков: а) наличие / отсутствие согласования, б) согласование на модальном слове / на лексическом глаголе. Например, конструкция *мы можем работать* принадлежит к типу «номинатив; + согласование на модальном слове; – согласование на лексическом глаголе». В русском языке отсутствуют те типы, где согласуется лексический глагол; они встречаются только в южнославянских языках, в которых нет инфинитива. «Безличные» конструкции, характеризующиеся полным отсутствием согласования и опущенным или дативным субъектом, оказываются типичными для модальных слов, выражающих необходимость (исключая эпистемическую). Авторы объясняют этот факт

тем, что необходимость ощущается как нечто внешнее по отношению к личности. Безличные модальные конструкции в целом менее полифункциональны и демонстрируют больше ограничений разного рода, чем личные, что может говорить о меньшей степени их грамматикализованности. В ряде славянских языков система модальных слов подверглась влиянию со стороны соседних неславянских. Так, в некоторых языках есть глаголы, заимствованные из немецкого (чешский *muset* < *müssen*, *dyrbjeć* < *dürfen*). «Западным» влиянием, с точки зрения авторов, может быть объяснено распространение в некоторых языках номинативно-личной конструкции, аналогичной той, которая распространена в немецком языке. Наилучшим образом исходную систему сохранил русский, однако, по мнению исследователей, не исключена возможность того, что тенденция к безличности сформировалась под влиянием уральского субстрата.

Между тем авторы статьи про прибалтийско-финские языки (П. Кехайов, Р. Торн-Леэсик) на материале эстонского, ливского, водского, финского, ижорского, карельского и вепсского языков обнаруживают сходное распределение: модальные наречия характерны для восточных языков, модальные глаголы – для западных. Это ареальное явление отнесено к контактным: наречия считаются следствием влияния восточно-славянских языков на восточно-балто-финские.

Интересно, что в латышском и литовском (глава о балтийских языках, А. Хольвут) мало общих модальных слов, то есть таких, которые восходили бы к протобалтийскому. Среди средств выражения модальных значений рассматривается латышский дебитив. Традиционное описание его как наклонения, с точки зрения авторов, неадекватно: показатель дебитива может сочетаться с показателем косвенного наклонения (ирреальный дебитив). В статье предложено считать дебитив агглютинативной глагольной формой, которая включает в себя модальный вспомогательный глагол. Дебитив является безличной формой, как и некоторые латышские и литовские глаголы, выражающие необходимость. Наличие безличных модальных форм создает параллель между балтийскими и соседними славянскими языками. Ни один из безличных модальных глаголов не может иметь эпистемического употребления, в то время как личные глаголы такие значения имеют, приближаясь тем самым к среднеевропейскому стандарту. Сопоставляя балтийские языки со славянскими, автор приходит к выводу, что в целом безличные модальные слова реже развивают эпистемические употребления. В самом деле, русск. *может* часто имеет эпистемическую интерпретацию, в то время как безличное наречие *можно* в таком значении не употребляется. Модальные предикаты, выражающие возможность или необходимость, нередко обозначают более общую (генерическую) ситуацию, чем немодальные, утверждая, что некоторое положение вещей применимо к любому субъекту. Именно это делает их типологически вероятными кандидатами на безличность. Детально проанализировав балтийские модальные слова с точки зрения различных критериев грамматикализации, автор приходит к выводу об их относительно низкой позиции на этой шкале.

Понятие безличности используется и в статье о диалектах цыганского языка (В. Элшик и Я. Матрас), однако несколько в другом значении – как морфологическая безличность. Безличными конструкциями здесь называют такие, в которых модальное слово не имеет личного спряжения, даже если субъект присутствует и выражен номинативом. В отдельных диалектах, однако, встречаются конструкции, где номинатив невозможен, по-видимому, под влиянием славянских языков. Вообще, картина употребления модальных слов в цыганских диалектах сильно осложнена большим количеством заимствований из разных европейских языков. Как следует из других исследований этих же авторов по грамматическим контактным явлениям, модальность является зоной интенсивных заимствований. Забегая вперед, скажем, что в заключительной редакторской статье это утверждение поддерживается: в половине из почти пятидесяти рассмотренных языков имеется хотя бы одно заимствованное модальное слово (русский в другой половине). Авторы приводят интересные данные об асимметрии в области заимствований модальных слов: чаще всего заимствуются слова со значением необходимости (утверждается, что в раннецыганском вообще не было специализированных лексических средств для выражения необходимости: сегодня они либо заимствованы, либо являются результатом недавних процессов). На втором месте – модальные слова со значением возможности; наименее вероятно заимствование слов, выражающих желательность. Среди модальных средств цыганских диалектов нет клитик или аффиксов, даже в ситуации контакта с турецким или венгерским, где имеются модальные аффиксы.

Тюркские языки (Л. Йохансон) заметно отличаются в том отношении, что в них широко представлены модальные аффиксы, выражающие все виды модальных значений: возможность, необходимость, желательность (отметим, что в статье рассмотрены лишь те

аффиксы, которые выражают желание говорящего, меж тем как в тюркских языках есть и показатели дезидератива, см. о чувашском [Ханина 2004]). Как и модальные слова, эти аффиксы могут быть полифункциональными, совмещая, например, деонтическую и эпистемическую возможность. Напротив, многие лексические средства выражения модальности являются в тюркских языках заимствованиями (ср. в турецком *lazım* 'нужно'– арабск., в якутском *na:da* – русск. *надо*). Заимствованными автор считает также конструкции с субжонктивом при модальных глаголах – так, во многих диалектах турецкого при глаголе *хотеть* используется субжонктив (по аналогии с фарси).

Заключительная статья главных редакторов сборника, Бьёрна Ханзена и Фердинанда де Хаана, сводит многие сквозные линии, прослеживающиеся в сборнике, и предлагает некоторые обобщения. Авторы отмечают, что идущая от описания германских языков традиция выделять модальные глаголы как особый класс плохо применима к другим языкам: проведение ясной границы между модальными и другими глаголами нередко оказывается затруднительным. Более того, среди языков, рассмотренных в книге, встретился такой, в котором модальные слова появились лишь недавно, вследствие языковых контактов (кабильский язык берберской группы).

По наблюдениям редакторов, продвигаясь по пути грамматикализации, модальные слова имеют тенденцию к приобретению морфологической дефектности, но сохраняют свой статус отдельных лексических элементов. Критерий полифункциональности оказывается релевантным: во всех европейских языках можно отделить многозначные модальные слова от лексем с модальным значением, ср.: польск. *móc* 'мочь' и *potrafić* 'быть, оказаться способным'. При этом если в германских и романских языках модальные глаголы подвержены десемантизации, то есть утрате исходного значения, то во многих других языках исходное значение сохраняется наряду с новыми; это явление названо layering (так сказать, наслоение).

Редакторы предлагают карты распространения в Европе трех явлений: а) модальных аффиксов – встречаются на востоке Европы (в тюркских и финно-угорских языках); б) отсутствия возможности маркировать субъект косвенным падежом (дативом, генитивом и именным посессивным маркером) – этим свойством обладают лишь германские языки и сербский, баскский, арабский и кабильский; в) различных типов маркирования видо-временных и лично-числовых значений.

Наконец, редакторы пытаются решить вопрос о том, можно ли модальные слова считать специфическим явлением среднеевропейского стандарта. Для этого они применяют четыре критерия «европейскости», предложенные М. Хаспельматом [Haspelmath 2001]. Не вдаваясь в подробности, скажем, что ответ отрицательный: из четырех критериев работает лишь один – *модальные слова имеются в большинстве языков Европы.*

Сложность и одновременно увлекательность предпринятого исследования связана в первую очередь с тем, что объект изучения во всех отношениях пограничен и потому отличается разнообразием: типологическое описание модальных слов нельзя полностью отнести ни к грамматической типологии, ни к активно развивающейся сегодня лексической (см., например [Майсак, Рахилина (ред.) 2007; Koptjevskaja-Tamm, Vanhove, Koch 2007]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Майсак, Рахилина (ред.) 2007 – *Т.А. Майсак, Е.В. Рахилина* (ред.). Глаголы движения в воде: лексическая типология. М., 2007.

Ханина 2004 – *О.В. Ханина*. Желание: когнитивно-функциональный портрет // ВЯ. 2004. № 4.

Haspelmath 2001 – *M. Haspelmath*. The European linguistic area: standard average European // M. Haspelmath, E. König, W. Oesterreicher, W. Raible (eds.). Language typology and language universals. Berlin, 2001.

Koptjevskaja-Tamm, Vanhove, Koch 2007 – *M. Koptjevskaja-Tamm, M. Vanhove, P. Koch*. Typological approaches to lexical semantics // Linguistic typology. 2007. 11–1.

Н.Р. Добрушина

J. Dum-Tragut. **Armenian: Modern Eastern Armenian.** Amsterdam: John Benjamins, 2009. xv + 742 p.

Рецензируемая книга, написанная австрийским арменистом Жасмин Дум-Трагут (Зальцбургский университет), задумана как общее описание грамматики современного восточноармянского языка (далее ВА или просто «армянский», если специально не указано иное), предназначенное для широкого круга лингвистов, в том числе и тех, кто специально не занимался проблемами арменистики.

Книга состоит из шести глав. Первая глава посвящена фонологической системе ВА. Во второй главе представлено общее описание морфологии ВА, подробно рассматриваются основные части речи (имя, глагол, наречие и др.). В третьей главе описывается синтаксис. Четвертая и пятая главы посвящены словообразованию и системе армянской пунктуации соответственно. В последней, шестой главе, представлены лексические инвентари, характерные для разных семантических групп.

Как известно, современный армянский язык существует в двух вариантах – восточном (государственный язык Республики Армения) и западном (язык населения Западной Армении на территории нынешней Турции, ныне – язык основной части армянской диаспоры, за исключением армянских общин в Иране, России и Индии). Каждый из этих вариантов представлен своим литературным языком и множеством диалектов, образуя своего рода языковой континуум. Сохранились также многочисленные памятники древнеармянского (с V по XII в.) и среднеармянского языка (с XIII по XVIII в.).

Армянский язык, относясь к индоевропейской семье, занимает в ней особое положение, так как не является близкородственным ни одной другой группе внутри индоевропейской семьи. Это делает армянские данные (в первую очередь данные древнеармянского языка) особенно ценными для исторического языкознания, ставящего целью реконструкцию языкового прошлого индоевропейских народов и древнейшего населения Кавказа.

Кроме того, структура армянского языка интересна и важна не только для исторического языкознания. Армянский язык возник в глубокой древности в процессе взаимодействия индоевропейских народов с населением государства Урарту и на протяжении дальнейшей истории контактировал с множеством разнородных по своему строю языков Кавказа, а также с греческим, персидским, арабским и т. п. В результате в армянском языке специалисты находят уникальные грамматические и лексические особенности, анализ которых весьма важен для общей теории языка и лингвистической типологии.

На сегодняшний день, однако, основная масса научной литературы, посвященная современному восточноармянскому языку, издана на армянском языке и доступна лишь ограниченному кругу специалистов. Следует, впрочем, заметить, что эти работы, как правило, имеют описательный характер; многие детали, характеризующие строй армянского языка (и особенно интересные типологам), в них рассматриваются недостаточно подробно. Лишь небольшая часть научной литературы представлена на русском и европейских языках (см., например [Туманян 1963; Кусикян 1969; Джаукян 1978; Козинцева 1974; 1981; 1983; 1998; Kozintseva 1995; Vaux 1998] и ряд других), а общие грамматические описания практически отсутствуют (можно назвать лишь [Minassian 1980; Kozintseva 1995; Pisowicz 2001]). В этот перечень мы не включаем материалы для практического изучения языка – самоучители, учебники, разговорники и т. д., качество и количество которых к тому же зачастую оставляют желать лучшего.

Таким образом, имеются значительные лакуны как в подробном лингвистическом анализе современного ВА, так и в представлении этих данных на доступном европейским исследователям языке. Удивительно, но до сих пор нет ни одной полной грамматики современного ВА языка на русском языке, а также до выхода рецензируемой книги не было и ни одной подробной грамматики на английском[1] (опять же не считая разные учебные материалы и отдельные небольшие труды).

Завершая этот краткий обзор ресурсов по арменистике, необходимо особо отметить, что с 2007 г. в открытом доступе размещен Восточноармянский национальный корпус (www.eanc.net), основанный на обширной коллекции текстов (около 110 млн. словоупотреблений) за период с середины XIX века (традиционно считается началом современного литературного ВА) до наших дней и снабженный мощной и гибкой поисковой функциональностью. Ценность это-

[1] Существует, правда, небольшая брошюра Н.А. Козинцевой [Kozintseva 1995] объемом менее 60 страниц; она, безусловно, является полезным источником начальных сведений для лингвистов-типологов, желающих получить самое общее представление о структуре армянского языка, в основном в области морфологии, но формат этого описания недостаточен для углубленных исследований.

го ресурса для лингвистических исследований, в особенности для написания грамматик, трудно переоценить.

На фоне всего сказанного ясно, что рецензируемая книга, безусловно, является ценным источником для более глубокого знакомства с армянским языком, так как на сегодняшний день это единственная полная и подробная грамматика на английском языке, охватывающая как морфологию, так и синтаксис современного ВА. Типолог теперь не только может получить сведения о том или ином грамматическом явлении в армянском, но и использовать иллюстративный материал примеров, приводимых в книге в латинской транскрипции и снабженных английским переводом и общепринятой в научной литературе поморфемной нотацией.

Особо необходимо отметить, что при написании данной работы автор опирается не только на «стандартный» ВА, но и достаточно последовательно привлекает данные так называемого «ереванского стандарта». Как уже было отмечено выше, армянский язык представляет собой континуум из множества региональных и субстандартных идиомов. Учет этих последних особенно ценен на фоне того, что в армянской лингвистической традиции субстандартные разговорные варианты продолжают связываться с менее престижным социальным статусом, и в лингвистической литературе они обычно игнорируются, трактуясь как простые «ошибки». По-видимому, это одна из причин практического отсутствия исследований по такой важной языковой области, как армянский устный дискурс (исключения составляют, например [САРР 1981; Маркосян 1983]). С другой стороны, в настоящее время отношение самих носителей языка к субстандартным вариантам существенно отличается от пуристических установок традиционной арменистики; более того, во многих социальных ситуациях использование «чистого» стандартного языка расценивается скорее как неуместное. В языковую компетенцию образованного городского носителя современного ВА, безусловно, входит умение использовать разные коды для разных ситуаций, что, конечно, должно найти отражение в полной грамматике языка.

Кратко рассмотрим теперь содержание основных разделов рецензируемой книги.

В **предисловии** автор в сжатом виде дает описание современного ВА, после чего делает исторический обзор, придерживаясь в основном традиционной периодизации. В качестве основных этапов развития языка выделяются: (1) период формирования (начало XVIII в. – середина XIX в.); (2) досоветский период (середина XIX в. – 1920-е гг.); (3) советский период (1920–1991); (4) постсоветский период (с 1992 г. до наших дней). Заключительная часть предисловия посвящена обзору существующих грамматик современного ВА языка.

Глава 1 («Фонология») открывается обзором армянского алфавита, состоящего из 39 графем. Подробно описывается вокалическая и консонантная системы. Выделяются шесть гласных и тридцать согласных фонем, для каждой из которых подробно представляются варианты фонетических реализаций, снабженные примерами. Автор указывает, что в ВА фонема /a/ относится не к среднему ряду, а имеет более задний характер. В качестве отдельной фонемы выделяется также шва, фонологический статус которой арменистами оценивается неоднозначно (ср., например [Vaux 1998]).

В разделе, посвященном фонотактике, представлены основные типы чередований, а также особенности контактного взаимодействия разных фонем (ассимиляция, оглушение, палатализация и т. д.). Отдельно описывается и слогоделение, с указанием основных слоговых кластеров. Здесь же отмечаются расхождения между написанием и произношением.

Последняя часть главы посвящена краткому описанию интонации армянского языка, с обсуждением особенностей несущего акцента в предложении (sentential stress).

Во **второй главе («Морфология»)** анализируются основные морфологические классы слов. Выделены девять частей речи: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, союз, предлог / послелог и междометие. Для каждой части речи дается подробное описание с отдельным рассмотрением типичных для данной части речи грамматических категорий.

В разделе про существительное, который открывает главу, последовательно рассматриваются категории числа (единственное и множественное, имеются также некоторые замечания про ассоциативную множественность), одушевленности (которая признается неграмматической категорией), склонения (5 основных и несколько реликтовых типов), падежа (5 падежей) и определенности (выделяются определенный, посессивный и неопределенный артикли).

В разделе о прилагательных описываются основные типы (качественные, относительные и количественные), а также степени сравнения (положительная, сравнительная, превосходная) и способы их образования.

Числительные делятся на четыре разряда: количественные, порядковые, распределительные и дробные.

В описании местоимений выделены следующие семантические группы: личные, при-

тяжательные, указательные, возвратные, неопределенные, определенные, вопросительные и относительные. Приводится инвентарь соответствующих местоимений с указанием их специфических характеристик.

Одним из центральных в книге является раздел, описывающий глагольную систему. Раздел открывается классификацией глаголов на основе разных критериев. В частности, приводятся семантическая и словообразовательная классификации, а также классификации по критериям переходности / непереходности, аспектуальных значений, типов диатезы.

Далее автор переходит к описанию категорий времени, наклонения и вида. В категории времени выделяется трехчленное противопоставление настоящего, прошедшего и будущего. Своеобразным представляется деление видо-временных форм глагола в армянском языке на динамические (dynamic), с одной стороны, и стативные (stative), процессуальные (processual) и проспективные (prospective), с другой. В традиционных грамматиках данные формы обычно описываются в рамках категории таксиса, с помощью противопоставления абсолютных (или основных) и относительных (или второстепенных) видо-временных форм, причем абсолютным соответствует класс «динамических» форм, а относительным – последние три.

Категория наклонения состоит из системы индикатива (презенс, имперфект, презенс и претерит перфекта, будущее, будущее в прошедшем и аорист), конъюнктива (презенс и претерит), кондиционалиса (презенс и претерит), дебитива (презенс и претерит) и императива (императив и прохибитив). Подробно рассмотрена структура спряжения армянского глагола; отдельно описывается функционирование каждой видо-временной формы глагола и дается парадигма регулярных и нерегулярных глаголов.

Система неличных форм глагола представлена инфинитивом и рядом деепричастий: одновременности (Processual participle), дестинатива (Future participle), дестинатива II (Future participle II), имперфектива (Present participle), перфекта (Perfect participle) и коннегатива (Negative participle); к ним примыкают субъектное причастие (Subject participle) и результатив (Resultative participle). Как можно видеть, в авторской терминологии не различаются «причастия» и «деепричастия», несмотря на определенную синтаксическую специфику тех и других (в частности, разная степень допустимости атрибутивных употреблений).

В последующих пунктах первой главы представлены наречия, союзы и междометия, для которых предложена семантическая классификация. Для предлогов и послелогов дается информация о падеже управляющего существительного.

Третья глава («Синтаксис») посвящена описанию синтаксиса армянского языка. Автор отдельно рассматривает простые (simple sentences), сложные (multiple sentences), сложносочиненные (compound sentences), сложноподчиненные (complex sentences) предложения, а также предложения смешанного типа (compound / complex clauses). Далее по отдельности рассмотрены основные члены предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение и т. д.). В разделе семантико-прагматической классификации предложения выделены повествовательные, вопросительные, повелительные и восклицательные типы.

Подробно представлены типы сочиненных (бессоюзные и союзные) и подчиненных (условные, обстоятельственные и относительные) придаточных предложений.

В разделе «Специальные конструкции» рассмотрены такие явления, как эллипсис, полярность, прямая / косвенная речь, сравнительные конструкции и т. д. Отдельно описан также порядок слов в армянском языке.

В **четвертой главе («Словообразование»)** представлены способы словообразования в армянском языке, которые включают аффиксацию (отдельно рассмотрена префиксация и суффиксация), словосложение (включая разные типы аббревиатур и редупликаций) и конверсию.

Интересна по проблематике **глава 5 («Пунктуация»)**. Пунктуационная система армянского языка сильно отличается от систем пунктуации, используемых в современных европейских языках. С учетом некоторых незначительных изменений сохранилась система, использовавшаяся в древнеармянском. Автор выделяет два класса пунктуационных знаков: интонационные (знак ударения, вопросительный и восклицательный знаки) и разделительные знаки – точка (графически соответствует двоеточию), двоеточие (графически соответствует точке), запятая, гравис (семантически соответствует двоеточию, тире и запятой), скобки. Первый класс знаков употребляется исключительно внутри слова, при этом в конце предложения всегда стоит точка (графически двоеточие) или многоточие.

В **главе 6 («Лексика – структурированные семантические поля»)** приводятся списки лексических единиц (в основном, субстантивных) для некоторых базовых семантических групп. Представлены слова, обозначающие родственные отношения, названия цветов, части тела, времена года, месяцы и дни недели, а также числительные.

После того как читатель мог уяснить себе общую структуру и содержание книги, перейдем к критической части рецензии, изложив некоторые замечания к тексту грамматики. Начнем с самого заглавия. Учитывая четкое деление армянского языкового пространства на древнеармянский, среднеармянский, а также на современные его варианты – западноармянский и восточноармянский, различия между которыми довольно существенны, несколько странным представляется выбор обобщающего названия книги «Армянский язык» (Armenian), вместо более точного «Восточноармянский» (Eastern Armenian). На самом деле книга описывает именно последний вариант армянского языка, и уже в самой книге автор меняет название на «Армянский. Современный восточноармянский» (Armenian. Modern Eastern Armenian). Можно полагать, что такое решение было вызвано скорее внешними прагматическими соображениями, но нельзя не отметить, что данное несоответствие первоначально (до детального знакомства с текстом) вводит читателя в заблуждение.

Перед тем как перейти к некоторым замечаниям по предисловию, написанному автором, хотелось бы упомянуть о вступлении, написанном Теодорой Байнон (Theodora Bynon), которое содержит некоторые неправильные и неточные утверждения как нелингвистического, так и лингвистического характера. Например, удивленный читатель узнает, что Республика Армения граничит с Сирией[2], а при перечислении стран, в которых присутствует ВА-говорящая диаспора, указываются Азербайджан и Абхазия, но не указываются Россия и Иран, в которых, как известно, проживают как раз наиболее многочисленные группы говорящих. После прочтения пассажа «Those communities who live in Turkey speak a somewhat different variety, known as Western Armenian» (с. XIII) у неподготовленного читателя может возникнуть впечатление, что западноармянский – это просто слегка измененный вариант восточного, что отнюдь не соответствует действительности. Рассуждая про общие типологические особенности армянского языка, Байнон пишет, что только аорист выражается синтетически, а все остальные видо-временные формы образуются аналитическим путем[3], что опять же неверно, поскольку все формы императива (кроме прохибитива), кондиционалиса и конъюнктива также являются синтетическими.

Вернемся к тексту Ж. Дум-Трагут. В периодизации истории языка, данной в предисловии, можно видеть некоторое смешение исторических и лингвистических принципов. Например, не совсем оправданным представляется выделение постсоветского периода в качестве отдельного, так как, несмотря на существенные социально-политические изменения в стране, с лингвистической точки зрения в армянском (особенно в его литературном варианте) пока не наблюдается заметных изменений. С другой стороны, орфографическая реформа, проведенная в 1930-е годы, привела к более значительным языковым изменениям, чем те, которые разделяют досоветский и ранний советский период. Жаль также, что в этом разделе отсутствует какое-либо упоминание о более ранней периодизации истории языка в древнеармянский и среднеармянский периоды: хотя книга посвящена современному ВА, краткая информация такого рода была бы полезной читателю.

По количеству говорящих (ок. 3 млн. только в самой Республике Армения) армянский язык нельзя отнести к малым языкам; к тому же, как уже отмечалось, существует общедоступный электронный корпус этого языка (материалы которого в монографии не отражены никак). Иными словами, получение достоверных и проверяемых данных по ВА не кажется такой уж сложной задачей. Тем более досадно отмечать, что в рецензируемой книге содержится весьма значительное количество ошибок и искаженных данных самого разного характера. Так, имеется ряд существенных содержательных неправильностей: например, на с. 76 приводится парадигма склонения существительного *k'uyr* 'сестра' с неправильным маркером множественного числа *-ner* для всей парадигмы множественного числа (даются несуществующие формы *k'uyrner*, *k'uyrneri* и т. д. вместо *k'uyrer*, *k'uyreri* и т. д.); на с. 279 дается неправильная супплетивная форма субъектного причастия глагола *utel* 'есть' (*kerogˊ* вместо несупплетивной *utogˊ*); на с. 117 находим неправильную форму превосходной степени прилагательного *gegˊec'ik* 'красивый' (*gegˊec'ikaguyn* вместо *gegˊec'kaguyn*); на с. 111 – неправильная форма аориста от глагола *kardal* 'читать' (*kardac'av* вместо *kardac'*) и т. д.

Многочисленны также ошибки в поморфемной нотации [№ 16 на с. 75 (*kgna-nk'* gosubj.fut.1.pl) – конъюнктив вместо кондиционалиса, № 316 на с. 165 (*stip-el* force-ptcp.pres.) настоящее причастие (имперфектив) вместо перфектного, № 558 на с. 260 (*lin-es* be-cond.fut.2.sg) кондционалис вместо конъюнктива и т. д.] и

[2] «Armenia is situated in the Anatolian highlands between Turkey in the west, Syria and Iran in the south and south-east, and the Caucasus in the north» (с. XIII).

[3] «The verb distinguishes a present and an aorist stem, tenses other than the aorist being formed analytically by means of a participle and an auxiliary» (с. XIII).

в переводах примеров [с. 44 (*č'v-a-c'uc'ak* 'migration's list') «миграционный список» вместо «расписание (транспортных средств)»; на с. 42 (*kеč'-ut* 'birch (Adj)') «березовый» вместо «березовая роща», (*mor-ut* [morut] 'raspberry (Adj)') «малиновый» вместо «трясина»; № 113 на с. 102 (*aṙołǰ* 'wealthy') «богатый» вместо «здоровый» и т. д.].

Отдельной проблемой является недопустимо большое количество орфографических ошибок и опечаток в примерах, представленных как в армянской графике, так и в транслитерации. Достаточно сказать, что практически на каждой странице с неприятной регулярностью встречается, как минимум, одна опечатка. При прочтении книги нами было замечено около тысячи орфографических ошибок и опечаток, которые, может быть, и не относятся к содержательным ошибкам, однако, присутствуя в таком количестве, несомненно, на порядок снижают ценность работы. Ведь грамматики такого рода для типологов часто служат именно источником примеров, а наличие указанных недостатков означает, что они будут повторяться и воспроизводиться из одной работы в другую. Поэтому при цитировании примеров из этой монографии рецензент настоятельно рекомендует проверять каждый пример у носителей языка.

Уязвимой стороной иллюстративного материала, приводимого в книге, является также его во многом искусственный характер. Опять-таки, этого недостатка было бы легко избежать, если бы в качестве источника примеров использовались книги или корпус. В результате мы встречаем целый ряд явно сомнительных примеров – таковы, в частности, предложения на с. 136 (№ 212 – неправильная позиция вспомогательного глагола при фокусе), с. 256 (№ 541 – ошибочное употребление некаузативного глагола вместо каузативного), с. 277 (№ 605 – неправильное управление глагола, с аблативом вместо датива), с. 111 (№ 150 – неправильная форма аориста, № 147 – неправильная генитивная форма в словосочетании 'Дед Мороз' вместо правильного номинатива) и др. К сожалению, конструирование искусственных примеров часто приводит к нежелательным результатам, особенно, когда к нему прибегает неноситель языка. С другой стороны, в книге имеются примеры, которые заведомо взяты из различных художественных произведений, но приводятся без соответствующих ссылок. Таковы, например, предложения на с. 81 (№ 25 – автор Аксель Бакунц), с. 91 (№ 71 – автор Вахтанг Ананян, № 73 – автор Александр Ширванзаде) и др.

Как представляется, на современном этапе арменистика больше нуждается в подробном типологическом анализе структуры языка, чем в простом описательном изложении. Помимо описания фактов ВА фонологии, морфологии, синтаксиса и лексики, вообще говоря, в той или иной степени уже доступных в существующих источниках, от нового описания армянского языка хотелось бы ожидать прежде всего нового взгляда на существующие проблемы описания строя ВА языка, особенно в неизученных или слабоизученных областях. Приходится констатировать, что рецензируемая книга скорее должна позиционироваться как справочная грамматика, в которой просто собраны результаты существующих исследований и общих работ по современному ВА. Основная ценность книги состоит в многочисленных примерах, представленных в типологическом формате, а также достаточно интенсивное привлечение материала устного регистра (последнее также нередко опирается на уже существующие работы – в основном, Т.А. Карагюлян и О.Л. Закаряна, ср. [САРР 1981]). Однако в этом аспекте книгой, как уже было сказано, следует пользоваться с большой осторожностью.

Несмотря на отмеченные недостатки, монографию Дум-Трагут все же следует признать важным шагом в деле распространения знаний о структуре армянского языка среди англоязычных читателей. Надеемся, что лингвисты – и особенно типологи – чаще будут обращаться к материалу этого языка, а для арменистов она послужит начальным стимулом для написания более глубоких и исчерпывающих грамматик как на армянском, так и на других языках.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Джаукян 1969 – *Г.Б. Джаукян.* Հայոց լեզվի զարգացումը և կառուցվածքը [Развитие и структура армянского языка]. Ереван, 1969.

Козинцева 1974 – *Н.А. Козинцева.* Залоги в армянском языке // А.А. Холодович (ред.). Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. Л., 1974.

Козинцева 1981 – *Н.А. Козинцева.* Рефлексивные конструкции в армянском языке // В.С. Храковский (ред.). Залоговые конструкции в разноструктурных языках. Л., 1981.

Козинцева 1983 – *Н.А. Козинцева.* Результатив, пассив и перфект в армянском языке // В.П. Недялков (ред.). Типология результативных конструкций. Л., 1983.

Козинцева 1998 – *Н.А. Козинцева.* Плюсквамперфект в армянском языке // М.Ю. Черт-

кова (ред.). Типология вида: проблемы, поиски, решения. М., 1998.
Кусикян 1969 – *И.К. Кусикян.* Очерки исторического синтаксиса литературного армянского языка. М., 1969.
Маркосян 1983 – *А.С. Маркосян.* Психолингвистические особенности разговорной речи: Дис. … канд. филол. наук. М., 1983.
САРР 1981 – Ժամանակակից հայերենի խոսակցական լեզուն [Современная армянская разговорная речь]. Ереван, 1981.
Туманян 1963 – *Э.Г. Туманян.* Артикли в современном армянском языке. Ереван, 1963.
Kozintseva 1995 – *N. Kozintseva.* Modern Eastern Armenian. München, 1995.
Minassian 1980 – *M. Minassian.* Grammaire d'arménien oriental. Delmar (NY), 1980.
Pisowicz 2001 – *A. Pisowicz.* Gramatyka ormiańska (Grabar–Aszcharabar). Kraków, 2001.
Vaux 1998 – *B. Vaux.* The phonology of Armenian. Oxford, 1998.

В.Г. Хуршудян

***G. Goldenberg, A. Shisha-Halevy* (eds.). Egyptian, Semitic and general grammar. Studies in memory of H.J. Polotsky.** Jerusalem: The Israel Academy of sciences and humanities, 2009. xix + 501 p.

В 2009 г. Израильская Академия наук выпустила в свет сборник, посвященный памяти выдающегося лингвиста, бесспорного лидера израильской египтологии и семитологии на протяжении нескольких десятилетий Ханса-Якоба Полоцкого (1905–1991), профессора Еврейского университета в Иерусалиме. 8–12 июля 2001 г. в Иерусалиме состоялась конференция, посвященная десятой годовщине кончины ученого. Материалы конференции, опубликованные спустя восемь лет после ее проведения, и составляют содержание рецензируемого сборника.

Участники конференции представили на рассмотрение коллег 28 докладов, из которых в сборнике напечатаны 25. Все опубликованные работы так или иначе связаны с основными сферами научных интересов Х.-Я. Полоцкого: египтологией, коптологией, гебраистикой, арамеистикой, ассириологией, арабистикой, эфиопистикой. Среди авторов сборника – лингвисты из Израиля, Германии, Великобритании и других европейских стран; для некоторых из них, близко знакомых с Х.-Я. Полоцким при его жизни, вклад в публикацию рецензируемого сборника явился прежде всего данью памяти покойного коллеги и учителя.

Сборник открывается статьей британского семитолога и эфиописта Э. Уллендорфа, ученика и близкого друга Х.-Я. Полоцкого, «Молодой (и не очень) Полоцкий: ученый и учитель». Автор подробно рассказывает о различных аспектах профессиональной деятельности Полоцкого, используя в качестве основы повествования как личные воспоминания, так и не публиковавшиеся ранее архивные документы.

За биографической по своему характеру статьей Э. Уллендорфа следует первый тематический блок статей, посвященный египтологической и коптологической проблематике. Путь Х.-Я. Полоцкого в лингвистике начинался с египтологии; именно в эту область (а также в близко родственную по кругу проблем коптологию) Полоцкому удалось внести наиболее весомый вклад – речь идет о разработке теории системы времен египетского глагола, нашедшей выражение в ряде работ ученого [Polotsky 1965; 1976], а также о создании первой и до сих пор пользующейся наибольшим признанием теории синтаксиса предложения в коптском языке (ср. прежде всего его фундаментальное исследование [Polotsky 1944], а также работу [Polotsky 1960]).

Статья О. Гольдвассер «Сравнение классифицирующих языков и классифицирующих письменностей: случай древнеегипетского языка» представляет собой резюме результатов, полученных ею в процессе исследования графем египетского письма, обычно называемых детерминативами. Значение феномена детерминативов, известного и по ряду других письменностей с преобладанием идеографического принципа соответствия между обозначающим и обозначаемым (шумеро-аккадская клинопись, китайское письмо и др.), по сути выходит за рамки общей теории письма и тесно связано с когнитивными аспектами языка и мышления в их неразрывном единстве. Автор подвергает системному сопоставлению использование детерминативов в египетском письме, с одной стороны, и функционирование классификаторов как особого грамматикализованного разряда слов, свойственного целому ряду языков мира, с другой. Хотя, как признает сама Гольдвассер, приводимый в статье список обнаруженных параллелей далеко не полон, он тем не менее достаточно красноречиво свидетельствует об изоморфизме и функциональном сходстве систем детерминативов и классификаторов.

В статье «Некоторые аспекты употребления *jw* в среднеегипетском» Г. Затцингер приводит примеры различных конструкций с ча-

стицей *jw* на разных этапах развития египетского языка, в том числе редкие примеры типа *jw sšp* «есть свет» без наречия или предложной группы в качестве сказуемого. Затрагиваются вопросы синтаксического анализа употребления частицы, ее семантики и этимологии.

В статье «Методологические проблемы описания коптской (мор)фонологии» В.П. Функ излагает результаты исследования фонологических систем коптских диалектов и построения реконструкции на их основе. Статья состоит из введения, четырех разделов, заключения и двух приложений. В разделе «Структурная фонология», посвященном синхронным проблемам фонологии конкретных диалектов, автор настаивает на скрупулезном изучении орфографии текстов, позволяющем в ряде случаев лучше постичь фонологию языка писца. Именно с помощью такого анализа орфографии текстов на диалекте *F4* Функ приходит к открытию замечательного факта, что в этих текстах различение написаний *ou* и *u* – в отличие от прочих диалектов – играет смыслоразличительную роль: ср. *haou* 'день' (*[ha?u]) и *hau* 'быть плохим' (*[haw]). В саидском диалекте оба слова пишутся одинаково (*hoou*). Открытие Функа позволяет предположить, что и в саидском диалекте они также читаются по-разному: *[ho?ow] и *[how] (ср. уже известные пары *joou* *[čo?ow] 'скажи их!' и *joou* *[čow] 'посей их!'). В разделе «Междиалектная фонология» автор вносит дополнения и поправки в деривационную фонологическую модель для коптского языка, предложенную Ф. Хинце и основанную на работах Хомского и Халле. Для каждого отдельного слова модель представляет собой таблицу, где в первой строке в косых скобках приводится праформа, в первом столбце – упорядоченный список релевантных правил, а во внутренних ячейках для каждого диалекта указывается результат действия соответствующего правила (либо ставится прочерк, если оно для данного диалекта нерелевантно). На выходе (в последней строчке) даются реальные формы в коптской орфографии. Всего таких правил 41 (у Хинце - 23), все они приводятся в Приложении I. Среди наиболее важных отличий от работы Хинце – несколько иной взгляд на природу коптских фонологических противопоставлений (так – вслед за множеством современных коптологов – Функ постулирует для пар *o:w* и *e:y* противопоставление по подъему, а не по долготе), а также увеличение числа анализируемых диалектов: наряду с диалектами *S*, *B* и *A* Функ привлекает к рассмотрению диалекты *F*, *L4*, *L6*, *P* и недавно открытый диалект *M*. В разделе «Структурная морфонология» в качестве примера рассматривается правило аспирации взрывных перед сонорными в бохейрском диалекте, условия которого для таких «тяжелых» приставок, как *et-* 'который', *at-* 'без', *met-* '-ство'/'-надцать' еще подлежат тщательному изучению на основе исследования орфографии конкретных текстов. В разделе «Междиалектная морфонология» рассматривается алломорфия личных показателей на праязыковом уровне, а в Приложении II приводятся правила распределения алломорфов.

Статья А. Никкаччи «Вклад Полоцкого в исследование египетской глагольной системы и сравнение с библейским ивритом» состоит из трех разделов. В разделе «Теория Полоцкого о среднеегипетском глаголе» автор кратко и схематично излагает основные принципы так называемой «стандартной теории» Полоцкого, ключевым моментом которой является разделение всех глагольных форм на именные, адъективные и адвербиальные, а также признание наличия в египетском языке грамматикализованной выделительной конструкции (cleft sentence). В разделе «Обсуждение: хаос или начало новой парадигмы?» Никкаччи анализирует причины, по которым теория Полоцкого была отвергнута значительной частью египтологов (в том числе на конференции в Дании в 1986 г.). Автор акцентирует внимание на том, что претензии предъявлялись не к результатам или прогнозам теории, а к ее методам, в частности, к тому факту, что парадигма Полоцкого не вписывалась в современные дискурсивно ориентированные теории, а была исключительно структуралистской и опиралась в основном на синтаксический анализ предложения. Как пишет Никкаччи, многие современные лингвисты охотно применяют к египетскому языку такие функционалистские термины, как «тема», «топик» без предварительного синтаксического анализа текста, без каких-либо теоретических обоснований перенося установленные на английском материале категории на мертвый афразийский язык. Автор встает на защиту Полоцкого и приводит аргументы в пользу правоты «стандартной теории» в решении основных вопросов: эмфатическое или имперфективное значение форм *mrr.f*, синтаксическая природа конструкций типа *mrr.f irr.f* 'если он любит, то делает', анализ предложений с *jw*, *'h'.n* и *m.k* и различие между этими вспомогательными элементами. Не отказывает автор Полоцкому и в теоретическом превосходстве, утверждая, что прочие египтологи путают языковые уровни: грамматический (уровень клаузы), синтаксический (уровень предложения) и дискурсивный (уровень текста), не пытаясь провести четкие границы между ними. Затем Никкаччи классифицирует египетские предложения с «наречным сказуемым» и подробно останавливается на безглагольных предложе-

Таблица 1

	Прямая речь	Нарратив
Настоящее	Безглагольное предложение	Безглагольное предложение
Прошедшее (первый план)	(*x*-) *qaṭal* → *wayyiqṭol* (в серии)	*wayyiqṭol* → *wayyiqṭol* (в серии)
Прошедшее (второй план)	*x-qaṭal* (и т. д.)	*x-qaṭal* (и т. д.)
Будущее (первый план)	*x-yiqṭol* → *w^{e}qaṭal* (в серии)	
Будущее (второй план)	*x-yiqṭol*	*x-yiqṭol* / *w^{e}qaṭal* (обычай, описание, предвидение)

ниях с вынесенным топиком (*Ÿnty n.i-im*(*y*) *sw*), который автор синтаксически отождествляет с аподосисом условного предложения (***mrr.f irr.f***), и на предложениях структуры «именная группа + глагольная форма», которые автор делит на две группы (на основании сочетаемости с *jw*): псевдоглагольные конструкции и конструкции с вынесенным топиком. В разделе «Применение подхода Полоцкого к библейскому ивриту» Никкаччи пытается совместить структуралистский подход Полоцкого с дискурсивным подходом Вайнриха, постулирующего для глагольных форм противопоставления (1) прямой речи и нарратива, (2) прошедшего, настоящего и будущего времени и (3) переднеплановой (в главной предикации) и заднеплановой (в зависимой предикации) информации. Приведем итоговую таблицу (1) для библейского иврита. Особо подчеркивается частичный параллелизм между глагольными системами библейского иврита и позднеегипетского языка.

Помимо раздела, который включает работы египтологов и коптологов, в сборник вошли и составили основную часть его объема статьи, посвященные как проблемам лингвистической семитологии, так и общей теории грамматики.

Статья Ш. Изреэля «Конструктивные конструкции: семитская глагольная морфология и не только» фактически посвящена устройству глагольной системы семитских языков в целом, хотя автором непосредственно затрагиваются лишь два языка – аккадский и современный иврит. По мнению Изреэля, использование традиционного для еврейских грамматик термина «banyan» (прочно закрепившийся в русской семитологии эквивалент этого термина – «порода», подробнее см. ниже) скорее приводит к затемнению правильного восприятия структуры семитского глагола, нежели способствует этому восприятию.

В первой части своей статьи Ш. Изреэль формулирует систему строения глагольных форм аккадского языка, представляя материал в виде трехмерной матрицы, на двух горизонтальных осях которой располагаются соответственно главные и второстепенные основы (= «породы») аккадского глагола, а на вертикальной оси – основные парадигмы финитного глагола и нефинитные образования глаголов каждой основы. Вслед за этим приводится список правил, ступенчатое применение которых к исходной основе позволяет правильно образовать любую глагольную форму от заданного глагольного корня. Автор ставит вопрос о том, как следует расположить выделяемые им морфемы на континуальной шкале «словообразование – словоизменение». Предложенная им схема этого расположения устроена таким образом, что ближе всего к словообразовательным значениям оказываются морфемы, традиционно рассматриваемые в ассириологии как породообразующие (в терминологии Изреэля называемые «аугментами первого и второго ранга»). В середине континуума располагаются морфемы, образующие нефинитные формы глагола, в то время как финитные парадигмы оказываются ближе всего к словоизменительному полюсу шкалы. Подобная классификация в целом хорошо укладывается в современные представления о значении семитских глагольных форм, согласно которым традиционно выделяемые «породы» выражают категории залога и актантной деривации, а также различные «совершаемости» (симулятив, адъютатив и др.) – значения, которые в языках мира гораздо чаще относят к словообразовательным, чем к словоизменительным. Весьма интересным представляется установленное автором достаточно четкое соответствие между аугментами обоих рангов и чисто консонантными аффиксами, с одной стороны, и между аффиксами финитных и нефинитных форм и вокалическими трансфиксами (patterns), с другой.

Во второй части статьи объектом рассмотрения является система глагольных форм современного иврита. Классификация глагольных основ, а также словоизменительных моделей с различными трансфиксами представлена в виде таблицы. Автор отмечает, что современ-

ный иврит, в отличие от большинства остальных семитских языков, характеризуется выраженной тенденцией к производству новых глагольных лексем по старым словообразовательным моделям с опорой не только на семантические, но и на чисто формальные критерии. Это видно прежде всего по образованию новых глаголов от заимствованных слов: ср. такие примеры, как общепринятый в разговорной речи глагол *hišvic* 'хвастаться' (← идиш *švicn* тж.), а также окказионализм *šeyablidu* (импровизированная детская полукалька с англ. *let them bleed*), в которых принадлежность глагола к породе hifil задается не морфологическим значением каузативности, которого у этих глаголов нет, а исключительно звуковой структурой исходных иноязычных лексем. Автор задается вопросом: может ли изучение семитских языков внести нечто новое в общелингвистическую концепцию словообразования и словоизменения? Изреэль придерживается мнения, что различие между словоизменением и словообразованием не может быть абсолютно четким, так как, несмотря на некоторые установленные типологические закономерности, оно варьирует от языка к языку и носит континуальный, а не дискретный характер. Словоизменение и словообразование могут использовать одинаковые стратегии, но различаться порядком их применения; кроме того, языки могут пользоваться одинаковыми формами то в словообразовательных, то в словоизменительных процессах – в зависимости от конкретного фрагмента языковой системы. Так, общераспространенным в семитских языках является систематическое применение вокалических трансфиксов в области именного словообразования, в то время как в глаголе трансфиксация используется почти исключительно как словоизменительное средство. Последнее замечание автора касается термина «banyan», которым в гебраистике уже долгое время обозначаются глагольные основы различной формы и семантики. Значимым недостатком системы «биньянов» в ее традиционном виде является ее неоднородность – фактическое объединение в рамках одной классификации глагольных форм, одни из которых образованы с помощью словообразовательных «аугментов», в то время как другие – при помощи вокалических трансфиксов. Насколько можно понять (прямо в тексте об этом не говорится), речь идет прежде всего о включении в число «биньянов» основ *pual* и *hofal*, морфологически являющихся не чем иным, как образованным с помощью трансфиксации, т. е. словоизменительным, пассивным залогом соответственно для основ *piel* и *hifil*. Действительно, включение этих форм в число «пород» звучит неким диссонансом с общими принципами классификации глагольных основ, тем более что в арабистике формы, аналогичные по происхождению ивритским *pual* и *hofal* (так называемый «внутрифлективный пассив»), в традиционный список «пород» не включаются. Как бы то ни было, возвращение к первоначальному значению термина «banyan», у средневековых еврейских грамматиков обозначавшему совокупность словообразовательных моделей языка вообще (не только глагольных), представляется сегодня невозможным, и автор предлагает полностью отказаться от этого термина.

Материалом исследования в статье Э. Коэна «Нексус и фокусировка нексуса» послужили эпистолярные тексты на старовавилонском диалекте аккадского языка. Термин «нексус» был введен в лингвистику О. Есперсеном [Jespersen 1924: 114–116] и получил некоторое распространение в современной семитологии. Коэн определяет нексус как «одно из наименований ... предикативной связи между субъектом и предикатом или между темой и ремой» (с. 131). Нексус является одним из трех основных синтаксических отношений, наряду с атрибутивным и объектно-адвербиальным отношением (по этому вопросу подробнее см., например, [Goldenberg 1998]). Понятие «фокуса» для автора не является тождественным понятию «ремы», хотя также, как и последнее, относится к области актуального членения высказывания. Вслед за А. Шиша-Галеви [Shisha-Halevy 1995: 214] и рядом других лингвистов Коэн предлагает отличать «рему» как информационный центр сообщения на уровне клаузы от «фокуса», под которым понимается информационный центр сообщения на сверхклаузальном уровне. В классификации типов фокуса автор придерживается схемы С. Дика [Dik et al. 1980: 48–59], насчитывающего шесть типов фокуса, из которых пятый и шестой соотносятся Э. Коэном с фокусировкой нексуса. «Фокусировка нексуса, как и другие типы контрастивного фокуса, имеет место тогда, когда один нексус противопоставляется другому, и показатели подобного фокуса отмечают этот контраст» (с. 133). Вообще говоря, объектом фокусировки может становиться любой из трех компонентов глагольного комплекса – личный показатель, глагольная лексема как таковая или сама предикативная связь между субъектом и предикатом, т. е. нексус. Стандартным средством выражения первых двух типов фокусировки в старовавилонском диалекте является постпозитивная энклитическая частица *ma*, в данной функции способная присоединяться к местоимениям, наречиям, существительным и прилагательным. В противоположность этому, основным средством выражения фокуси-

Таблица 2

	утвердительная форма	отрицательная форма
глагольные формы	*lū* V (или V *–u*)	*lā* V *–u*
неглагольные формы	*lū* P	*lā* P

ровки нексуса, как показано в статье на ряде примеров, служит употребление так называемой «ассеверативной парадигмы» (asseverative paradigm), общая структура которой может быть представлена в виде таблицы 2.

В этой таблице символом V обозначается любая из основных глагольных парадигм (претерит, перфект, презенс или статив), а символом P – любая именная или наречная группа, функционирующая в качестве ремы. Например, *ullânum ... abīni aḫīni rabî u ālik pānīni šarrum šanûm ul ibašši ... ullânum ... abīni ... šum šarrim šanîm kêm u kêm* ***lū epiš*** «Помимо (имярек) нашего отца, нашего великого брата и нашего вождя, другого царя нет; (ниже в том же тексте) помимо (имярек) нашего отца.., имя другого царя там и сям **упоминается**». Выделенные Шиша-Галеви на материале несемитского валлийского языка [Shisha-Halevy 1995: 163–165] основные особенности фокусировки нексуса находят параллели и в старовавилонских текстах. В соответствии с семантикой Коэн подразделяет случаи встречаемости фокусировки нексуса на три группы и отдельно анализирует каждую из них.

В статье «Модальная частица *tuša* в старовавилонском диалекте» Н. Вассерман анализирует случаи употребления частицы *tuša* (имеющей также вариант *tušāma*) в ряде текстов на старовавилонском диалекте аккадского языка с целью выявить ее точную семантику. Большинство исследователей, так или иначе затрагивавших эту проблематику до сих пор, сходились во взгляде на *tuša* как на частицу со значениями ирреалиса / потенциалиса. Еще в 1946 г., однако, Т. Джейкобсен обратил внимание на то, что основной функцией как *tuša*, так и ряда других аккадских модальных частиц является апелляция к собственному суждению и опыту слушающего [Jacobsen 1946: 137, n. 17]. Примерно к тому же периоду относится и проницательное наблюдение В. фон Зодена, который, хотя и считал ирреалис основным значением этой частицы, обратил внимание на то, что *tuša* употребляется только *вне* условных конструкций. Известно, что основной частицей, передающей значение ирреалиса, в аккадском является энклитическая частица *-man*, употребляющаяся преимущественно в условных предложениях [Каплан 2006: 126], т. е. как раз там, где ирреалис находит свое «прототипическое» применение. Вассерманом проанализированы 27 случаев встречаемости *tuša* в текстах, из которых 16 взяты из писем царского архива в Мари (северо-западная периферия Месопотамии), 8 – из писем, происходящих из центрального Междуречья и 3 – из литературных текстов на старовавилонском диалекте. Главный вывод, к которому приходит автор, может быть сформулирован так: в семантическом отношении *tuša* не обозначает ирреалис, как предполагалось ранее. Это показатель эпистемической модальности, оформляющий сделанное ранее предположение (или общепринятое мнение), которое оказывается ложным. Наилучший способ ее перевода, с точки зрения автора, – «я/ты полагал, что…», если имеются в виду участники речевого акта, и «будто» или «казалось», если *tuša* употребляется в безличном высказывании. В качестве приложения к статье приведены все 27 проанализированных текстов в ассириологической транслитерации с английским переводом. К сказанному стоит добавить, что в пользу выводов Вассермана может свидетельствовать и сама этимология частицы *tuša*. По мнению Г.Х. Каплан (отражающему, надо полагать, общепринятую точку зрения), эта частица восходит к существительному *tuššu(m)* ‘напраслина, враждебные речи’ [Каплан 2006: 125]. Однако предлагаемый ею перевод *tuša* как ‘конечно, пожалуй’, по-видимому, неудачен, в то время как сам приведенный пример (единственный приведенный пример на эту частицу) – *tušāma amtūt baltāku* ‘я живу, как если бы я умер’ – как кажется, укладывается в интерпретацию Вассермана: предположение о том, что ‘я умер’, хотя и отражает некоторую субъективно важную реальность ‘моей’ жизни, оказывается неверным в наиболее существенном смысле соответствия объективной реальности.

Статья Р.-М. Фогта «Южные диалекты языка тигринья: фонология и личные местоимения диалекта май-чоу (Тиграй)» посвящена проблемам фонологии и морфологии языка тигринья, или тиграйского – второго по числу говорящих эфиосемитского языка, распространенного на севере Эфиопии и в центральной части Эритреи. Объектом анализа автора становятся некоторые особенности юго-восточных диалектов тигринья, которые он объединяет в «южную» группу, противопоставленную

остальным территориальным разновидностям языка, составляющим «северную» группу диалектов. В течение нескольких недель Фогт проводил полевые исследования диалекта май-чоу, занимающие в южной группе центральное положение; результаты этих исследований легли в основу статьи. Одна из наиболее характерных черт фонологии южных диалектов, как и литературного тигринья – последовательная спирантизация смычных *k*, *k*^{w}, *k'*, *k'*^{w} и *b*. В литературном тигринья спирантизации обычно подвергаются негеминированные смычные в поствокальной позиции. В диалекте май-чоу, однако, спирантизация регулируется иными правилами: 1) спирантизируются негеминированные смычные в позиции после гласной, в том числе – в анлаутс в случае гласного ауслаута предшествующего слова, если оба слова произносятся без паузы; 2) после согласного, т. е. в начале слога. Второй случай и составляет наиболее характерную особенность диалекта май-чоу; частное, но важное следствие из второго правила – смычные спирантизируются и в абсолютном начале слова, даже если предшествующее слово оканчивается на согласный. Таким образом, в этом диалекте имеет место фонологизация противопоставления смычных и щелевых одинакового места образования, так как в заимствованиях данное правило «не работает», ср. май-чоу *xəsad* 'шея' vs. *kätäma* 'город' (из амхарского). Смычное произношение сохраняется лишь в одной позиции – при геминации, ср. *bäxäyä* 'он плакал' vs. *yəb̲äk:i* 'он плачет'. Автор останавливается на следствиях из таких фонологических характеристик для описания морфологии диалекта май-чоу. Общий вывод его таков: если в литературном тигринья спирантизация является процессом, реализующимся при переходе от уровня морфа к уровню поверхностной фонетической репрезентации, то в май-чоу она реализуется на «ступень» глубже – при переходе от глубинного представления к уровню морфа. Исходя из приведенных данных о фонологии май-чоу, Фогт выдвигает новую гипотезу о происхождении форм некоторых личных местоимений в литературном тигринья, май-чоу и амхарском. Личные местоимения 2-го и 3-го лица здесь образованы при помощи присоединения соответствующих притяжательных суффиксов к основам *(ýəs)s-* (май-чоу, в амхарском с вариантом *ərs-*) или *nəss-* (лит. тигринья). Традиционно амхарские формы считаются происходящими от сочетания существительного **rəýəs* 'голова' с притяжательными суффиксами, в то время как формы указанных личных местоимений литературного тигринья производятся от сочетания с теми же суффиксами существительного **näfs* 'душа'. По мнению Фогта, тот факт, что для староамхарского языка засвидетельствована такая форма личного местоимения 3-го лица ед. ч. м. р., как *hənsu* [Getatchew Haile 1970: 66], свидетельствует в пользу происхождения как рассматриваемых амхарских форм, так и созвучных форм май-чоу и даже местоимений 2-го и 3-го лица в литературном тигринья из сочетания с суффиксами личной притяжательности не существительных 'голова' или 'душа', а существительного **kärś* 'живот, брюхо' (← прасем. **kariŝ-*). С фонетической точки зрения предположение Фогта выглядит правдоподобным для амхарского и для май-чоу; труднее вывести отсюда же формы литературного тигринья, однако и это возможно при допущении следующей траектории фонетических изменений: **kärśu* → **hərsu* → *hənsu* → **ənsu* → *nəssu* (с перестановкой соседних гласного и согласного). Следует также отметить, что в ходе полевых исследований впервые зафиксированы некоторые специфические глагольные формы май-чоу, не имеющие аналогов в литературном тигринья.

Центральную тему, которой посвящена статья Г. Гольденберга «От речи к письму в стране гураге: первые попытки записи текстов на местном языке», можно сформулировать так: что нового вносит в язык или обнаруживает в языке система письма, когда она начинает систематически применяться по отношению к данному, ранее бесписьменному, языку? В качестве материала для анализа избран ряд текстов на современном эфиосемитском языке кыстане (известном также под названиями «соддо» и «аймэллель»), генетически очень близком к языкам группы гураге, хотя сами носители кыстане возражают против причисления их к этой группе этносов. Вплоть до последнего десятилетия прошлого века кыстане являлся бесписьменным языком, несмотря на спорадические попытки записи текстов, предпринимавшиеся как носителями языка, так и иностранными исследователями начиная со второй половины XIX столетия. После краткого обзора истории этих попыток автор переходит к рассмотрению отдельных аспектов функционирования кыстане как новописьменного языка. Освоение письменности носителями кыстане произошло, с одной стороны, без «руководящего и направляющего» влияния какой-либо организации типа комитета по созданию письменности, с другой же - быстро, гладко и естественно. Письменностью для кыстане стало эфиопское слоговое письмо в его амхарском варианте; набор фонем и фонотактика в кыстане настолько близки к амхарским, что не потребовалось создания каких-либо новых графем. Тем не менее определенные трудности в процессе адаптации амхарского письма

к кыстане все-таки возникали, и касались они преимущественно передачи сочетаний лабиализованных и палатализованных согласных с последующим гласным (известно, что и в орфографии амхарского и тигринья здесь наблюдаются заметные колебания, отчасти отраженные и в поздних текстах на геэзе). В некоторых случаях влияние амхарского правописания оказывалось для кыстане неконструктивным. В лексическом отношении публикуемые в последние годы тексты на кыстане обнаруживают непрерывное пополнение литературного языка различными диалектными и субдиалектными лексемами. Как отмечает в этой связи Гольденберг, неверным было бы однозначно увязывать массированное проникновение диалектизмов в литературный язык именно с введением письменности; ставший ныне доступным наблюдению феномен скорее лишь обнаруживает ранее малоизвестную внешним исследователям ситуацию активного междиалектного взаимодействия. Кроме того, определенную роль в пополнении словаря играет и влияние иных языков, прежде всего – доминировавшего ранее в культурно-политической жизни страны амхарского. Что касается грамматического строя языка, то введение письменности позволило надежно установить некоторые важные факты, существование которых ранее лишь предполагалось исследователями. Так, твердо установлено, что наряду с бытийной связкой *-(ə)n* используется (хотя и редко) также связка *-u*, что, как пишет автор, «чрезвычайно важно для понимания всей глагольной системы» кыстане (с. 192). В синтаксическом отношении недавно опубликованные тексты на кыстане обнаруживают выраженную тенденцию к построению длинных периодов, могущих даже показаться «громоздкими» носителям языков иной синтаксической типологии; главной (финальной) предикации в подобных периодах предшествует несколько (иногда вложенных друг в друга) второстепенных предикаций, сказуемые которых выражаются либо конвербами, либо различными союзными глагольными формами. Тенденция эта хорошо известна по текстам на амхарском, тигринья и ряде других языков Эфиопии и Эритреи, как семитских, так и несемитских. Более того, можно с достаточно большой уверенностью утверждать, что она свойственна вообще «жестким» левоветвящимся языкам (к которым относятся большинство алтайских, дравидийских, многие американские и др. языки). В то же время разговорный стиль речи на этих языках отличается менее последовательным левым ветвлением и широким использованием выноса некоторых членов предложения вправо от главного сказуемого (типа русск. *В Киеве у него зять есть, **доктор***; в терминологии рассматриваемой статьи этот прием носит название «sentence-plus»), не представляя в этом отношении никакого серьезного отличия от разговорной речи на правоветвящихся языках. Некоторые примеры высказываний с подобным построением, проникшие в письменные тексты, приведены в конце статьи.

Арабская языковедческая традиция оказывала и продолжает оказывать большое влияние на современных лингвистов, причем не только в изучении классического арабского языка, но и в общей семитологии. Статья Р. Тальмона «Два этюда об арабском тамйизе» посвящена одному из наиболее сложных понятий традиционной арабской грамматики, история которого насчитывает уже много столетий. Термином тамйиз (арабск. *tamyīz* ‘выделение, различение’) в арабской грамматике обозначается одна из наиболее часто встречающихся функций винительного падежа, наиболее близкая к accusativus relationis / limitationis античной языковедческой традиции (например, *rāqūdun **ǫallan*** ‘большой сосуд уксуса’; *wafaǧǧarnā l-ýarda **Ÿuyūnan*** ‘и извели мы (т. е. Аллах) из расселин земли источники’ – Коран 54:12). В общей падежной типологии достаточно распространен взгляд на арабский аккузатив как на универсальный падеж, маркирующий синтаксическую зависимость имени от глагола (ср., например [Плунгян 2009: 163], со знаменательной оговоркой: «в первом приближении»). Единственной функцией арабского винительного падежа, зачастую противоречащей подобному пониманию его природы, как раз и является тамйиз. Категория тамйиза внутренне устроена весьма сложно; при этом практически все грамматисты единодушны в том, что главная граница внутри самой категории пролегает между приименным и приглагольным употреблением «аккузатива отношения». Первая часть («первый этюд») статьи Тальмона посвящена складыванию содержательного наполнения термина «тамйиз». О четком выделении категории тамйиза можно говорить только начиная с самого конца IX в. Полностью разработано учение о тамйизе в современном понимании было лишь после XIII столетия. Вслед за первой («тематической») частью работы автор предлагает разработанную им на основе анализа корпуса из 173 примеров внутреннюю классификацию категории тамйиза. Классификация претендует на исчерпывающий характер.

Израильский арабист И. Блау в течение многих лет занимается исследованием различных аспектов среднеарабского языка. Вошедшая в сборник статья озаглавлена «Реконструкция новоарабских диалектных черт по среднеарабским текстам». Термин «новоарабский» (Neo-Arabic) у Блау относится к сово-

купности современных разговорных арабских языков и противопоставляется в рамках статьи как классическому арабскому языку, так и среднеарабскому – языку, на котором написана значительная часть арабской литературы Средневековья. Современные разговорные языки арабского мира отделяет от возникновения новоарабского языкового типа более 1000 лет, причем на ранних этапах формирования «новоарабского» связные тексты на нем практически не фиксировались на письме. Однако самые разноплановые особенности, характерные для современных арабских языков, в изобилии встречаются в текстах на среднеарабском языке. Автор отмечает, что каждый из приводимых им подобных лексических и грамматических феноменов сам по себе обладает сравнительно небольшой значимостью, но все вместе они дают адекватное представление о большой степени сходства между ранней и поздней стадией развития «новоарабского». Многие из приведенных Блау лексических инноваций, характерных для современных арабских языков, впервые засвидетельствованы в тех текстах на арабском (происходящих из самых разных регионов арабского мира), которые составлялись евреями. Причину этого, по нашему мнению, следует видеть в том, что литература арабоязычных евреев испытывала менее выраженное стандартизирующее влияние норм классического языка, нежели литература их соседей-мусульман. Во второй части статьи объектом рассмотрения является отражение в среднеарабских текстах одного из грамматических феноменов, характеризующих бóльшую часть современных арабских языков – употребления окончания *-ā* (вместо классического *-an*) в качестве показателя наречий.

Статья О. Ястрова «Арабские говоры Кармельского побережья» явилась итогом шести недель полевых исследований, проведенных автором в 1999 г. в ряде арабских населенных пунктов, расположенных в районе горного массива Кармель в прибрежной части северо-западного Израиля, а также в районе так называемого «Треугольника», географически примыкающего к массиву Кармель с востока и юго-востока. В наши дни на Кармеле существуют лишь две арабские деревни: Фурейдис (Фрадис; около 8,5 тыс. жителей) и Джисир из-Зарга с примерно таким же количеством жителей. Около двух десятилетий назад поблизости существовало еще одно арабское поселение – маленькая деревня иль-Мифджар; ныне ее жители проживают в различных населенных пунктах «Треугольника». Ястров исследовал речь обитателей обеих сохранившихся деревень и работал также с выходцами из иль-Мифджара. В ходе анализа ему удалось выявить наличие в районе Кармеля четырех различных арабских говоров (в терминологии, принятой в статье, для обозначения данного понятия используется английское слово dialect), так как население деревни Джисир из-Зарга, принадлежащее к разным кланам, говорит на двух различных диалектах, обозначенных автором как Джисир I и Джисир II. Основная часть статьи представляет собой краткий очерк основных особенностей фонетики и морфологии этих диалектов. Общий вывод автора статьи состоит в следующем: в то время как более 20 известных диалектов арабов «Треугольника» проявляют высокую степень однородности в структурном и материальном планах, всего 4 кармельских диалекта обнаруживают значительные расхождения друг с другом. И все же, по мнению О. Ястрова, диалекты Кармеля представляют собой достаточно четко выделимое единство: все они, в отличие от диалектов «Треугольника», сохраняют долгую гласную в формах м. р. глаголов со средним «слабым» корневым согласным; во всех четырех присоединение в спряжении суффикса ж. р. *-in* не влечет за собой сокращения гласных основы (в том числе и в глаголах со средним «слабым» радикалом).

В статье «Насколько междиалектной является периферийная устная бедуинская поэзия?» Р. Хенкин пытается дать ответ на вопрос о том, в какой степени древняя бедуинская поэзия сохранила до наших дней четко выраженный наддиалектный характер на фоне достаточно радикальной перестройки слоговой структуры слова в большинстве современных разговорных арабских языков. В качестве материала для анализа выступают произведения устного поэтического творчества бедуинов трех периферийных по отношению к Аравийскому полуострову ареалов: Иордании, пустыни Негев и Синайского полуострова, а также (как эталон сравнения) стихотворения бедуинов Аравийского полуострова, опубликованные в ряде сборников, выходивших в свет на протяжении XX века. Вывод, к которому автор приходит в результате анализа, таков: на поверхностном («речевом») уровне бедуинская поэзия строится из «кирпичиков» структуры данного диалекта, однако в ней постоянно встречаются наддиалектные черты, отражающие более глубокий («языковой») уровень. Это положение, вообще говоря, противоречит утверждению, сделанному много десятилетий назад А. Социном: «Стихотворения представляют не какой-либо местный или племенной диалект, а скорее некую разновидность конвенционального поэтического языка, на которую, тем не менее, оказывает существенное влияние диалект стихотворца и декламаторов» (цит. по [Palva 1976: 44]).

Таким образом, на протяжении столетия в поэтическом творчестве арабов-бедуинов произошли серьезные изменения, отражающие, по-видимому, изменение соотносительного социолингвистического статуса классического арабского языка и разговорных языков арабского мира.

Небольшая по объему статья Р. Саари «Несколько замечаний о мальтийских предлогах итальянского происхождения» представляет собой ряд описательных очерков синтаксического употребления четырех простых мальтийских предлогов итальянского происхождения: *favur* 'в пользу', *kontra* 'против', *rigward* 'относительно, касательно' и *skond* 'в соответствии с'. Статья имеет достаточно частный характер и не претендует на какие-либо обобщения. Что касается конкретных положений автора, одно из них нам представляется не вполне точным: по нашему мнению, в случае предлога *favur* источником заимствования послужил не (литературный) итальянский, а сицилийский язык (ср. сицилийское *favuri* при ит. *favore*).

В статье «Content expressions в библейском иврите» Т. Зеви анализирует разнообразные синтаксические явления, связанные с экспликацией содержания речевого, мыслительного, волевого или познавательного акта, которым О. Есперсен в своем фундаментальном труде по английской грамматике [Jespersen 1909–1949, 5: 23–24] впервые присвоил наименование content clause. Общепринятого русск. эквивалента этого термина до сих пор не существует, а наиболее близким (хотя и не тождественным) представляется термин «придаточное изъяснительное». Ср., например: *И увидел Бог, **что это хорошо*** (Бытие 1:21) или *И освятил его, **ибо в оный*** (sc. день) ***почил от всех дел Своих*** (Бытие 2:3). В библейском иврите подобные клаузы и фразы вводятся с помощью *kī*, *šä* и (реже) *ýäšär*, а также бессоюзно или при помощи сопряженного инфинитива, и в традиционных и современных грамматиках почти никогда не рассматриваются как отдельный феномен, а группируются в зависимости от конкретных синтаксических ролей, исполняемых ими в предложении. Единственным исключением в гебраистике является грамматика Вальтке – О'Коннора [Waltke, O'Connor 1990: 644–646]. Рассмотрев целый ряд текстовых примеров из еврейской Библии, Зеви приходит к заключению о том, что исчерпывающее синтаксическое описание content expressions должно составляться с учетом того, какие части речи замещаются с помощью content expressions и какие синтаксические функции они выполняют; первостепенным значением обладает тот факт, что они выражают абстрактное содержание номинализированной клаузы.

В статье «Пассивное причастие в современном иврите» Д. Таубе исследует статус, семантику и синтаксические функции причастных форм пассивного залога в текстах на современном иврите. Ей удается установить неправильность некоторых воззрений на значение пассивных причастий, ранее считавшихся общепринятыми. Показано, что причастия моделей mefoŸal и mufŸal (так называемый «внутрифлективный пассив») наряду со стативной семантикой, сближающей их с прилагательными, регулярно имеют и фиентивное (акциональное) значение и поэтому интегрированы в видо-временную систему глагола. Вообще, причастия моделей paŸul, nifŸal, mefoŸal, mufŸal и mitpaŸel образуют единую систему с противопоставлениями на двух уровнях: на уровне акционального пассива (агентивно-пациентивные отношения и временные оппозиции) и на уровне неакционального пассива (различные оттенки пациентива и аспектуальные значения). Более того, в систему неакционального пассива автором включаются не только собственно причастные формы, но и финитные формы puŸal и hofŸal, что также обосновывается анализом текстовых примеров.

Исследование Т. Бар, озаглавленное «Выделительная конструкция в современном иврите», представляет собой, насколько можно судить, первую в мировой лингвистике работу, специально посвященную этому виду предложений в израильском иврите. Выделительная конструкция – это один из наиболее частых в языках мира приемов рематизации одного из членов исходного предложения: рематизация осуществляется путем расщепления исходного предложения на две новые предикации, одна из которых становится информационным центром сообщения, а другая, заняв позицию темы, претерпевает номинализацию с помощью доступных данному языку средств (ср., например, следующую пару английских предложений: *Her father arrived yesterday / It's her father who arrived yesterday*). Как таковая, выделительная трансформация противоположна трансформации топикализации. Выделительные конструкции чрезвычайно распространены в современном иврите, характеризуя в основном разговорный стиль речи и язык СМИ; в то же время они в целом не характерны для нарратива, редки также в библейском и мишнаитском иврите. В статье предпринята попытка описать строение выделительных конструкций с рематизацией различных членов исходного предложения и отрицательных выделительных конструкций. Анализируется употребление риторических вопросов, построенных по модели выделительной конструкции. Рассматриваются

также вопросы глагольного согласования в номинализированной части предложения (демонстрируется равная возможность как наличия, так и отсутствия согласования; по всей видимости, осуществление согласования является полностью факультативным).

Ряд статей сборника посвящены проблемам общей теории грамматики. К ним относятся работы М. Раурет, С. Хопкинса, М. Эрдала и П. Кирчука-Галеви.

В своей небольшой статье «'Связка': слово, 'пришедшееся кстати'» М. Раурет высказывает ряд соображений по поводу способов оформления связочной предикации в классических семитских языках. Как известно, в этих языках для высказываний плана настоящего времени отсутствуют глагольные связки типа англ. *to be* или нем. *sein*; предикация в именном предложении реализуется либо (чаще) при помощи простого линейного соположения подлежащего и сказуемого, либо (реже) при помощи личных местоимений 3-го лица или же указательных местоимений (ср. русск. *Москва – **это** столица России*), играющих, таким образом, роль, в принципе аналогичную роли глагольной связки в большинстве европейских языков. Автор высказывает сомнения в правомерности именования этих двух феноменов единым термином «связка». За текстом статьи следует более или менее репрезентативная подборка высказываний известных гебраистов, семитологов и теоретиков общего языкознания относительно природы «связочных» элементов в семитских языках; подборка призвана продемонстрировать непоследовательность лингвистов различных направлений в определении точного значения термина «связка».

Статья С. Хопкинса озаглавлена «"That monster of a man" и эмоциональный генитив». Автор рассматривает особую синтаксическую конструкцию словосочетания, в семантике которой практически всегда преобладающим является эмоционально-оценочный компонент. Конструкция достаточно широко применяется в английском языке; Хопкинс приводит многочисленные примеры ее употребления как из англоязычной литературы, так и из текстов на различных германских и романских языках, на ирландском, турецком, персидском, восточных новоарамейских, амхарском, арабском (современные разговорные языки) и современном иврите. Что касается библейского иврита, то приводимые автором примеры, как подчеркивает и он сам, не могут считаться несомненным свидетельством наличия этой конструкции в языке Ветхого Завета; приходится признать, что на сегодняшний день существование «эмоционального генитива» в библейском иврите остается недоказанным. Следует также отметить, что, несмотря на внушительность библиографического списка в конце статьи, автором не включены в него публикации М. Копчевской-Тамм, так или иначе затрагивающие данную тему, например, статья [Koptjevskaja-Tamm 2003].

Статья М. Эрдала «Субстантивное подлежащее первого и второго лица» на материале генетически и типологически разнородных языков демонстрирует интересное явление из области личного согласования предиката с его субъектом. Известно, что в большинстве языков глаголы с субъектным согласованием по 1-му и 2-му лицу имеют в качестве подлежащего соответствующие личные местоимения, а при подлежащем, выраженном существительным, вопросительным или относительным местоимением, сказуемое должно иметь форму 3-го лица. Автор статьи ставит перед собой задачу показать, что в целом ряде языков это правило не соблюдается. Для этого Эрдал привлекает текстовые примеры из латыни, древнегреческого, тюркских (языка орхоно-снисейских надписей, древнеуйгурского, турецкого), старописьменного монгольского, испанского, а также библейского и современного иврита. Как явствует из этих примеров и как подчеркивает сам автор, глагол в 1-м или во 2-м субъектном лице имеет субстантивное подлежащее в тех случаях, когда говорящий полагает, что слушающий не в состоянии правильно идентифицировать его, говорящего (глагол в 1-м лице) или же тогда, когда, по мнению говорящего, слушающий не вполне осознает, что в данной коммуникативной ситуации слушающим является именно он, а не кто-то иной (глагол во 2-м лице). В основных западноевропейских языках глагол в подобных случаях нормативно согласуется с подлежащим по 3-му лицу (ср. англ. *Your most humble servant has received the letter*). В противоположность этому, например, османо-турецкий эквивалент этого же предложения демонстрирует согласование глагола по 1-му лицу (*Bendeniz mektubu aldım*). Контраст между моделями согласования особенно ярко виден, если сравнить ставшее хрестоматийным предсмертное восклицание Нерона, которое у Светония имеет вид *Qualis artifex pereo!* с его стандартным русским переводом *Какой артист погибает!* Что касается приводимых примеров на согласование глагола с субстантивным подлежащим по 2-му лицу, то они свидетельствуют о том, что подлежащее таких предложений по крайней мере в некоторых случаях не может рассматриваться как частный случай оформления вокатива. Некоторым недостатком статьи можно считать отсутствие в тексте гипотез или эксплицитно сформулированных выводов относительно возможного происхождения рас-

сматриваемого различия в способах согласования сказуемого.

К статьям, посвященным общей теории грамматики, тесно примыкает работа А. Шиша-Галеви «О конверсии, подчинении предложений и смежных понятиях: некоторые размышления о полоцкианской и общей моделях». Главной целью автора является выяснение соотношения между синтаксическими терминами и обозначаемыми ими реалиями; предметом особого внимания становится использование Х.-Я. Полоцким терминов «конвертер» и «конверсия» (англ. «converter» и «conversion»). Как известно, термины эти впервые появляются в коптологических исследованиях Полоцкого, а позднее они стали применяться его последователями при изучении грамматики египетского и ряда других языков. По мнению Шиша-Галеви, начиная с 1970-х годов сам Полоцкий постепенно отказывается от разработанной им ранее концепции «конверсии» из-за преобладания в ней приоритета априорных логических категорий над грамматическими фактами.

Сборник завершается объемистой статьей П. Кирчука-Галеви «Язык: типологический, функциональный, когнитивный, биологический и эволюционный подходы». В своем предисловии к сборнику издатели характеризуют статью Кирчука-Галеви как «амбициозную попытку совершить тотальную революцию в лингвистике» (с. xix). Основными темами работы являются природа взаимоотношения между языковыми знаками и предметами внеязыковой действительности, между языком и мышлением, между способностью к усвоению языка и речевой деятельностью. В качестве недостатков порождающей грамматики – одного из основных течений в лингвистике XX века – автор указывает абсолютизацию роли грамматики в системе языка, сведение языка к грамматике, а грамматики – к фонологии и синтаксису. В этом автор усматривает значительное сходство между этими двумя основными лингвистическими школами XX столетия: генеративизмом и хронологически предшествовавшим ему структурализмом. Традиционный структурализм изучает преимущественно систему языка, проявляя тенденцию к рассмотрению ее как статического, а не как динамического феномена. В этой-то тенденции структурализм и смыкается с генеративизмом. Между тем на современном этапе развития языкознания назрела насущная необходимость в адекватной оценке человеческого фактора – как анатомии и физиологии, так и психологии пользующихся языком индивида и социума. Кирчук-Галеви утверждает, что различие между соссюровской и хомскианской лингвистикой, с одной стороны, и его собственными представлениями о языке, с другой, подобно различию между ньютоновской физикой и квантовой теорией. Язык представляет собой не langue в соссюровском смысле этого термина – знаковую систему с четко заданными грамматикой и словарем, с коллективом говорящих, каждый из которых наделен аналитическими способностями и памятью и неуклонно следует правилам, задаваемым этой системой – а систему, устроенную несравненно более сложным образом, в которой чрезвычайно значительная роль принадлежит разнообразным коммуникативным, экспрессивным и прагматическим факторам. «Язык следует сравнивать не с горой, а с айсбергом, и грамматика, с синтаксисом на самой вершине, является лишь его видимой частью» (с. 496). Автор именует свой подход к исследованию языка «коперниковской революцией в лингвистике» (с. 495). К серьезным концептуальным недостаткам статьи относятся, во-первых, тенденция к абсолютизации принципа иконичности языкового знака в ущерб уравновешивающему его принципу произвольности знака и, во-вторых, неразличение двух понятий – знаменательной морфемы естественного языка, являющейся носителем лексического значения лексемы, с одной стороны, и этимона данной лексемы, с другой. Оба понятия Кирчук-Галеви обозначает термином «корень»; разработанную им на основе подобного подхода теорию «двухфонемности» семитского корня отличает смешение синхронического и диахронического планов в исследовании структуры слова. При всем этом, как опять-таки пишут издатели в своем резюме статьи, ее «стиль, к сожалению, может заставить читателя пройти мимо нескольких важных наблюдений» (с. xix). Статья Кирчука-Галеви написана в русле современного функционализма, работы основных теоретиков этого направления (Т. Гивона, Р. Диксона, Э. Косериу, А. Вежбицкой) включены автором в библиографический список.

В целом выход в свет сборника, посвященного памяти Х.-Я. Полоцкого, представляет собой достаточно крупный шаг вперед в области сравнительно-исторического и структурно-типологического исследования языков двух семей афразийской макросемьи, максимально представленных письменными памятниками, – семитской и египетской. Следует особо отметить богатые эмпирическим материалом и весьма плодотворные в теоретическом отношении статьи В. Шенкеля и В. Петера-Функа, а также в определенной степени пионерское исследование Т. Бар.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Каплан 2006 – *Г.Х. Каплан*. Очерк грамматики аккадского языка. СПб., 2006.

Плунгян 2009 – *В.А. Плунгян*. Общая морфология: введение в проблематику. 3-е изд., испр. и доп. М., 2009.

Dik et al. 1980 – *S.C. Dik* et al. On the typology of focus phenomena // GLOT. Leids Taalkundig bulletin. 3. 1980.

Getatchew Haile 1970 – *Getatchew Haile*. Archaic Amharic forms // Proceedings of the Third International conference of Ethiopian studies. V. II. Addis Ababa, 1970.

Goldenberg 1998 – *G. Goldenberg*. Syntactic relations and typology in Semitic languages // G. Goldenberg. Studies in Semitic linguistics. Jerusalem, 1998.

Jacobsen 1946 – *Th. Jacobsen*. The Sumerian mythology: a review article // Journal of Near Eastern studies. 5. 1946.

Jespersen 1909–1949 – *O. Jespersen*. A modern English grammar on historical principles. V. 1–7. London; Copenhagen, 1909–1949.

Jespersen 1924 – *O. Jespersen*. Philosophy of grammar. London, 1924.

Koptjevskaja-Tamm 2003 – *M. Koptjevskaja-Tamm*. Possessive NPs in the languages of Europe // F. Plank (ed.). Noun phrase structure in the languages of Europe. Berlin, 2003.

Palva 1976 – *H. Palva*. Studies in the Arabic dialect of the semi-nomadic əl-ʕAjārma (al-Balqāʕ district, Jordan) // Orientalia Gothoburgensia. 2. 1976.

Polotsky 1944 – *H.-J. Polotsky*. Études de syntaxe copte. Le Caire, 1944.

Polotsky 1960 – *H.-J. Polotsky*. The Coptic conjugation system // Orientalia. 29. 1960.

Polotsky 1965 – *H.-J. Polotsky*. Egyptian tenses // Proceedings of the Israel Academy of sciences and humanities. V. II. № 5. Jerusalem, 1965.

Polotsky 1976 – *H.-J. Polotsky*. Les transpositions du verbe en égyptien classique // Israel Oriental studies. 6. 1976.

Shisha-Halevy 1995 – *A. Shisha-Halevy*. Structural sketches of Middle Welsh syntax // Studia celtica. 29. 1995.

Waltke, O'Connor 1990 – *B.K. Waltke, M. O'Connor*. An introduction to Biblical Hebrew syntax. Winona Lake, 1990.

И.А. Фридман, С.В. Малышев

F. Thordarson. **Ossetic grammatical studies.** Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009. 255 p. (Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse. Bd. 788. Veröffentlichungen zur Iranistik. Nr. 48)*

1. Введение

В предисловии к сборнику своих статей «Осетинский язык и фольклор» В.И. Абаев писал в 1949 году: «Старые работы А. Шегрена и В. Миллера, не говоря уже о том, что они стали библиографической редкостью, сильно устарели, а новейшая литература, вообще довольно значительная, мало доступна в силу ее разбросанности» [Абаев 1949: 3]. Эта фраза, увы, вполне применима и к сегодняшнему состоянию осетиноведения, с той лишь поправкой, что список ставших библиографической редкостью и устаревших работ можно бы теперь пополнить.

По-видимому, «Исследования осетинской грамматики» составлялись именно с целью изменить это прискорбное положение дел, поэтому значительная часть книги – это изложение уже опубликованного, в том числе самим автором, одним из крупнейших на Западе знатоков осетинского языка, Фридриком Тордарсоном (1928–2005) (см. библиографию его работ на сайте проекта «Титус» http://titus.uni-frankfurt.de/personal/galeria/thordbib.htm). Работа над книгой продолжалась много лет, но она, к сожалению, так и осталась незавершенной. Черновики к ней были обнаружены посмертно вдовой ученого в его архиве. Их свела воедино и подготовила к печати Соня Гипперт-Фритц.

Книга включает как синхронное описание некоторых разделов осетинской грамматики, так и сравнительно-исторические и ареально-типологические соображения. Отдельные примеры снабжены глоссами – отрадное отступление от герметических традиций «классического» языковедения.

Несмотря на то, что материал монографии в значительной степени не нов, по тексту рассыпано немало ранее не опубликованных тонких наблюдений, подкрепленных солидным фактическим материалом, а также интересных догадок. Это делает ее очень интересным чтением для осетиноведов и специалистов по кавказской ареальной лингвистике.

2. Обзор содержания

Глава 1 является кратким историческим введением. Стоит отметить, что новейший подробный обзор и анализ исторических источников

* Я признателен П.Б. Лурье за замечания к предварительному варианту этой рецензии.

содержится в капитальном труде [Alemany 2000], ссылки на который в списке литературы нет.

Глава 2, «Диалекты», обсуждает различия между иронским и дигорским осетинским[1].

Я не могу согласиться с рядом соображений, высказанных в этой главе. Во-первых, мне непонятно утверждение «просодические признаки в принципе одинаковы в обоих диалектах» (раздел 2.6.2). Ударение в иронском и дигорском устроено по-разному (см. новейшее описание и сравнение в [Cheung 2002: 119–121; 2008: 163–171]), в частности, неочевидно, что его акустические корреляты имеют одинаковую природу. Просодическая фонология обоих идиомов малоизучена (единственное исследование «интонации» в иронском – это работа Абаева 1939 г., перепечатанная в [Абаев 1949: 529–560]). Далее в том же разделе Тордарсон пишет: «Эта просодическая система, очевидно, является инновацией, которую мы, несомненно, имеем право приписать влиянию соседних северокавказских языков». Как отмечает Чёнг [Cheung 1999: 291], возражая против работы [Thordarson 1990], где были высказаны сходные соображения, просодические системы соседних северокавказских языков изучены весьма умеренно и утверждать что-либо об их влиянии можно лишь с большой осторожностью.

Во-вторых, в разделе 2.8.7 говорится, что «следы тмесиса глагола и преверба по-прежнему наблюдаются в дигорском, но не в иронском». Во-первых, тмесис клитиками по-прежнему вполне продуктивен в дигорском, так что говорить тут о «следах» несколько неточно, во-вторых, если к превербу присоединен имперфективизирующий / конативный аффикс *-sæj-*, то тмесис возможен и в иронском:

(1) a. дигорский
ba=jin=ibæl
PREV=DAT.3SG=SUPERESS.3SG
æftaw-æ
добавлять-IMP.2SG
'Добавь ему к этому' (мои полевые материалы).
b. иронский
fæ-sæj=jæ ***mard-ta***
PREV-IPF=ACC.3SG убить.PST-TR.PST.3SG
'Чуть его не убила' (пер. Х. Ардасенова поэмы К. Хетагурова «Фатима»[2]).

В-третьих, в том же разделе 2.8.7 говорится: «При развитии диалектов мы имеем дело с распространением инноваций из фокусной области в более дальние регионы. Кажется естественным определить место этой области на востоке на Владикавказской равнине, около берегов Терека или в их окрестностях».

Однако нынешнее расселение осетин – результат очень поздних переселений: с разгрома аланского государства войсками Тимура в XIII веке и до конца XVIII века осетины Северной Осетии жили в нескольких горных ущельях, а не на равнине. Активное переселение с гор на примыкающую с севера равнину началось лишь в XIX веке (а в Закавказье значительно раньше). Про распространение инноваций (да и про диалектное членение, как отмечает сам Тордарсон в разделе 2.7) в домонгольский период судить совершенно невозможно. Единственная известная общая инновация в иронском и дигорском, произошедшая в послемонгольское время, между XIII и XVII вв., – это переход *a* > *o* перед носовыми. В записанном в Венгрии в 1422 г. ясском глоссарии присутствует еще *dan* 'вода' и *ban* 'день', а ясы переселились в Венгрию в первой трети XIII в., в то время как в словнике Дрешера-Витсена (1688 г.), о котором см. ниже в этой рецензии, уже *don* 'вода' и *fonz* 'пять' [Камболов 2006: 296–300]. Как заметил П.Б. Лурье (л. с.), этот процесс был, возможно, продуктивен еще в конце XVIII в.: ос. *bulk'on / bolk'on* 'полковник', по всей видимости, является фонетически адаптированным русским *полкан*.

Процессов, общих для дигорского и иронского, которые шли бы уже после возвращения осетин на равнину в XIX веке, насколько мне известно, нет. Фонетические инновации сев.-ос. иронских говоров (а именно, переходы *s* > *š*, *z* > *ž*, *ʒ* > *z*, а также, в большинстве позиций, *c* > *s*), каковы бы ни были пути их распространения по Северной Осетии, не перешли на ю.-ос. говоры, см. описание иронских говоров в [Бекоев 1985] и специально про чисанский говор (на фонетику которого фактически ориентируется Тордарсон) в [Дзицкойты 2008].

Не учитывающая этих изменений современная осетинская орфография, транслитерация которой используется в рецензируемой книге, уже давно не совпадает с реальным произношением. Например, «стандартные иронские» *cæuin* и *ʒurinc* (раздел 2.8.3), фактически произносятся в большинстве сев.-ос. ир. говоров *sæwyn* и *zurync*, см. описание в [Дзахова 2009: 170–177].

В главе 3 обсуждаются языковые контакты: 3.1. Протодиалект; 3.2. Лексическое взаимодействие: 3.2.1. Осетинский, нахские и сванский; 3.2.2. Осетинский и нахские; 3.2.3. Осетин-

[1] 2.1. Два отдельных диалекта; 2.2. Спряжение глагола 'быть'; 2.3. Словарь и фразеология; 2.4. Лексические дублеты; 2.5. Аномальные изменения в фонетике; 2.6. Фонетические инновации; 2.7. Однородный праязык; 2.8. Отношения между дигорским и иронским.

[2] Изначально эта поэма была написана по-русски.

ский и тюркские; 3.2.4. Осетинский и абхазо-адыгские; 3.2.5. Осетинский и картвельские; 3.3. Кальки; 3.4. Свойства грамматики: 3.4.1. Глоттализованные и увулярные согласные; 3.4.2. Двадцатиричная система; 3.4.3. Система превербов; 3.4.4. Деепричастие; 3.5. Образование глаголов; 3.6. Консервативные и инновационные черты.

Анализ иноязычной лексики в осетинском языке (разделы 3.2.1–3.2.5) в значительной мере опирается на работы В.И. Абаева и Р. Бильмейера, однако из рассмотрения тюркских заимствований Тордарсон делает важный вывод: контакты прото-осетинского с тюркскими языками начались очень давно и были весьма интенсивны. Это подтверждается следующими фактами: несомненно тюркское происхождение имеют, во-первых, одно из слов «базового лексикона» *čyžg/kizgʁ* < *qyz* 'девочка, девушка, дочь' [Абаев 1958: 614], во-вторых, единственное заимствованное слово, не являющееся существительным *kʁrʁzi/kʁrʁžej* < *qar(ə) šə* 'друг друга' [Абаев 1958: 581], причем в обоих этих словах *q* передано через *k*, т. е. увулярного *q* в осетинском языке во время заимствования еще не было. Кроме того, весьма ранним заимствованием должно быть *duʁ/doʁ* 'скачки' < *joʁ* 'погребальный обряд', см. [Абаев 1958: 373]. Это слово должно было быть взято из языка, где *j* перешло в *d'* (иначе оно было бы усвоено как *j* или, в случае языка-донора с переходом *j* в *ǯ*, как *ʒ*, поскольку возникновение в осетинском языке *ǯ* – явление, по-видимому, достаточно позднее. Поскольку в тюркских языках, соседствующих ныне с осетинским языком, перехода *j* > *d'* нет, и это заимствование должно быть достаточно ранним, подробности см. в цитируемом месте работы Абаева. Надо, впрочем, оговориться, что и для *kʁrʁzi/kʁrʁžej* и для *duʁ/doʁ* возможны альтернативные этимологии (для первого – монгольская, а для второго – абхазо-адыгская)[3].

Поэтому естественно предполагать тюркское влияние и на осетинскую грамматику. Это часто упускают из виду, рассуждая о «несомненном кавказском влиянии» на то или иное свойство осетинского языка. Однако конкретных примеров того, что с уверенностью можно было приписать тюркскому влиянию, в рецензируемой книге (и, насколько мне известно, в осетиноведческой литературе вообще) нет.

В принципе, в осетинском языке можно найти немало черт, типологически сближающих его с тюркскими языками (преимущественно агглютинативная морфология, структура именной группы, немаркированный порядок слов в простом предложении и многое другое). Одной из таких черт является достаточно интенсивное использование конвербов. В разделе 3.4.4 Тордарсон описывает некоторые употребления конвербов в современном осетинском языке (надо заметить, что это сделано значительно более подробно в неопубликованной диссертации [Медоева 1969]) и обсуждает, не могут ли эти употребления быть результатом каких-либо внешних влияний. Он отмечает некоторые сходства в этом отношении между осетинским языком и другими языками Северного Кавказа, однако обращает внимание и на то, что различные конструкции с конвербами возникали и во многих иранских языках. Добавлю, что иногда эти употребления разительно сходны с осетинскими, притом что сами формы конвербов не когнатны и о прямом контакте между языками не может идти речи:

(2) a. иронский осетинский

wyj-imʁ=dyn	*cʁr-gʁ-j*
он-COMIT=2SG.DAT	жить-CONV-ABL
u	
COP.PRS.3SG	

'Тебе с ним суждено жить' [Медоева 1969: 39].

b. северо-западный диалект белуджского, Пакистан

manā	*raw-ag-ī*	*int*
я.OBJ	идти.PR-INF-GERV	COP.PRS.3SG

'Я должен идти' [Jahani, Korn 2009: 677].

Таким образом, исследовать ареальные влияния на осетинские конвербы весьма непросто: есть много потенциальных источников влияния и трудно исключить возможность внутреннего развития.

Несколько примеров других таких сложных случаев приводятся и в центральной для этой книги главе 4, «Именная группа в осетинском»[4].

---

[3] Я признателен А.В. Дыбо и О.А. Мудраку, обратившим мое внимание на это обстоятельство.

[4] 4.1. Простое предложение; 4.2. Классы имен; 4.3. Сложные именные группы; 4.4. Перестановка вершины и модификатора; 4.5. Сложные существительные: 4.5.1. Tatpiṛusa и bahuvṛīhi; 4.5.2. Семантические изменения; 4.5.3. Внутренний порядок; 4.5.4. Bahuvṛīhi с обратным порядком; 4.6. Мена гласных в сложных существительных; 4.7. Постмодификация; 4.8. Определенность; 4.9. Притяжательный датив; 4.10. Групповая флексия; 4.11. Премодификация; 4.12. Склонения; 4.13. Словоизменение существительных: 4.13.1. Агглютинация; 4.13.2. Порядок элементов; 4.13.3. Число; 4.13.4. Падеж; 4.13.4.1. Падежная система; 4.13.4.2. Номинатив; 4.13.4.3. Генитив;

В разделах про падежи приводятся как их основные функции, так и соображения о происхождении соответствующих суффиксов. Этимологии падежных показателей уже публиковались Тордарсоном в его очерке осетинского языка [Thordarson 1989] в Compendium linguarum Iranicarum [Schmitt 1989], а содержащееся в пункте 4.6.2 соображение о связи перехода *а* > *в* с (историческим) расположением ударения в следующем слоге – в [Thordarson 1990]. Достаточно убедительные соображения против такого анализа см. в работах [Cheung 1999: 289; 2002: 121]. Некоторые из предложенных Тордарсоном этимологий оспариваются в работах Тестена, Кима и Чёнга [Testen 1996; Kim 2003; Cheung 2008].

Функции падежей, о которых говорится в 4.13.4.2–4.13.4.8, более полно описаны в стандартных грамматиках осетинского языка [Абаев 1970; Ахвледиани 1963/1969; Исаев 1966]. Повторю однако, что ценность работы Тордарсона состоит, на мой взгляд, в содержащихся в ней идеях, а не в излагаемых сведениях.

В разделе 4.13.4.3.7 впервые в осетиноведении сделана попытка систематически изучить дифференциальное маркирование объекта в осетинском.

Очень важными представляются выводы, сделанные в разделе 4.13.9: во-первых, изменения в падежной системе могли начаться еще до всяких контактов с кавказскими языками, и, во-вторых, сходства между падежными системами в целом у осетинского языка и какого-либо из соседних языков нет.

Обсуждение именной группы в осетинском языке продолжается в главе 5, «Местоимения»[5]. В этой главе приводятся парадигмы местоимений и обсуждаются их этимологии.

В разделе 5.5 описывается нетривиальная параллель между карачаево-балкарским и осетинским языком: в обоих языках наличествует двучленный дейксис, т. е. система указательных местоимений различает лишь две степени удаления (раздел 5.5). Этим осетинский язык и карачаево-балкарский выделяются из родственных им, соответственно, восточноиранских[6] и тюркских языков, дейксис в которых обычно более богат.

Сам Тордарсон сравнивает карачаево-балкарский только с ногайским, кумыкским и турецким. Я дополнительно проверил это утверждение для башкирского, гагаузского, казахского, караимского, северноалтайских диалектов куманды-кижи и куу-кижи, саларского, сарыг-югурского, татарского, тувинского, узбекского, чувашского, хакасского, халаджского и якутского языков. В описаниях всех этих языков, кроме халаджского [Doerfer 1988: 183], упоминаются системы дейктиков из более чем двух элементов, так что вывод о внешнем влиянии на карачаево-балкарский выглядит весьма убедительно. Однако следует добавить, что из описаний не всегда удается понять, в чем именно заключаются различия в семантике между дейктиками из «больших» систем.

Утверждение Тордарсона, что во **всех** соседних кавказских языках дейксис также более богат, неверно: в сванском, мегрельском и лазском он двухчленный [Кипшидзе 1914: 42; Ростовцев-Попель 2009: 23; Tuite 1997: 19; Lacroix 2009: 143] (а также в убыхском [Charachidzé 1989: 379]). Таким образом, двухчленный дейксис – изоглосса в географически связном ареале из осетинского языка, карачаево-балкарского и сванского (занские языки и убыхский в него не попадают).

В разделе 5.8 предлагается остроумное объяснение того, почему совпадают формы номинатива и аккузатива-генитива у местоимений 1PL, 2PL и (в иронском) 3SG, 3PL, причем для первого и второго лица они заведомо восходят к генитивным формам. Гипотеза Тордарсона состоит в том, что это суть пережитки эргативной конструкции, которая реализовывалась в протоосетинском, как и в ряде других иранских языков [Haig 2008: 93], в виде сочетания посессора-агенса с причастием прошедшего времени. Затем генитивные формы местоимений, кодировавшие агенса в прошедшем времени, оказались переосмыслены как номинативные.

На мой взгляд, эта гипотеза встречает несколько трудностей: во-первых, она не объясняет, почему тот же процесс не произошел с местоимениями 1 и 2 лица единственного числа, а также с разнообразными неличными местоимениями. Во-вторых, никаких других убедительных свидетельств того, что в осетинском языке когда-либо бытовала эргативная конструкция, нет. В-третьих, необъяснимая

4.13.4.4. Датив; 4.13.4.5. Локативные падежи; 4.13.4.5.1. Инессив; 4.13.4.5.2. Аллатив; 4.4.13.4.6. Аблатив(-инструменталис); 4.13.4.7. Комитатив; 4.13.4.8. Экватив; 4.13.4.9. Заключение; 4.14. Предлоги и послелоги; 4.15. Заключение.

[5] 5.1. Личные местоимения: 5.1.1. Ударные личные местоимения; 5.1.2. Энклитические личные местоимения; 5.2. Рефлексивы; 5.3. Притяжательные местоимения; 5.4. Реципроки; 5.5. Указательные местоимения; 5.6. Вопросительные местоимения; 5.7. Неопределенные местоимения и наречия; 5.8. Выводы.

[6] Трехчленный дейксис в согдийском систематически исследован в [Sims-Williams 1994]. Двучленный дейксис, помимо осетинского, присутствует в ягнобском и язгулямском.

замена номинативной формы на генитивную произошла и с ир. *či* 'кто.NOM', которое регулярно соответствует диг. *ke* 'кто.OBL' (а 'кто.NOM' в дигорском *ka*).

В главе 6 кратко описываются все три известных на начало 1990-х годов аланских памятника: Зеленчукская надпись (X–XII вв.), строки в сочинении Иоанна Цеца (Византия, XII в.) и «ясский глоссарий» (XV в.), и отмечается, что из падежных форм в этих памятниках встречаются только номинатив и генитив. Надо добавить, что с тех пор был обнаружен еще один памятник – аланские маргиналии к греческому лекционарию XIII века, см. [Engberg, Lubotsky 2003; Камболов 2006: 202–207].

В главе 7, «Эпилог», обсуждаются социальные факторы, которые в прошлом могли бы вызывать контактные влияния на осетинский язык: 7.1. Двуязычие; 7.2. Социальные факторы; 7.3. Смешанные браки; 7.4. Институт аталычества; 7.5. Кровная месть; 7.6. Многоязычие; 7.7. Заключительные замечания.

Завершают основной текст книги библиография, некоторые названия в которую добавлены С. Фритц, и указатели: A. Слова из индоиранских языков. Слова из прочих индоевропейских языков. Слова из других языков; B. Цитаты из текстов; C. Лингвистические термины; D. Прочие термины.

В конце книги приложена короткая (всего в две страницы) заметка «Zur ossetisch-tscherkessiscen Wörterliste bei Witsen» (Об осетино-черкесском списке слов у Витсена). В ней разбирается, какие из слов в списке Дрешера-Витсена являются осетинскими (этот список был составлен в 1688 г. Дрешером, придворным врачом имеретинского царя Арчила, и издан в Амстердаме в 1705 г. Николасом Витсеном в его книге «Noord en Oost Tartarye»). Надо заметить, что подобное исследование уже было проделано (и притом с большей подробностью) в [Лавров 1957; Сикоев 1958; Камболов 2006].

3. Заключение

С того момента, как Тордарсон прекратил работу над рукописью (судя по ссылкам в списке литературы, это произошло в 1994 или 1995 г.), вышло несколько важных исследований по осетинскому языку. Мне кажется уместным, по крайней мере, упомянуть их в этой рецензии. Я перечислю их тут в хронологическом порядке. Исследование [Cheung 2002] про осетинскую историческую фонологию включает в себя, кроме того, ряд новых этимологий. Вышел дигорско-русский словарь с кратким очерком дигорской фонетики и морфологии [Таказов 2003] – в работе Тордарсона как источник по дигорской лексике использовался еще словарь Миллера и Фреймана [Миллер, Фреймaн 1927–1934], включающий и дигорские, и иронские материалы. Современная социолингвистическая ситуация в Северной Осетии изучается в [Камболов 2007]. Число проблем, охваченных в этих работах, столь велико, что они не могут быть тут рассмотрены.

К сожалению, в рецензируемой книге нет разделов, касающихся глагола, а также синтаксиса (за пределами именной группы). Написать современную и полную грамматику осетинского, систематизировать результаты сравнительно-исторических штудий и предпринять всеобъемлющее исследование осетинского языка в ареально-типологическом плане – задачи, по-прежнему нерешенные. Книга Тордарсона послужит огромным подспорьем тем лингвистам, которые за них примутся. Нельзя не быть признательным Сонс Гипперт-Фритц за проделанную ей работу по подготовке ее к печати.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абаев 1949 – *В.И. Абаев*. Осетинский язык и фольклор. М.; Л., 1949.

Абаев 1958 – *В.И. Абаев*. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. Л., 1958.

Ахвледиани 1963/1969 – *Г.С. Ахвледиани* (ред.). Грамматика осетинского языка. Т. 1. Орджоникидзе, 1963; Т. 2. 1969.

Бекоев 1985 – *Д.И. Бекоев*. Иронский диалект осетинского языка. Цхинвали, 1985.

Дзахова 2009 – *В.Т. Дзахова*. Фонетические характеристики фонологической системы современного осетинского (иронского) литературного языка. Владикавказ, 2009.

Дзиццойты 2008 – *Ю. Дзиццойты*. Чысайнаг ныхасыздæхты цыбыр афыст [Очерк чисанского говора осетинского языка]. Цхинвал, 2008.

Исаев 1966 – *М.И. Исаев*. Дигорский диалект осетинского языка. М., 1966.

Камболов 2006 – *Т.Т. Камболов*. Очерк истории осетинского языка. Владикавказ, 2006.

Камболов 2007 – *Т.Т. Камболов*. Языковая ситуация и языковая политика в Северной Осетии. История, современность, перспективы. Владикавказ, 2007.

Кипшидзе 1914 – *И. Кипшидзе*. Грамматика мингрельского (иверского) языка. СПб., 1914.

Лавров 1957 – *Л.И. Лавров*. Памятник осетинского и кабардинского языков XVII века // Известия ЮОНИИ. 1957. Вып. 9.

Медоева 1969 – *Б.Г. Медоева*. Деепричастие и деепричастные конструкции в осетинском языке. Дис. … канд. филол. наук. Цхинвали, 1969.

Миллер, Фрейман 1927–1934 – *В.Ф. Миллер.* Осетинско-русско-немецкий словарь / Под ред. и с доп. А.А. Фрейманa. Т. 1-3. Л., 1927–1934.

Ростовцев-Попель 2009 – *А.А. Ростовцев-Попель.* Типология демонстративов: средние дейктики // ВЯ. 2009. № 2.

Сикоев 1958 – *Р.Р. Сикоев.* Об осетинском словнике Николаса Виттена // Известия ЮОНИИ. 1958. Вып. 9.

Таказов 2003 – *Ф.М. Таказов.* Дигорско-русский словарь. Владикавказ, 2003.

Alemany 2000 – *A. Alemany.* Sources on the Alans: a critical compilation. Leiden; Boston, 2000.

Charachidzé 1989 – *G. Charachidzé.* Oubykh // B.G. Hewitt (ed.). The indigenous languages of the Caucasus. V. 2. North West Caucasus. Delmar (NY), 1989.

Cheung 1999 – *J. Cheung.* Some remarks on the history of the Ossetic accent // H. van der Berg (ed.). Studies in Caucasian linguistics: selected papers of the Eighth Caucasian colloquium. Leiden, 1999.

Cheung 2002 – *J. Cheung.* Studies in the historical development of the Ossetic vocalism. Wiesbaden, 2002.

Cheung 2008 – *J. Cheung.* The Ossetic case system revisited // Evidence and counter-evidence. Festschrift Frederik Kortland. V. 1. Amsterdam; New York, 2008.

Doerfer 1988 – *G. Doerfer.* Grammatik des Chaladsch. Wiesbaden, 1988.

Engberg, Lubotsky 2003 – *S. Engberg, A. Lubotsky.* Alanic marginal notes in a Byzantine manuscript: a preliminary report // Nartamongae: the journal of Alano-Ossetic studies. 2. 2003.

Haig 2008 – *G. Haig.* Alignment change in Iranian languages. A construction grammar approach. Berlin; New York, 2008.

Jahani, Korn 2009 – *K. Jahani, A. Korn.* Balochi // G. Windfuhr (ed.). The Iranian languages. London, 2009.

Kim 2003 – *R. Kim.* On the historical phonology of Ossetic: The origin of the oblique case suffix // Journal of the American oriental society. 123.1. 2003.

Lacroix 2009 – *R. Lacroix.* Description du dialecte laze d'Arhavi (caucasique du sud, Turquie). Grammaire et textes. Thèse de doctorat. Lyon, 2009.

Sims-Williams 1994 – *N. Sims-Williams.* The triple system of deixis in Sogdian // Transactions of the philological society. V. 92. Issue 1. 1994.

Schmitt 1989 – *R. Schmitt* (ed.). Compendium linguarum Iranicarum. Wiesbaden, 1989.

Testen 1996 – *D. Testen.* On the development of the clitic pronominals in Ossetian // H.I. Aronson (ed.). NSL 8: Linguistic studies in the non-Slavic languages of the Commonwealth of Independent States and the Baltic republics. Chicago, 1996.

Thordarson 1989 – *F. Thordarson.* Ossetic // R. Schmitt (ed.). Compendium linguarum Iranicarum. Wiesbaden, 1989.

Thordarson 1990 – *F. Thordarson.* Old Ossetic accentuation // Iranica Varia: Papers in honor of professor Ehsan Yarshater. Leiden, 1990.

Tuite 1997 – *K. Tuite.* Svan. München; Newcastle, 1997.

Д.А. Эршлер

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

Международная конференция «Русский глагол»

28–30 мая 2010 г. в Норвежском университетском центре в Санкт-Петербурге прошла Международная конференция «Русский глагол» (The Russian verb: Formal and contrastive approaches to aspect, tense and mood in Russian), организованная проектом РуН (Университет г. Осло, Норвегия). Ее задачей было представить различные современные подходы к изучению семантики и прагматики категорий вида, времени и модальности в русском языке (самом по себе или в сопоставлении с другими, прежде всего славянскими, языками). В оргкомитет входили исследователи из Норвегии и России, а международный программный комитет составляли ведущие современные русисты. Рабочими языками конференции были русский и английский[1].

В конференции участвовали исследователи из России, Европы и США. Среди особенностей этого научного мероприятия – сравнительно небольшое общее число выступлений и связанное с этим отсутствие параллельных секций, почти одинаковая доля докладов, отобранных программным комитетом по результатам анонимного рецензирования тезисов, и лекций приглашенных докладчиков, и сбалансированность различных теоретических подходов, которых придерживались докладчики (были примерно в равной мере представлены формальная модельно-теоретическая семантика и порождающая грамматика, типологические и когнитивно-семантические подходы). Стоит отметить также, что почти все докладчики независимо от своих теоретических установок активно привлекали данные электронных корпусов текстов, в первую очередь Национального корпуса русского языка. Помимо собственно центральной темы – семантики глагольных категорий – в докладах рассматривались также вопросы морфологии и психолингвистики.

Остановимся подробнее на некоторых докладах. Стивен Дики (Stephen Dickey, Канзас, США) в докладе «Русский вид, темпоральная определенность и префиксация в межславянской перспективе» (Russian aspect, temporal definiteness and prefixation in a cross-Slavic perspective) рассматривал интересные параллели между поведением видов и определенных и неопределенных имен в дискурсе, приводя аргументы в пользу своей трактовки совершенного вида в русском языке как выражающего определенность ситуации. Различия между русским и западнославянскими языками в употреблении видов и в продуктивности некоторых префиксов, согласно С. Дики, обусловлены тем, что в западнославянских языках, в отличие от русского, совершенный вид выражает не определенность (дискурсивная категория), а целостность ситуации (собственно семантическая категория).

Ольга Каган (Olga Kagan, Иерусалим) в докладе «Семантика шкал и русские глагольные префиксы» (Degree semantics for Russian verbal prefixes) предложила интересное описание значений некоторых русских префиксов с точки зрения семантики шкал, наиболее активно применяющейся при анализе прилагательных. По мысли О. Каган, префикс задает определенное значение (больше или меньше нормы, ближе к концу или к началу шкалы и т.д.) на шкале, содержащейся в семантике глагола. В зависимости от того, какой тип шкалы задает глагол (пространственная, временная, шкала свойств и т.п.), модифицируется значе-

[1] Информация об организаторах и программном комитете, равно как и программа конференции доступны в Интернете по адресу: http://folk.uio.no/atleg/russian_verb/index.htm. К сожалению, тезисы докладов на сайте не размещены.

ние префикса; замена одной шкалы на другую объясняет и метафорические употребления префиксов. Наиболее подробно в докладе был проанализирован префикс *под-*.

Выступление Лоры Янды (Laura Janda) и О.Н. Ляшевской (Тромсё) «Видовые пары в Национальном корпусе русского языка» (Aspectual pairs in the Russian National Corpus) посвящено типам статистического распределения разных глагольных форм – так называемым грамматическим профилям (grammatical profiles) глаголов. Целью работы было, во-первых, определить, сходны или различаются грамматические профили глаголов, входящих в разные типы видовых пар (префиксальные и суффиксальные), а также изучить поведение глаголов, демонстрирующих те или иные аномалии в распределении форм (например, глаголы с повышенной частотностью императива или настоящего времени).

Барбара Парти (Barbara Partee, Амхерст / Москва) в докладе «Роль сдвигов значения глагола в генитивных альтернациях: генитив отрицания и интенсиональный генитив» (The role of verb meaning-shift in genitive alternations: genitive of negation and genitive of intensionality) дала подробный обзор исследований и результатов в области изучения приглагольного генитива в русском языке. В частности, она еще раз указала на недостаточность чисто синтаксических подходов к генитиву отрицания и, напротив, подчеркнула роль семантических и дискурсивных факторов в выборе падежа субъекта или объекта и в самой допустимости такого выбора при том или ином глаголе.

В.А. Плунгян (Москва) в сообщении «К типологии аспектуальных систем» рассмотрел основные параметры межъязыкового варьирования в области аспектуальных категорий и подробно остановился на месте русского и, шире, славянского вида в типологии глагольных систем.

Доклад С.Г. Татевосова (Москва) «Отделение совершенного вида от глагола» (Severing perfectivity from its verb) был посвящен рассмотрению с точки зрения одной из принятых в порождающей грамматике теорий глагольного морфосинтаксиса вопроса о том, где в иерархической структуре предложения выражается категория вида в русском языке. Опираясь на данные о поведении отглагольных существительных, которые, по его предположению, демонстрируют семантико-синтаксические особенности глагольной основы без «наслоений» собственно глагольных категорий вида – времени – модальности, докладчик пришел к отчасти парадоксальному выводу о том, что русский глагол получает видовую характеристику в процессе синтаксической деривации, но не имеет ее в словаре.

Мартен Янссен (Maarten Janssen) и Ольга Борик (Барселона) в докладе «База данных по русскому виду» (A database of Russian verbal aspect) продемонстрировали структуру и возможности электронной базы данных по морфологии русского глагола, пригодной в частности для эмпирической проверки гипотез о сочетаемости глагольных приставок и их способности выступать в тех или иных морфологических конфигурациях.

Доклад Марии Филюшкиной Краве (Осло) «Контрастивный анализ русских деепричастий» (Russian converbs in contrast) был посвящен контекстам употребления русских деепричастий совершенного и несовершенного вида: на материале параллельного русско-норвежско-английского корпуса исследовательница выделила их наиболее частотные аналоги в соответствующих языках.

Юлия Кузнецова (Тромсё) и Анастасия Макарова (Осло / Санкт-Петербург) в сообщении «Распределение русских семельфактивных суффиксов *-ну* и *-ану*» (Distribution of two semelfactives in Russian: *-nu* and *-anu*) рассмотрели факторы, влияющие на выбор одного из русских семельфактивных суффиксов и показали, что помимо семантического противопоставления по интенсивности, важную роль играет фонотактика (количество слогов и характер конечных согласных основы), а также наличие приставки. Кроме того, авторы проследили тенденции в распределении двух суффиксов у глаголов, допускающих их оба, в историческом измерении.

А.Г. Пазельская (Москва) в докладе «Префиксы и суффиксы в отглагольных существительных: грамматические ограничения и корпусные данные» (Verbal prefixes and suffixes in nominalization: Grammatical restrictions and corpus data) изучила частотность отглагольных имен, образованных от простых глаголов НСВ, от префиксальных глаголов СВ и от вторичных имперфективов, и проанализировала возможные источники наблюдаемых асимметрических распределений разных типов номинализаций.

В своем выступлении «От глагола к служебному слову» С.К. Пожарицкая (Москва) проанализировала нетривиальные употребления частиц, восходящих к разным формам глагола *быть*, встречающихся в архангельских говорах русского языка, показав, что формы связки или бытийного глагола приобретают модальные и дискурсивные значения.

А. Сагитова (Казань) в докладе «Факторы, удерживающие корневой гласный *о* в имперфективах на *-ивать/-ывать*» рассмотрела историю чередования *о~а* во вторичных

имперфективах и выделила ряд факторов, препятствующих чередованию: малоупотребительность глагола, прозрачность его словообразовательной структуры, особый стилистический регистр, в котором он употребляется, избегание омонимии и эвфония.

Рупрехт фон Вальденфельс (Ruprecht von Waldenfels, Берн) представил доклад на тему «Контрастивный анализ вида и отрицания в славянских языках – пилотное корпусное исследование» (Contrasting verbal aspect and negation across Slavic languages – a corpus driven pilot study), в котором продемонстрировал возможности составляемых в университетах Берна и Регенсбурга многоязычных параллельных корпусов текстов при анализе особенностей употребления вида в контексте отрицания в разных славянских языках.

Н.В. Зорихина-Нильссон (Гётеборг) в докладе «Отрицание или нет: особенности выражения апрехенсива в русском языке в высказываниях с союзами *как бы (не)* и *чтобы (не)*» рассмотрела характеристики русских апрехенсивных (выражающих опасение) конструкций с точки зрения их синтаксиса, употребления в них глагольных видов и нетривиального поведения в них отрицательной частицы.

Доклад А.Б. Летучего (Москва) «Русские каузативные конструкции с событийным и с агентивным каузатором» (Russian causative constructions with an eventive causer and with an agentive causer) был посвящен особенностям употребления глагольных времен и обстоятельств времени в русских конструкциях с каузативными глаголами с одушевленным и с неодушевленным (в частности, событийным) субъектом. Автор показал, что последние демонстрируют ряд весьма нетривиальных характеристик.

На конференции также были представлены следующие доклады: В.С. Храковский (Санкт-Петербург) «Иерархия ТАМ-категорий и их взаимодействие»; Туре Нессет (Tore Nesset, Тромсё) «Сдвиг суффикса в русском языке: новые перспективы» (Suffix shift in Russian verbs: new perspectives) – о факторах, влияющих на переход глаголов от спряжения типа *капать ~ каплет* к спряжению типа *капать ~ капает*; Ханс Роберт Мелиг (Hans Robert Mehlig, Киль) «Несовершенный вид и неопределенность»; Арним фон Штехов (Arnim von Stechow, Тюбинген) и Атле Грён (Atle Grønn, Осло) «Время в обстоятельственных предложениях и параметр согласования времен» (Adjunct tense and the SOT parameter); Ольга Батюкова (Мадрид) с соавторами «Исследование семантического прайминга: русский вид и результативность» (Semantic priming study of Russian aspect and resultativity); Эгберт Фортейн (Egbert Fortuyn, Лейден) «Контрастивный анализ вида в императиве в русском и словенском языках» (A contrastive analysis of the aspect of the imperative in Russian and Slovene); В. Николаев (Вашингтон) «Переходность и способы действия русских глаголов с приставкой *за-*» (Transitivity and Aktionsarten in Russian *za*-perfectives); Н.Р. Добрушина (Москва) «Сослагательное наклонение в устных текстах».

Данная конференция, организованная на самом высоком уровне, вызвала большой интерес среди российских лингвистов, что можно оценить по числу московских коллег, посетивших ее в качестве слушателей. Несмотря на то, что не все доклады были одинаково удачны и убедительны, общий уровень конференции был чрезвычайно высок, а одна из важнейших ее задач – собрать вместе и познакомить друг с другом и с исследованиями друг друга представителей нескольких поколений русистов и славистов из России, Европы и США, – была достигнута. Остается лишь пожелать, чтобы данная конференция не осталась единичным событием, а положила начало серии тематических международных симпозиумов по актуальным проблемам русской грамматики.

П.М. Аркадьев